

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ...

# НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ



ТО ЛИ БЫЛЬ,  
ТО ЛИ НЕБЫЛЬ

*о времени и о себе*

**НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ**

**ТО ЛИ БЫЛЬ,  
ТО ЛИ НЕБЫЛЬ  
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ?**

*Ростов-на-Дону*

 **ЕНИКС**

*2004*

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6—7  
Р 23

## НАТАЛЬЯ РАПОПОРТ

Р 23      **ТО ЛИ БЫЛЬ, ТО ЛИ НЕБЫЛЬ О ВРЕМЕНИ И ОСЕ-  
БЕ ?** / Серия «Времена не выбирают» — Ростов н/Д:  
«Феникс», 2004. — 400 с.

Эта книга — ироничное, весьма забавное повествование о мрачных временах.

Автор одарен острым веселым умом и точностью зоркого наблюдателя. Автору есть о ком и о чем рассказать. Профессор-медик Я. Л. Рапопорт, ученый с мировым именем и знаменитый московский остро слов. Его семья, его друзья. «Дело врачей». Кремлевская больница — «лагерь смерти». Чума в Москве...

Биография Н. Я. Рапопорт сплетена с судьбою многих незаурядных ее современников. В книге даны крупным планом портреты Юлия Даниэля, Зиновия Гердта, Георгия Федорова, Игоря Губермана, Сергея и Татьяны Никитиных...

Уникальные по содержанию, исполненные яркого юмора, воспоминания Н. Я. Рапопорт не затеряются в море русской мемуаристики.

ISBN 5-222-05193-5

УДК 882  
ББК 84 (2Рос=Рус) 6—7

© Н. Рапопорт, 2004  
© Издательство «Феникс», оформление, 2004

*Моим родителям, Софии Яковлевне  
и Якову Львовичу Рапопортам*

# ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ...

Такие книги, как эту, глотаешь легко, в один присест, как бы и не замечая, что это — *книга*. Обманчивая игра байки, анекдота, забавного рассказа, чуть ли не сплетни — «а вот однажды...». Потом вдруг обнаруживаешь, что за байкой — эпоха, да еще с большой буквы — Эпоха. И неважно, что легкость в чтении необыкновенная: она-то самые тяжелые гирьки и кладет на весы, она-то больше всего и болит. Потому что это — легкость, почти невесомость человеческой жизни. Тот след, который оставляем мы после себя в душах близких нам людей.

Автору этой чудесной, улыбчивой и пронзительной книги — повезло.

Во-первых, она была дочерью своих родителей. Во-вторых — стала другом стольких известных и блистательных людей, что, кажется, не написать эту книгу было просто грешно: садись и пиши.

В третьих — и это главное, — такую книгу все равно никогда не напишешь, не будучи личностью. А то, что Наталья Рапопорт человек талантливый, остроумный, обладающий приметливым глазом и тонким чутьем, видно с первой страницы.

С первой страницы вы вступаете в хоровод лиц — известных ученых, врачей, писателей, художников, диссидентов, просто обаятельных людей, согретых улыбкой автора (и они становятся значимыми не меньше, чем их знаменитые соотечественники).

И все-таки, даже при этом раскладе, вереница рассказов, собранных по принципу «это было однажды» не могла бы стать книгой, если бы за всем этим не чувствовалась высокая нота боли, мысль обобщающая, родная страна, которая стала покинутым архипелагом; ее история, наша история.

Наши потери...

Один из главных героев книги — Яков Львович Рапопорт, блестящий человек, известный патологоанатом, и — судя по многим страницам — замечательный отец. Его долгая, насы-

щенная событиями и людьми жизнь сама по себе — целая эпоха, переданная дочерью с мудрой любовью и тонким юмором. Невозможно без спазма в горле читать о встрече на даче профессора, «закутанного в мантильку», старенького, слабого — с американским миллиардером, с которым девяностопятилетний Яков Львович вдруг начинает говорить по-английски, — на языке выученном, книжном, на котором очень редко общался с иностранными коллегами. Он говорил по-английски, прекрасно понимая специфический акцент американца!

Удивительно проникновенны воспоминания о Юлии Даниэле. Причем, опять-таки сначала кажется, что все намешано «в куче» — домашние, знакомые, друзья, кот Лазарь Моисеевич и собака Алик...И опять из этой, вроде беспорядочной, кутерьмы предстает перед нами образ необычайного благородства, трагичности и таланта.

И как забавно читать о дурашливых «капустниках», в которых на Гае, в туристском лагере Дома ученых принимали участие Зиновий Гердт, Булат

Окуджава, Сергей и Татьяна Никитины...Забавно, если не помнить, что многие эти имена тоже уже стали Эпохой...

Жизнь проходит — это основное ее качество.

Быль, данная нам в ощущениях, смехе, слезах, в порывах души и сиюминутных делах, может обратиться в небыль, — и обращается, если на пути не встречается человека, подобного Наталье Рапопорт, чья память не хочет смириться с перспективой такой потери, чье сердце несет ощущение долга и любви, и чья одаренность *дарит* читателям улыбку и слезы, и смех, и понимание драгоценного дара — жизни.

*Дина Рубина*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло уже шесть лет после опубликования моей первой книжки, и читатели стали настоятельно требовать продолжения. Я, как видите, пошла им навстречу. Но прежде, чем вы начнёте читать то, что сейчас держите в руках, я хочу вам кое-что объяснить.

Моя первая книжка называлась «То ли был, то ли небыль». И эта новая так же. Почему? Во-первых, потому, что лучше не придумаешь. Во-вторых, потому, что это — первая строчка стихотворения моего друга Юлия Даниэля, написанного им в лагере. Приведу эти стихи по памяти:

То ли был, то ли небыль  
Средь весёлого сна:  
Я в сражениях не был,  
И не пил я вина,

Не был пулею мечен,  
И стихов не писал,  
Не глядел я на женщин,  
Не ласкал, не бросал,

Безрассудство не славил,  
Дни за днями губя,  
И на карту не ставил  
Ни других, ни себя,

Не плясал неуклюже,  
На ветру не дрожал,  
В подмосковную стужу  
По лыжне не бежал,

И в апрельскую сырость  
Не бродил по земле:  
Это всё мне приснилось  
В зарешёченной мгле.



Это ощущение были-небыли вовсе не зависит от того, с какого полюса смотреть на прошлую жизнь — из тюремной ли камеры в «большую зону», как Юлий, или из свободного мира, в котором с 1990 года оказалась я — туда же. Отсюда, из плотной американской материальной реальности, вся фантазмагория моей прошлой жизни стала быстро терять чёткие очертания. Пятьдесят лет я любила, дружила, страдала, радовалась, иногда бывала счастлива — и вдруг всё это стало куда-то уходить, как будто было не со мной. Ощущение «а был ли мальчик» не отпускало меня ни на минуту, а выражение «потерять себя» всё больше утрачивало своё метафорическое содержание. Вот тогда я и стала писать. Под пером (хотя какое уж тут перо в наш компьютерный век) люди и события моей прошлой жизни оживали, одевались плотью и такими оставались уже навсегда.

Таким образом, я писала исключительно для себя, а не для читателя. Так бы оно и было, если бы не Сергей Никитин, с которым вы ещё не раз встретитесь тут и там на этих страницах. В том, что я ему читала и рассказывала, Серёжа увидел книгу и стал её требовать. С его лёгкой руки она и получилась.

Книгу стали хвалить. Хвалили много, и в официальной печати, и в частных письмах, и в телефонных звонках. Особенно хвалили за то, что в мемуарах, как правило, человек пишет о себе, а я вот — нет, я — о других. И тут я призадумалась — а хорошо ли это, быть лучше других? Скромно ли? И сделала свои выводы. Поэтому в новой книжке вы найдёте много автобиографического материала, особенно если, как любой уважающий себя российский читатель, наострились читать между строк. Найдёте и много новых рассказов, дополняющих старые, которые целиком вошли в эту книгу.

В первой книжке не было жизненно ей необходимых фотографий. Этот пробел тоже исправлен, и с лихвой.

Как прежде, я благодарна своим суровым критикам Володе, Вике и Наташе Рубинштейн. За время, истекшее после первой книжки, ничего кардинально не изменилось — ни немытая посуда, ни ночные бдения, ни редкое, но тем более ценное, одобрение вышеупомянутых лиц.

Словом, в дорогу, читатель.



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### УЛЫБКИ И ГРИМАСЫ ГИППОКРАТА

*17 марта 1996 года умер мой отец.*

Ему было девяносто семь с половиной лет. Век-волкодав промчался сквозь его жизнь, пытаясь ее искромсать, исковеркать, уничтожить. А папа вопреки всему прожил счастливую жизнь, потому что был от природы награжден мудрым оптимизмом. Блестящий человек, он любил свою профессию, еврейские анекдоты, вкусную пищу, вино, друзей и женщин. Друзья и женщины платили ему полной взаимностью. Папа замечательно видел смешное и с искрометным артистизмом рассказывал свои истории. Мне выпало счастье провести рядом с ним больше чем полвека. Я записала папины рассказы и разнообразные эпизоды нашей жизни, как сохранила их моя память.

### ГЛОБУС

Мой дед Лэйб был директором реального училища в Симферополе. Учились в нем преимущественно еврейские дети. Когда в 1905 году в Симферополе разразился еврейский погром, училище стало одной из его мишеней. Деда моего из-

били до полусмерти. Он был без сознания и почти бездыханный. Специальная служба, которая подбирала жертв погрома, приняла его за мертвого и отвезла в морг. Он лежал там, заваленный трупами. Когда погром кончился, соседка деда отправилась в морг с тележкой, чтобы отыскать и забрать оттуда своих близких. Там она услышала чей-то стон. Разгребла трупы и обнаружила сильно покалеченного, но живого деда. Привезла его на тележке домой, и бабушка его выходила. Вернувшись к жизни, дед сбежал с юной татарской аристократкой, раза в два моложе его. Они построили большой дом в Феодосии и родили двух детей, мальчика и девочку.

Впрочем, мальчик родился, видимо, еще до погрома, так как в восемнадцатом году ему было лет пятнадцать — шестнадцать. Бабушка моя очень горевала. У нее с дедом было трое детей: старшая Вера, мой папа и их младший брат Зоя. Это была ветка Рапопортов. А дети деда и татарской княжны были Абдараманчиковы, так как дед с княжной не были женаты. Мальчик Абдараманчиков ушел с белой армией и погиб. Девочка после революции каким-то образом перебралась в Америку, и больше я о ней ничего не знаю. А деда и его татарскую подругу в восемнадцатом году нашли зарезанными в их феодосийском доме. Кто это сделал — бандиты или опозоренные татарские родственники, осталось неясным. К папе в Симферополь прискакал гонец из Феодосии, сообщил, что с его отцом случилось несчастье. Папа взял свой пистолет (на дорогах в Крыму тогда было очень беспокойно), нанял телегу и поехал в Феодосию. Когда он туда добрался, было уже поздно что-либо выяснять: трупы увезли в морг, дом разорили и разграбили, и концы ушли в воду. Так погиб мой дед Лэйб. А бабушка дожила до Второй мировой войны, и ее вместе с младшим сыном Зоей, братом моего отца, расстреляли в Симферополе фашисты. Я никого из них не знала.

...Когда в Симферополе начался погром, мой шестилетний папа был дома. Услышав, что погромщики бесчинствуют в реальном училище, он ускользнул из дому и бросился туда. В детстве папа совсем не был похож на еврея. Конный

казак с окровавленной пашкой остановился над ним и прокричал: «Ступай домой, а то тебя неровен час зашибут вместе с жидами!». Но папа побежал в училище. Деда оттуда уже увезли. Все внутри было разбито, сломано, осквернено. Среди осколков оконного стекла и обломков школьной мебели валялся раздавленный голубой глобус. Этот разбитый на куски земной шар навсегда остался для папы символом еврейских погромов. Папе предстояло пережить их немало за его долгую жизнь.

## КАТАПУЛЬТА

### Ночной визит

Счастливые люди плавно переходят из детства во взрослую жизнь, успевая по дороге насладиться всеми радостями промежуточных стадий. Меня из детства выбросило катапульти. На кнопку катапульти нажала дворничиха Люся, и поздним вечером в квартире взорвался дверной звонок. Как часто случалось в те вечера, родителей не было дома. Внезапный звонок напугал меня.

— Кто там?

— Наташа, открой, у вас течет батарея, — ответила дверь голосом дворничихи Люси.

Я удивилась. У нас ничего не текло.

— Течет, течет, соседи снизу жалуются, открой немедленно, — настаивала Люся, и я открыла.

За дверью стояли грабители. Их было так много, что они едва умещались на лестничной клетке. Один или два были в добытой где-то военной форме, остальные — штатские, удивительно похожие друг на друга. Квартира мигом всосала их. Оттеснив меня к стене, они влились стремительным потоком, который в конце коридора распадался на отдельные ручейки, и каждый струился по своему руслу: в папин кабинет, в столовую, в спальню, в ванную, даже в уборную. «Военный» похозяйски уселся за стол в столовой, к нему со всех сторон стали поступать сведения: книжных шкафов — шесть, платяных — три, стенных — пять... письменных столов... кроватей...

«Будут выносить мебель», — догадалась я и немного успокоилась: похоже, убивать меня не собирались. Мебели мне было ничуть не жалко: честно говоря, бывало даже немного неприятно за папу, который устраивал неуместные скандалы из-за разлитого на клавиши пианино клея, испачканного краской дивана или исцарапанного стола. «Может, все еще обойдется», — надеялась я, забившись в угол за диваном у себя в комнате. Не хотелось только, чтобы забирали пианино: это была семейная реликвия, единственное, что

сохранилось, когда в одну из первых бомбежек Москвы в наш дом в Староконюшенном попала бомба. Мне было тогда три года, и я ничего не помню, знаю только, что, вернувшись с дачи, родители нашли на месте дома оцепленную груду развалин, среди которых на чудом уцелевшей голой балке висело наше пианино. Оно потом никогда не держало строя, но его любили и берегли. Пианино было жалко.

Грабители почему-то не спешили. С неторопливой обстоятельностью обследовали они квартиру — каждую пядь, каждый уголок, стены, антресоли, и меня вновь охватил ужас. С минуты на минуту могут вернуться родители, и тогда... Отец — человек гордый и горячий, он не позволит, чтобы нас так нагло грабили, он с ними свяжется, а их много и они вооружены... Что будет дальше, я боялась себе представить, но громко, унижительно и неудержимо стучала зубами в своем углу.

От внезапного телефонного звонка сердце у меня подпрыгнуло, оборвалось и совсем как будто перестало биться, когда за мной в страшной спешке прибежал один из грабителей:

— Скорей, скорей, подойди к телефону, о том, что мы здесь — ни звука, смотри!

Ноги меня не слушались. Бандит волочил меня по полу, последние метры почти нес на руках. Схватил трубку, сунул мне к уху, прошипел:

— Говори!

Был первый час ночи, звонить могли только родители. Горло у меня перехватило спазмом, вместо дыхания из легких вырывался сдавленный хрип.

— Наталочка, — услышала мамин встревоженный голос, — мы скоро будем...

Это было самое страшное, и это оказалось слишком. Я потеряла сознание.

## Детство

Мои родители были ученые-медики. Папа — патологоанатом, очень известный, с мировым именем, славился не

только высоким профессиональным искусством, но и исключительным остроумием: может быть, шутками он пытался компенсировать мрачность своей профессии. Папины шутки ходили по Москве, и я запоминала некоторые из них, чтобы осмыслить, когда подрасту. Помню, например, как папа рассказывал друзьям о мучениях чиновников от медицины, которым зачем-то срочно понадобилось уволить ректора 2-го Медицинского института, Абрама Борисовича Топчана. Не находя подходящей причины, чиновники долго мучались над формулировкой приказа об увольнении. Так и не придумав ничего выразительного, написали просто: «Топчана Абрама Борисовича освободить от занимаемой должности».

— Вот дурачье, — комментировал папа. — Чего уж было проще: «Топчана, как Абрама Борисовича, освободить...»

Друзья смеялись, но я ясно чувствовала, что на самом деле им вовсе не весело. Шел 1948 год...

Цветущую советскую биологию и медицину в то время сотрясали и подрывали изнутри два «лженаучных» и «буржуазно-космополитических» направления: вейсманизм-морганизм в генетике и вирховьянство в патологии. Моему отцу часто звонили по ошибке, путая его с известным генетиком Иосифом Абрамовичем Рапопортом.

— Вы хотите поговорить с Рапопортом — вейсманистом-морганистом, а попали к вирховьянцу, — вежливо разъяснял ошибку папа.

...Биологическая Москва очень потешалась, когда папа «сделал предложение» старухе Лепешинской. За «выдающееся открытие в биологии» («живое вещество», абсолютный бред, я проходила его в школе) Лепешинская получила Сталинскую премию.

— Ольга Борисовна, — сказал папа на торжестве в Доме ученых. — Вы теперь самая богатая невеста в Москве! Выходите за меня замуж, а детей будем делать из живого вещества!

И, обратившись к аудитории, прокомментировал:

— По-моему, первая часть моего предложения Ольге Борисовне понравилась, а вторая — не очень.

Так шутил мой папа, когда, честно говоря, биологам и врачам было уже не до шуток...

Мама моя была профессором-физиологом. Всю жизнь она работала с Линой Штерн — первой советской женщиной-академиком. Лина бросила в буржуазной Европе красавицу-сестру и богатых родителей и в середине двадцатых годов приехала в СССР, чтобы участвовать в строительстве самого справедливого в мире государства.

Лина рассказывала мне о первом бале, который их отец дал в честь совершеннолетия дочерей. Лина сестра пользовалась на балу бешеным успехом: элегантные, блестящие, богатые, светские молодые люди наперебой приглашали ее танцевать. О второй виновнице торжества, скромно сидевшей где-то в углу, все как будто забыли...

— В этот момент, — рассказывала Лина, — я поняла, что мой удел — это наука!

Она твердо следовала по избранному пути все девяносто лет своей жизни и умерла девственницей...

Лина была талантливая, умная, властная, с острым и ядовитым языком. Я в те годы ее недолюбливала и очень боялась. Лина требовала от своих сотрудников полного подчинения ее воле и самоотдачи, равной ее собственной. А у тех-то были мужья, жены, дети...

Когда мы вернулись из сибирской эвакуации, мама не сразу смогла устроить меня в детский сад и некоторое время таскала с собой на работу, смертельно опасаясь, как бы Лина об этом не узнала. Часть моего детства прошла в специально освобожденном для этой цели лабораторном шкафу (не тогда ли зародился мой интерес к естественным наукам?). Сидя там тихо, как подопытная мышь, я слушала звуки лаборатории: вот жужжат самописцы, регистрирующие ритмы сердца и мышечных сокращений у лягушек, вот щелкают термостаты, а вот и Лина ядовито и колко, как всегда, распекает своих сотрудников.

Мама однажды не выдержала:

— Лина Соломоновна, пожалуйста, не ругайте старших сотрудников в присутствии младших: это роняет наш авторитет. Уведите к себе в кабинет и там уж наедине ругайте власть.



— Пока я дойду до кабинета, у меня вся злость пройдет, — отвечала Лина. А до кабинета — я-то знала — было два шага!

Лина претендовала на все сто процентов маминого времени, и мама буквально разрывалась на части между нею и семьей, которую любила до полного самоотречения. Я, как на грех, часто болела — сказывалось холодное и голодное военное детство в Сибири.

— София Яковлевна, почему Наташенька так часто болеет? — спрашивала недовольная Лина. — Вы, может быть, уделяете ей мало внимания?

В довершение всего, мы с Линой родились в один день, двадцать шестого августа, с разницей ровно в шестьдесят лет, и мама постоянно уезжала с моих праздников на Линыны. Моим днем рождения завершалось дачное лето, и он всегда сопровождался большим концертом, который мы с друзьями готовили чуть ли не месяц. Мне, как имениннице, на этом концерте предоставлялись главные роли, а мама уезжала с нашего замечательного торжества к пожилым и скучным Лининым друзьям и коллегам...

Мне было десять лет, когда Лина внезапно совершенно исчезла из нашей жизни. Исчезла в никуда. Испарилась. \* Родители очень невнятно отвечали на мои расспросы, а я и не настаивала: нет ее — и ладно! Без Лины жизнь пошла куда лучше: мама теперь целиком принадлежала мне и какое-то время даже не ходила на работу. Конечно, я видела, что родители страшно удручены, но в глубине души, тайно и позорно, радовалась Лининому исчезновению. Шипящие, как змеи, слова сокращ-щ-щ-щение ш-ш-ш-штатов, бывшие ужасом родительской взрослой жизни, меня вовсе не волновали.

---

\* Лина Штерн была арестована в 1948 году по делу Еврейского Антифашистского Комитета. Она — одна из немногих, кто не был расстрелян 12 августа 1952 года.

Теперь, когда я заболела, мама сидела рядом, читала мне книжки или играла со мной в настольные игры. Болеть стало счастьем!

Когда это счастье затягивалось, приглашали Мирона Семеновича Вовси. Он ласкал меня добрыми лучистыми глазами, выстукивал, выслушивал, щупал опухшие суставы и говорил с упреком:

— Опять носилась по лужам, нараспашку и без шарфа?! Что нет, когда я по глазам вижу, что да! Потерпи немного, всего несколько лет, перерастешь этот опасный возраст, тогда все лужи — твои!

Хорошенькое дело — несколько лет! Несколько лет тогда составляли солидную часть моей жизни, из которой Мирон Семенович Вовси норовил изъять лучшее ее содержание: например, он отлучил меня от школьной физкультуры, и когда весь класс, заходясь от азарта, гонял по залу мяч, я одна в полном ничтожестве сидела на скамейке у окна, из которого, кстати сказать, дуло, как из преисподней...

И все же, несмотря на частые болезни, мне замечательно хорошо жилось в эти годы. Жадно и с наслаждением поглощала я премудрости естественных и точных наук, сгорая от нетерпения, подгоняя учебники: скорей, скорей, что там дальше? С наслаждением решала трудные задачи. В общем, жила, как за розовой ширмой, купаясь в теплых лучах всеобщей доброжелательности. А снаружи ширмы той порой творилась какая-то фантазмагория. Один за другим исчезали друзья моих родителей, их имена даже в собственном доме родители произносили шепотом. Непостижимым образом какое-то время я оставалась к этому совершенно глуха: меня носили иные ветры, обдавая порой колючими ледяными брызгами.

В детстве я писала стихи. Это были очень хорошие стихи — их даже читали на школьных утренниках! Иногда они звучали в исполнении автора, иногда — если длинные — рзучивали по строфе несколько одноклассниц, а случалось — скандировал хором весь класс:

Среди полей, среди болот,  
Среди лесных проталин  
Переливается, поет  
Родное имя — Сталин!

Я училась в образцово-показательной 29-й московской школе. На переменках директриса — страшная старуха Мартянова, вся в черном, — стояла в середине рекреационного зала, а школьницы чинными парами ходили вдоль квадрата стен. Я, хоть и училась хорошо и вела себя примерно, Мартянову страшно боялась. Старуха имела массу титулов. В школу часто приезжали делегации («делегады», как сказала впоследствии моя дочь-первоклассница) — посмотреть, как счастливо живут, как прилежно учатся московские школьницы.

Вот из этой-то школы и набрали пионеров, которые должны были открывать первомайскую демонстрацию: с букетами цветов бежать на Мавзолей, чтобы вручить эти цветы членам правительства и лично товарищу Сталину! Событие это всколыхнуло мою поэтическую душу:

...И в этот день — все на Парад,  
В одну организацию,  
И юных Ленинцев отряд  
Откроет демонстрацию!

То ли за эти чеканные строки, то ли за прошлые заслуги, за отличные ли успехи и примерное поведение, а может — чтобы продемонстрировать миру торжество ленинской национальной политики, но меня включили в колонну пионеров! Даже в самых фантастических снах не могло мне присниться такое счастье — стоять на Мавзолее рядом с товарищем Сталиным! Торжеству моему не было предела! Хвасталась я безудержно: родителям, соседям по коммунальной квартире, дворовым приятелям, еще не арестованным родительским друзьям; все, все должны были стать свидетелями моего триумфа!

Но случилось непостижимое. Накануне праздника, за один только шаг до невысказанного счастья и славы, папа зорким взглядом патологоанатома углядел у меня в горле «набухшие миндалины», объявил больной, уложил в постель и никуда не пустил! Это было неслыханно! Не папа ли гонял меня в школу, когда с появлением в доме новой интересной

книги у меня немедленно «заболело горло» (у меня в горле всегда были набухшие миндалины). Я чуть не утопила родителей в слезах, но папа, с которым, в общем, всегда можно было договориться, тут оказался неумолим. Так и сторела великая моя мечта, оставив уродливый шрам обиды на родителей в доверчивой детской душе (пройдет еще несколько лет, прежде чем я пойму, насколько невыносимой была для родителей самая мысль о том, что я буду вручать цветы этим сволочам и стоять с ними рядом).

Минули годы. И вот уже меня — даром что самая младшая — первую во всем классе принимают в комсомол. И, ликуя, я требую от родителей большого праздничного гуляния, достойного этого грандиозного события. А за окном катится ноябрь 1952 года, и с головокружительной быстротой пустеют стулья за гостеприимным столом моих родителей. Оставшиеся друзья приходят неузнаваемые — тревожные, тоскливые, утратившие способность улыбаться. Сами родители надолго исчезают куда-то по вечерам (узнала позже: каждую ночь ждали ареста и развозили по редким уцелевшим еще друзьям небольшие деньги и комплекты моей теплой — для севера — одежды, чтобы при случае кто-нибудь отправил меня к маме в лагерь...).

...13 января 1953 года. Совершенно потрясенная, я в пятый раз слушаю радио. Я привыкла свято ему верить, но разум отказывается понимать. Этого не может быть! Этого просто не может быть! Вовси, Мирон Семенович Вовси, добрые руки и лучистые глаза которого прошли через все мое богатое хворями детство, — кровавый убийца?! И остальные — я ведь никого не обижала, исправно болея каждому по его специальности. Все они, еще так недавно шутившие, смеявшиеся за нашим столом, в нашем веселом, вечно полном гостей доме — «матерые убийцы, выродки рода человеческого, злодеи, надевшие белые халаты с единственной целью — зверски умерщвлять преданных деятелей Коммунистической партии и государства»?!

— Не может быть! — ору я, потрясенно глядя на окаменевших родителей. — Не может быть! Скажите же им, что

это неправда! Бегите! Что вы стоите! Бегите и скажите им, что это неправда!

— Да, это ошибка, — сдавленным, чужим голосом, очень осторожно подбирая слова, говорит мама. — Это ужасная ошибка, и она, конечно, скоро разъяснится. Но ты никому, ты поняла меня? — никому не должна говорить, что ты этому не веришь. Ты можешь очень подвести папу и меня, а тебя (тут следует страшная угроза) исключат из комсомола. Ни с кем на эту тему не разговаривай, никаких разговоров не поддерживай!

Легко сказать — не разговаривай, когда всюду — по радио, в газетах, во дворе, в школе, в транспорте, в магазинах — только и разговоров, что о кровавых преступлениях разоблаченных вредителей. Я терплю, молчу, но, кажется, потихоньку схожу с ума. Где север? Где юг? Где правда? Где ложь? Почва уходит у меня из-под ног, я совершенно теряю ориентацию.

Как проклинал народ кровавых убийц и всю их нацию! \* Как жаждал возмездия! Как подогревали эти чувства все доступные в то время средства массовой информации! Ходили слухи, что лекарства в аптеках отравлены евреями-фармацевтами. У врачей-евреев отказывались лечиться. Пахло погромом.

В народе широко обсуждался вопрос, как будут казнить преступников. Информированные круги в моем классе утверждали, что их повесят на Красной площади. Волновались: будет туда открытый доступ или по пропускам. Сходились на том, что по пропускам: иначе любопытствующие подавят друг друга и могут снести Мавзолей. Кто-то говорил: ничего, наверняка снимут кино. А я видела во сне повешенного Вовси и просыпалась с криком...

И при всем этом ни на секунду, ни на одно самое короткое мгновение, ни тени мысли, что это может случиться с моим отцом...

---

\* Среди перечисленных в правительственном сообщении врачей-убийц подавляющее большинство были евреями, что подлило дополнительного масла в уже ярко пылающий огонь антисемитизма.

## Урок истории

— Рапорт, к доске!

Глупую, коротконогую, злобную историчку мы терпеть не могли. Со скрипом и скрежетом тащила она нашу ладью по высохшему руслу кастрированного ею исторического материализма. Ее послушать, так вся история человечества сводилась к смене одних общественно-экономических формаций другими общественно-экономическими формациями, происходившей из-за несоответствия производительных сил производственным отношениям. С безжалостностью вивисектора препарировала она живую, пульсирующую плоть истории, заставляя нас исследовать труп.

Но сегодня я была довольна, что меня вызвали. Мне нравилась тема — американская конституция. Я кое-что почитала о ней, сбегала к тете Юле, расспросила. Тетя Юля и Шабсай Мошковские были ближайшими друзьями моих родителей. Они жили в нашем доме, построенном кооперативом «Медик» в 1951 году. Весь дом был тогда заселен медицинской профессурой. Шабсай был членом-корреспондентом Академии медицинских наук, тетя Юля — историком, специалистом по средневековой Германии. Она и училась в Германии, во Фрайбургском университете. Об исторических личностях и фактах тетя Юля рассказывала так, будто была со всеми лично знакома и все происходило у нее на глазах. Я очень любила ее рассказы; я вообще очень с ней дружила, делясь с ней многим, во что не посвящала родителей. Вот и на этот раз тетя Юля очень интересно рассказала мне историю молодой Америки, и я с удовольствием передавала ее рассказ одноклассницам. Ничего этого в учебнике написано не было. Класс слушал, развесив уши.

Историчка поставила мне тройку. Это была сенсация! Для меня и четверка — редкое событие. Я обалдела, класс возмутился.

— Она что, неправильно отвечала?! Тогда объясните, что она неправильно сказала!

— Нет, отвечала она правильно, — защищалась историчка, — но каким тоном! С какой интонацией! — и неужи-

данно завизжала, передразнивая: «Ах, какая замечательная страна Америка! Я завтра поеду в Америку, у меня тетя в Америке!»\*

Ну, знаете, это уж слишком! Я быстро собрала портфель и вылетела из класса:

— Все! К черту! Больше в школу не пойду!

Родители не на шутку обеспокоились. Уму непостижимо: каждую минуту ждали самого худшего, а обеспокоились из-за такого пустяка! Они пошли к директору школы. В этой, новой для меня школе директорствовала математичка Вера Лукинична Кириленко, сухая и строгая, как ее предмет. Много лет прошло, пока я осознала, какой подвиг совершила эта женщина: она заставила историчку публично передо мной извиниться! Произошло это на следующем уроке истории. Вера Лукинична вошла в класс вместе с историчкой, села за заднюю парту.

Устремив куда-то вбок, на портрет Сталина на стене, пустые, ничего не выражающие глаза, историчка вяло промямлила:

— Я тут думала об ответе Рапопорт на прошлом уроке. Пожалуй, низкопоклонства перед Америкой в ее ответе не было. Но она не подчеркнула, что со времен принятия конституции в Америке многое переменялось, и сейчас там нет и следа объявленных конституцией свобод. Все же я решила исправить Рапопорт отметку на четверку. Дай дневник.

Опешив от неожиданного поворота событий, я подала дневник. Урок этот происходил через пару дней после визита ночных гостей, но историчка не знала, что извинялась она не перед отличницей-комсомолкой Наташей Рапопорт, а перед дочерью шпиона и убийцы, члена антисоветской террористической организации. Такой вот парадокс истории.

---

\*В те годы иметь родственников за границей считалось чуть ли не государственным преступлением и было крайне опасно.



## Обыск

...Обморок мой был такой глубокий, что я не слышала, как вернулись родители, как увезли папу. Очнулась глубокой ночью, все еще в полном неведении. Мама стояла около меня на коленях. Чужой мужской голос спрашивал:

— Это ваша дочь?

— Да.

— Ваша и арестованного?

Арестованного?! Мощная волна подхватывает меня, вертит, молотит, ломает кости и уносит навсегда — из розового мира, из счастливого детства. Второй раз я прихожу в себя уже дочерью врача-вредителя.

В квартире идет обыск. Для профессионалов — занятие скучное, рутинное, почти автоматическое. Каждую книжку — по листочку. Каждую подушку. Каждый ящик. Вот нашли письмо от моего приятеля Яна Лянэ, с которым я подружилась прошлым летом в Эстонии, в Пярну. Просматривают, спрашивают, есть ли еще письма, все отбирают. Откуда мне знать, что отец Яна — репрессированный эстонский священник, крупный деятель эстонской церкви, и моя дружба с Яном — одно из звеньев в преступной деятельности моего отца!

Скучно, скучно... Вот нашли несколько книг Фрейда — листают, шуршат, приобщают к делу. Вот забрали трофейную финку — тупой этой финкой нельзя разрезать и листа бумаги, но — холодное оружие. И вдруг...

Сенсация!!! Найдена ампула с ядом!!! В ящичке с лекарствами, среди других, безобидных ампул! На этой череп с костями и надпись: «Яд!». Вот она, такая необходимая, такая недостающая, совершенно неопровержимая улика! На нашедшего «яд» смотрят с уважением и завистью: ясно, что завтра он получит чин полковника, а то и генерала.

— И сколько же человек можно одной такой ампулкой отправить «на боковую»? — осведомляется у мамы старший лейтенант — единственный на обыске в военной форме.

— Никого этой ампулой не убьешь, — пытается объяснить мама. — Это лекарство, атропин, сердечное средство. У

Якова Львовича был микроинфаркт, и мы держим дома сердечные лекарства на всякий случай.

— Ну-ну, понятно, на какой случай, — язвит лейтенант, — понятно, что за сердечное — сколько уже сердец этим сердечным остановили?!

Он счастлив.

Все мамины попытки объяснить, что такое атропин, разумеется, бесплодны. О найденном яде сообщают куда-то по телефону (ночь, но там не спят!), ампулу тщательно укутывают ватой и запечатывают в какой-то коробок, этот коробок помещают в другой коробок, еще одна печать... Составляют акт о том, что в квартире арестованного найден яд, требуют, чтобы мама подписала. Мама категорически отказывается. Уговаривают, грозят, говорят, что по окончании обыска она поедет с ними. Надолго поедет? Навсегда? Я в отчаянии. Но мама не подписывает.

От приподнятого настроения наших «гостей», связанного с находкой яда, вскоре не остается и следа. Несчастье с их коллегой: он порезался бритвой, на пальце — капля крови. Порезался в доме врача-вредителя! Дни его сочтены! Он сидит на стуле белее стены, вытянув вперед руку с пораненным пальцем, товарищи окружили его и встревоженно переговариваются. Что предпринять? Как спасти? Оригинальный выход предлагает моя мама — она приносит потерпевшему пузырек с иодом. Возбуждение достигает апогея: мазать или не мазать? Один мужественный доброволец капают каплю иода себе на ноготь, все по очереди нюхают и решают не рисковать. Куда-то звонят, вызывают машину и увозят пострадавшего — наверное, в спецполиклинику, где царапинку смажет и перевяжет проверенный и надежный русский врач.

Обыск кончился. Квартиру опечатали, оставив нам мою маленькую комнату, коридор и места общего пользования. Маму, как и грозили, увезли. Ни она, ни я не знали, увидимся ли еще когда-нибудь. Мама вернулась! Через сутки. Оказалось, ее просто возили на дачу, где тоже перерыли все до последней пылинки. Мама рассказывала, что, вернувшись, застала меня на стуле в коридоре в той же позе, в какой оставила: впечатление было такое, что я и не пошевелилась.

Сама я ничего не помню об этих сутках, кроме надрывного воя нашего пуделя Топси. Вероятнее всего, мы выли дуэтом.

С мамой вернулась моя жизнь.

## Дочь врача-вредителя

Я была болезненно привязана к маме. В детстве, когда они с папой куда-нибудь уезжали, я просто заболела, переставала есть и спать, меня рвало, и мне все казалось, что я умру, так и не дождавшись маминого возвращения. Я считала дни, часы, минуты. Для мамы я была готова на все. Мама так радовалась моим успехам — после маминой смерти они надолго потеряли для меня смысл.

В те страшные дни маме было очень важно, чтобы моя жизнь не нарушилась из-за папиного ареста, чтобы я продолжала ходить в школу. И я ходила. Но с этого момента два страха стали полновластными хозяевами моей жизни, два страха, слившиеся в один беспрестанный ужас: дневной страх — что о моем позоре узнают в школе и ночной — что придут за мамой. Ночной страх начинался около одиннадцати вечера и продолжался до пяти утра: почему-то я была уверена, что ни раньше, ни позже маму не заберут. Ночной страх был так силен, что в эти часы меня била крупная дрожь, как в припадке. Я даже спать ложилась не в комнате, а в коридоре на раскладушке, всю ночь напряженно вслушиваясь в звуки и шорохи подъезда, и при стуке двери лифта на ближних этажах кричала от ужаса.

Дневной страх владел мною в школьные часы, превращая меня на это время в маленькую сжатую пружину. Только три девочки из моего класса знали, что у меня стряслось, — три девочки, жившие в нашем доме. Родители строго-настро-го запретили им говорить хоть слово даже самым близким подругам — понимали, что завтра любая из них может оказаться на моем месте. И девочки молчали, хотя легко представить, чего им стоило носить в себе такую сенсационную тайну! А тайна рвалась наружу, жгла кончик языка...

Я изо всех сил старалась казаться естественной, такой, как всегда — общительной и жизнерадостной. И одна из трех не выдержала. На переменке эта девочка отозвала меня в сторону:

— Ты что, думаешь, если мы молчим, ты можешь вести себя как полноправный член нашего общества?

Трах! Многодневное напряжение разряжается звонкой пощечиной, которую я впечатываю в лицо обидчицы. Класс мгновенно замыкает нас в круг:

— Что случилось?

Поборница чистоты рядов глядит на меня со смесью изумления и ненависти, и всем своим вмиг ослабевшим существом, едва удерживаясь на ватных ногах, я физически ощущаю, как правда заполняет ей рот, просачивается сквозь зубы и сейчас, вот сейчас сорвется с губ...

Звенит звонок! Он выводит меня из оцепенения. Я лечу в класс, лихорадочно собираю свои вещи и уйду из школы — может быть, навсегда...

Как мы жили? Маму уволили с работы на следующий день после папиного ареста. Все имевшиеся в доме деньги, облигации, сберкнижку забрали при обыске. В этом была, вероятно, своя логика: хотели посмотреть, кто бросится к нам на помощь, и, потянув за эту нить, раскрыть всю злодейскую цепь до самого последнего звена. Люди понимали это и боялись. Соседи, встречаясь со мной во дворе, отводили глаза и норовили проскочить мимо, не поздоровавшись: не заметили, не узнали.

Но не все. Никогда не забуду Владимира Николаевича и Нину Петровну Беклемишевых — старых русских интеллигентов, живших в квартире под нами. Владимир Николаевич — высокий, красивый человек с бородкой клинышком, академик, как будто сошел с портретов великих ученых девятнадцатого столетия, аристократов духа. Встречаясь с мамой во дворе, он теперь не просто с ней здоровался — нет, он буквально кланялся ей в ноги, давая окружающим вызывающий пример мужества и благородства. Нина Петровна вскоре после папиного ареста пришла к нам домой (!) и предложила маме денег. Мама не взяла — у нее ведь не было никаких шансов

когда-нибудь их отдать, но Нина Петровна не ушла до тех пор, пока не получила твердого маминого обещания обращаться к ним в любой момент, днем и ночью, за любой помощью.

Однажды меня встретила во дворе и привела к себе тетя Юля Мошковская. Она меня накормила, расспросила, дала с собой еды для мамы и быстренько выпроводила: не ровен час вернется с работы Шабсай, застанет меня у них и умрет от страха. Шабсай был замечательный человек, интересный, добрый, обожал детей. Я звала его Папсик (как бы в некоторой степени папа), и любила нежно, хотя и с некоторым оттенком снисходительности, находя в нем массу странностей. Папсик тщательнейшим образом мыл руки, вместо чая пил неприличного цвета горячую воду, ел только свежайшую пищу, в рот не брал алкоголя и вообще был чрезвычайно осторожен. Возможно, отчасти это происходило оттого, что он был специалист (академик!) по глистам.

На фоне Шабсаея тетя Юля, с удовольствием выпивавшая с друзьями рюмку-другую за праздничным столом, казалась чуть ли не алкоголичкой, и ее сын-первоклассник написал в школьной анкете в ответ на вопрос, пьют ли родители: «Отец — непьющий, мать — пьющая». Встревоженная учительница пришла к ним в дом и была немало обескуражена, когда дверь ей открыла прелестная женщина с тонким интеллигентным лицом, а на стенах оказались картины выдающихся художников с дарственными надписями авторов. Тетя Юля потом долго служила для друзей мишенью разнообразных острот.

При Шабсаевой крайней осторожности, бесстрашие, с которым тетя Юля привела меня в дом, граничило с подвигом, и я его оценила.

Забегала Наташка Томилина, девочка из нашего дома, учившаяся в параллельном классе. Раньше она редко у нас бывала, а теперь зачастила. Наташка вытаскивала из портфеля неизменный бутерброд и яблоко:

— Съешь, а? Мать узнает, что я в школе не завтракала — убьет!

Ни разу не бросив даже беглого взгляда на опечатанные двери, не поинтересовавшись, почему я сижу на раскладушке

в коридоре — ну, живет себе человек в коридоре на раскладушке, подумаешь, обычное дело, — Наташка доставала из портфеля учебники:

— Слушай, реши задачку по физике (алгебре, химии, геометрии). Галиматью какую-то сегодня проходили. Погляди.

Наташка до сих пор уверяет, что делала это без малейшего умысла — просто какой же нормальный человек станет сушить свои мозги над решением дурацких задач, когда для той же цели есть гораздо более простой и надежный путь, да к тому же известно, что мне это в охотку. Врет, наверное. Она сама прекрасно училась, и решать «дурацкие задачи» ей ничего не стоило. Но так или иначе, а благодаря Наташке я осталась в курсе школьной программы и школьных сплетен, и когда вернулась в школу, мне почти не пришлось догонять...

Еще помогали жить классики. В коридоре стоял книжный шкаф с подписными изданиями: Толстой, Пушкин, Гюго... Мама носила их к букинистам, возвращалась с хлебом, крупой, молоком. Но классики покидали наш дом в объемистых тяжелых сумках, и кто-то (я почти уверена, что это был наш сосед сверху) написал донос: мама продает вещи изпод печати. Снова обыск. Приехавшие сняли печати, сразу увидели, что донос ложный, но обязаны были досконально все проверить — все сначала, по описи. Мне этот новый обыск чуть не стоил жизни: я ведь была уверена, что это пришли за мамой, билась и кричала — но нет, маму не забрали: опечатали все заново и уехали с миром.

И была одна семья, которая помогала постоянно.

## Губеры

С тетей Раей Губер мама сидела за одной партой. Гимназическую дружбу они пронесли через всю жизнь, были ближе сестер. Когда я родилась, мама заболела тифом, и тетя Рая кормила грудью меня вместе со своей Маришкой, родившейся за два месяца до этого. Был там еще Шурик, старше нас на год.

— Я вскормил тебя грудью своей жены, — любил попрекать меня тети Раин муж Андрей Александрович Губер, главный хранитель Музея изобразительных искусств имени Пушкина, справедливо полагая, что у человека, вскормленного *такой* грудью, не должно быть таких недостатков. Губеры были моей второй семьей.

Это была очень красивая пара. Тетя Рая — маленькая, изящная, веселая. Андрей — высокий, элегантный, сероглазый, заводила и душа наших игр. Лапта, штандр, салочки, горелки, лото — он играл изобретательней и азартней нас всех!

Андрей был из обрусевших немцев — его предки переехали в Россию еще в петровские времена. Он был профессор-искусствовед, специалист по итальянскому Возрождению. Музей Изобразительных искусств в детстве был для нас — Маришки, Шурика и меня — родным домом. Нас знали все музейные «бабушки», мы бегали туда слушать лекции, шатались по залам, иногда Андрей Александрович брал нас в запасники.

Андрей был замечательный рассказчик. С моим папой они неизменно составляли ослепительный дуэт, на мелодиях которого мы росли.

Несмотря на высокий пост Андрея, у Губеров был очень трудный быт. Они жили в огромной коммуналке на улице Москвина, в небольшой комнате, разделенной, как в поезде, на купе. Сходство усиливалось тем, что Шурик спал над Маришкой на двухэтажной кровати — обыкновенную кровать поставить было негде. Основное пространство занимали книги. Друзья настаивали, чтобы Андрей похлопотал об отдельной квартире, но ему постоянно отказывали — он совершенно не умел бороться с чиновниками или давать взятки. Наконец, появилась возможность купить небольшую кооперативную квартиру. Переезд погубил его: перебирая и упаковывая тысячи книг, Андрей переутомился и получил инфаркт, после которого его не спасли...

Музей прощался с ним в Итальянском дворике. Маленький оркестр играл удивительно светлую музыку, читали Тютчева, и не было ощущения похорон: казалось, этот человек здесь, в стенах, умножению славы которых он посвятил



всю свою жизнь. Вместе с нами его оплакивал Давид, и фрески на стенах, и химеры на сводах арки, под которой стоял гроб. Люди говорили прекрасные слова о человеке, который навсегда остался жить в хранимых им сокровищах...

...А тогда, в те страшные для нас дни, Андрей Александрович прислал к нам порученца-Шурика: велел мне каждый день приезжать к ним обедать.

Мои ежедневные визиты были сопряжены для Губеров с огромным риском, тем более что жили они в коммунальной квартире, где кого только нет. Но Губеры были выше страха. Они принимали меня каждый день, кормили, давали еду для мамы и деньги для передач папе. Поездки к ним я запомнила на всю жизнь.

В нашем подъезде, во дворе дома и под аркой постоянно дежурили топтуны — следили. Глаз быстро привык отличать их среди других людей — впрочем, это было несложно. Мама научила меня «уходить» от слежки. Я ехала в метро, стоя у самой двери вагона. Когда двери уже начинали закрываться, я неожиданно выскакивала на какой-нибудь промежуточной станции, садилась во встречный поезд и проезжала остановки две-три. Такую операцию на пути от Сокола до Центра я повторяла несколько раз, благо спешить было некуда. Если я не была уверена, что «ушла», я обязана была вернуться домой. Не помню, чтобы такое когда-нибудь случилось.

Выходить из дому было для меня мукой по другой причине. В нашем дворе стояли бараки. В одном из них жила дворничиха Люся — та самая, которая привела «грабителей». После папиного ареста и утро еще не наступило, а обитатели бараков уже точно знали и информировали всех интересующихся, что мой отец брал гной с раковых трупов и мазал им здоровых людей. Барачные мальчишки взяли на себя акт возмездия за чудовищные преступления моего отца: они швыряли в меня все, что под руку попадется, включая дохлых мышей и довольно увесистые бумажники. Приходилось, как это ни унижительно, спасаться бегством: если я не проявляла достаточной резвости, мне доставалось...

## Возвращение

Однажды, кажется, это было в середине февраля 1953 года, мама вернулась домой едва живая: она ездила с передачей для папы, но передачу не приняли.

— Передач больше не приносите, они больше не нужны, — заглянув в какой-то список, сказал маме дежурный. На мамыны лихорадочные вопросы отвечать отказался. У этого могло быть только одно объяснение: папы больше нет.

Потянулись дни — пустые, однообразные, черные.

...Четвертое марта 1953 года. Мама, не отрываясь, напряженно слушает радио. Чейн-Стоксовское дыхание! Мама молчит, ждет. Пятое марта. Свершилось! Сквозь черную ночь в маминых глазах впервые пробивается какой-то робкий свет.

— Если папа жив, — говорит мне мама, — теперь многое может измениться!

...Восьмое или девятое. Телефонный звонок. Мужской голос:

— Я звоню по поручению профессора. Профессор просит вам передать, что он здоров, чувствует себя хорошо, но волнуется за семью. Что я должен передать профессору?

Профессору! Не выродку, не убийце, не злодею! Профессору! Он жив!!!

— Мы прекрасно, — почти кричит мама, — передайте ему, что мы прекрасно, мы здоровы, мы... счастливы, — совсем уж неуместно заключает она в дни всеобщей скорби.

Мы счастливы! Со своей потрясающей новостью я лечу к Губерам. Меня обнимают, тормошат, тетя Рая несется на кухню ставить пирог.

— Поминальный, — смущенно и не совсем уверенно объясняет она пораженным соседям. — Хотим помянуть Иосифа Виссарионовича, по русскому обычаю.

Я несусь домой с пирогом и снедью для грандиозного пиршества.

...Он еще в Колонном зале, он еще жаждет новых жертв, он еще должен умыться кровью сотен раздавленных, перемо-

лотых в гигантской мясорубке людей, скорбящих или просто любопытных. А у нас праздник! Впервые в жизни так пронзительно и остро чувствую я свое отъединение от этого общества, от этой толпы, и совсем уже по-взрослому его осознаю. Это — начало зрелости.

Теперь мы с мамой живем надеждой. Мама вновь возит папе передачи — оказывается, папу переводили на «особый режим», не предусматривающий передач. Выяснилось позже: папа не подписывал никаких ложных показаний, ни на себя, ни на других, и его перевели на режим, который должен был его образумить: кандалы, много суток без сна, отсутствие передач. Но он и тогда ничего не подписал.

...Медленно тянутся дни и недели. Неизвестность, передача, неизвестность... И вдруг!

Ночь с третьего на четвертое апреля. Собачка Топси внезапно безумеет, начинает метаться по коридору, ударяясь то в опечатанную дверь столовой, то во входную дверь, гигантскими прыжками преодолевает мою раскладушку, надрывно лает. Я в панике: идут за мамой... Телефонный звонок. В трубке — папин голос:

— Дорогие, это я! Я сейчас буду дома! Звоню из автомата в подъезде, чтобы вы не упали в обморок!

Топси напряженно застыла у входной двери, восторженно повизгивает, и только хвост ходит, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. Через минуту звонок в дверь: папа!!! С ним полковник КГБ и тот лейтенант, который его забирал, — несет его чемоданчик.

— Вот, возвращаем вам профессора, — говорит он смущенно.

Первой папу приветствует Топси: в рекордном прыжке с места она обнимает его за шею, лижет в губы, в нос, в глаза. Потом — очередь мамы, потом — моя. Смеемся, плачем — все одновременно.

А лейтенант той порой снимает печати, а полковник куда-то звонит:

— Товарищ генерал, профессора доставили. Много радости, много слез...

Изъятый при обыске торжественный черный костюм с приколотым к нему орденом Ленина болтается на папе, как на вешалке; орден Ленина (получил за военные заслуги, был главным патологоанатомом Карельского фронта) слепит глаза. Дома! Живой! Со справкой о полной реабилитации! Вот она — справка, мы по очереди читаем ее, вертим, смотрим на свет — слова пока плохо до нас доходят. Полковник говорит, что днем нам привезут отобранные при обыске вещи, прощется, желает счастья, иони уезжают. Мы остаёмся вчетвертом: папа, мама, Топси и я». Папа рассказывает, мама слушает, а я пока ничего не слышу — только смотрю.

Шесть часов утра. Радио разносит на весь мир весть о прекращении «дела врачей-вредителей» и полной их реабилитации. Звонок в дверь. Соседи: Беклемишевы, за ними — Капланы. Они не спали всю ночь, слышали шум и думали, что это пришли за мамой. Но вот — радио! С этой минуты дверь в нашей квартире не закрывается. За несколько часов у нас перебивал весь дом. Цветы, цветы! Неожиданно в полном составе является мой класс: теперь уже ничего не надо скрывать, и осведомленные девочки вознаграждают себя за двухмесячное молчание неслыханной сенсацией! Приходят все, даже моя обидчица, и в руке у каждой — цветок. Они по очереди отдают цветы папе. Я реву в голос — даже и сейчас реву, когда пишу эти строки. Потом приходят мои учителя (все, кроме исторички), спрашивают, когда я вернусь в школу. Да завтра же и вернусь! Я так соскучилась!

Какой день, какой праздник! Папа обзванивает друзей — все на месте! Не все в состоянии передвигаться и даже говорить, но все — дома!

Папа едет на работу. Директор Института, замечательный человек Семен Иванович Диденко обнимает его в слезах: он тянул, сколько мог, но недавно все-таки вынужден был провести партийное собрание, на котором папу клеймили как врага народа, выродка, убийцу и злодея и исключили из партии (папа вступил в партию на фронте, полагая, что это единственная сила, способная победить фашизм). Семен

Иванович совершенно счастлив, что папа на свободе, и папа от души просит его забыть о собрании — он же все понимает...

Жизнь постепенно вошла в свою колею. Я вернулась в школу. Учиться было естественно, как есть и спать. Жгучий интерес ко мне постепенно угас, и стало легче дышать — оказалось, я не приспособлена для славы. Папа вышел на работу, где многие стеснялись смотреть ему в глаза. А через небольшое время, в июне, в нашей жизни вновь возникла Лина, одна из немногих уцелевших членов Еврейского Антифашистского Комитета, пережившая в свои неполные семьдесят лет и тюрьму, и ссылку. Мы с ней очень подружились, и я бережно храню в памяти наши встречи и разговоры.

Четвертое апреля стало в нашей семье традиционным праздником. В первые послесталинские годы в этот день у нас за столом собиралось человек тридцать, переживших «дело врачей» в тюрьме или на «свободе». Постепенно, теперь уже по естественным причинам, их становилось все меньше. Последним ушел мой отец.

Но мы все равно продолжаем отмечать этот день, как день нашего второго рождения.

## ВСТРЕЧА

*Бог есть сумма всех случайностей.  
Я желаю Вам счастливых случайностей.  
Папа — на своем 90-летнем юбилее*

*На свете столько разных вероятностей,  
Внезапных, как бандит из-за угла,  
Что счастье — это сумма неприятностей,  
От коих нас судьба уберегла.*

*Игорь Губерман*

В пятнадцатом году папа приехал из Симферополя в Петербург, чтобы поступать в вуз. Сначала он поступил в консерваторию. Его экзаменовал сам Глазунов и остался им очень доволен.

Какими-то неправдами выправив себе второй экземпляр документов, папа одновременно держал экзамены в медицинский институт, куда его тоже приняли. Поколебавшись, папа предпочел медицину.

Вида на жительство в Петербурге у него не было, и он снимал угол у швейцара какой-то гостиницы. Пользуясь папиным бесправным положением, швейцар бессовестно им понукал. Папа называл себя «швейцарский подданный».

В семнадцатом году папа заболел сыпным тифом и двадцать четыре дня пролежал в сыпном бараке. Чудом выжив и едва оправившись, он вместе с другими студентами получил винтовку и револьвер и отправился охранять членов Государственной Думы. Двадцать пятого октября семнадцатого года стало ясно, что эта миссия ему не слишком удалась. Врач Шингарев, светлая личность. Кокошкин и некоторые другие с помощью Шингарева спрятались в больнице, но матросы их отыскивали и задушили в палате подушками. Тогда папа утопил винтовку в Неве, соорудил в чемодане двойное дно, спрятал туда револьвер и решил возвращаться через Москву в Симферополь, где в это время открылся очень сильный медицинский институт, с прекрасными профессорами из Петербурга.

Дорога в Крым лежит через Украину, которая в ту пору была «самостийной», гетманской. Поезда из России доходили до границы с Украиной и дальше не шли. Поезда в Крым стартовали на украинской территории. Участок от конечной российской станции до начальной украинской надо было преодолевать на извозчике. Немедленно возник новый вид деловой активности: извозчик набирал группу пассажиров, в дороге их грабил, а если сопротивлялись — убивал. У этого участка дороги была очень дурная слава, и люди заранее искали себе спутников, старались сбиваться в группы, в которых хотя бы один из пассажиров был вооружен.

Зная, что папа собирается в Симферополь и что у него есть револьвер, папин друг, адвокат Борис Яковлевич (фамилию я забыла) привел к нему даму, которая искала попутчика, чтобы ехать на родину, в Крым. Папа должен был опекать ее в дороге. Она была лет тридцати, студентка Московского университета. Дама осталась очень довольна будущим спутником — озорным, не робеющим, вооруженным студентом. Они договорились о дне отъезда, условились о встрече. Но накануне назначенного дня дама пришла вторично. На этот раз она была чем-то явно озабочена. Папе она показалась очень сосредоточенной и отрешенной.

— Я не смогу с вами поехать. Дела задерживают меня здесь. Советую вам отложить отъезд и найти себе попутчика, чтобы не ехать одному.

Папа, однако, уехал и благополучно добрался домой. Там он узнал, что за время его дороги было совершено неудачное покушение на Ленина. С фотографии в газете на него смотрела его несостоявшаяся спутница. Ее звали Фанни Каплан.

Папа никогда никому не рассказывал об этой встрече:

— Поди докажи потом чекистам, что ты никакого отношения к покушению на Ленина не имел!

Когда папа приехал в Крым, там то ли уже были, то ли вскорости пришли белые под командой барона Врангеля. Папа продолжал учиться в медицинском институте и одновременно работал в госпитале фельдшером. Госпиталь размещался

в имении «Бештерек», верстах в двенадцати от Симферополя по Феодосийскому шоссе.

Раньше это имение принадлежало военному доктору, генералу Соловейчику, и было им завещано Обществу по распространению просвещения среди евреев России (сокращенно ОП). Летом 1916 года там находился один из очагов накопления для евреев, выселенных в Первую мировую войну из прифронтовых зон «для очищения от неблагонадежных элементов». Два года спустя это имение занял «белый» госпиталь, в котором папа работал. Потом белые папу мобилизовали и отправили на фронт, но до фронта он не доехал, так как белых потеснили красные во главе с Бела Куном и Землячкой. Повсюду были расклеены объявления: всем лицам, сотрудничавшим с Врангелем, предписывалось под угрозой смертной казни сдать оружие и явиться на регистрацию. Работа в госпитале квалифицировалась как сотрудничество. Молодой медперсонал госпиталя собрался в каком-то потайном месте обсудить ситуацию. Мнения разделились. Кто-то говорил, что в мировой практике работа в любых госпиталях, кому бы они ни принадлежали, не считается предательством, и потому медперсоналу «белого» госпиталя ничего не грозит. Папа относился к большевикам с большим пониманием — у него уже был кое-какой петроградский опыт — и предлагал немедленно бежать. В результате группа разделилась: доверчивые остались в Симферополе и пошли на регистрацию, остальные ушли в горы и решили пробираться в Россию. Оставшиеся в городе, все без исключения, были расстреляны.

Папа курсировал между горами и домом, приносил беглецам еду и медикаменты. Однажды, в 1921 году, когда папа был дома, нагрянула ЧК с обыском. Бабушка увидела чекистов на улице, крикнула папе: «Беги!», он выпрыгнул через заднее окно, и ему удалось скрыться. Папа провел несколько дней у друзей, которые помогли ему достать фальшивые документы на имя учащегося ткацкого профтехучилища, комсомольца Йоньки Филькера. С этими документами папа укатил в Москву.

В Москве жил юрист Борис Яковлевич, когда-то учившийся в школе моего деда (тот самый, который привел к



папе Фанни Каплан). Борис Яковлевич стал уговаривать папу: «Оставайся Йонькой Филькером! Ткач — хорошая профессия, и документы у тебя замечательные!». Но папа не соглашался — во-первых, он хотел быть врачом, а не ткачом, во-вторых, ему нравилась его собственная фамилия Рапопорт.

Он попытался восстановиться в медицинском институте, но все документы о его предыдущей учебе пропали. С величайшим трудом ему удалось уговорить администрацию московского медицинского факультета принять его условно на пятый курс. Уже через месяц он стал первым студентом курса, но чтобы получить диплом, ему необходимо было снова сдавать все экзамены за предыдущие четыре с половиной года... И тут произошло чудо. Звонит папин приятель и сообщает, что к нему приехала жена из Симферополя и привезла настоящие папины документы — их отыскала и передала бабушка. Среди документов была папина зачетка. Чудо ее обретения усугублялось тем, что на поезд, в котором ехала жена приятеля, по дороге напали махновцы, всех ограбили, и единственное, что ей удалось в сохранности довести до Москвы, был узелок с папиными документами! В том же году папа окончил медицинский факультет Московского университета по специальности патологическая анатомия.

## ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

*Я тоже артист театра.*

*Правда, анатомического.*

Папа — народной артистке

Вере Пашенной

Папиными работодателями были лечащие врачи. Их ошибки или бессилие мостили пациентам дорогу в патолого-анатомическое отделение. Обладателем истины в последней инстанции был папа.

Лечащие врачи его обожали. Он был их верховным судьей, но он указывал им на ошибки с необыкновенной дели-

катностью, никогда не унижая их профессионального достоинства. На регулярных конференциях в больнице, при разборе смертных случаев папа не обвинял и не попрекал лечащих врачей, а анализировал причины смерти больных с глубоким уважением к работе лечебного персонала. Но к невеждам, «арапам», как он их называл, он был беспощаден.

Говорят, теперь таких патологоанатомов, как мой отец, больше нет. Я слышала от многих десятков врачей разных поколений и специальностей, какой редкостной профессиональной удачей в их жизни была работа с папой.

Первый в мире хирург, осуществивший пересадку сердца, — Барнард прислал папе препараты сердец двух своих первых пациентов, Вашканского и Блайберга. Один из них прожил, по-моему, две недели, другой — около года. В обоих случаях пациентам были пересажены молодые сердца. Барнарда интересовало папино мнение об изменениях в пересаженном сердце. Папа обнаружил, что за год жизни в организме пациента, в пересаженном ему молодом сердце произошли те же изменения, что были в его собственном сердце и привели его на операционный стол. На этой основе папа сформулировал ситуации, при которых операция пересадки сердца оправдана, в отличие от других, когда она бесперспективна. Барнард прислал папе очень теплое благодарственное письмо.

Происходило все это вскоре после папиного освобождения из тюрьмы. Пересадка сердца была тогда «горячей» темой, занимала первые полосы газет. Тот факт, что Барнард прислал папе препараты, вызвал большое оживление в медицинских и журналистских кругах. К нам приезжали из «Литературной газеты», из «Вечерки», с радио — всех интересовало папино мнение об эксперименте Барнарда. Как быстро меняется все в этом мире: всего несколько лет назад папа был «убийцей в белом халате», «извергом рода человеческого» и только чудом избежал позорной казни...

По роду профессии папе иногда приходилось вскрывать тела друзей. Вскрывая друзей, он как бы отдавал им последний долг. Так было с Львом Ландау.

Папа дружил с Дау — не очень близко, но радостно. Встречаясь, они высекали такие искры, что окружающие слушали, затаив дыхание, или умирали со смеху.

Когда случилась автомобильная катастрофа, папа активно участвовал в операции по спасению Дау, связывался с иностранными коллегами, добывал лекарства, нам звонили из Франции и откуда-то еще. Папа посадил меня за телефон, я вынуждена была говорить и, хуже того, понимать по-французски. Я не справлялась, и папа сердился.

Потом, годы спустя, папа вскрывал тело Ландау. Со вскрытия он вернулся очень подавленный. Сказал: «У Дау все эти годы были чудовищные боли. Наверное, почти нестерпимые. А многие считали, что он капризничает...». Мозг Ландау папа нашел необычным по структуре и размеру. Он его сфотографировал и эту фотографию хранил дома. Папа не хотел сам делать секцию мозга Ландау и отдал его целиком на исследование в Институт Мозга. Потом, многие годы спустя, он хотел так же сохранить мозг академика Сахарова, но это не удалось.

Участие во вскрытии тела Андрея Дмитриевича Сахарова было последней папиной профессиональной работой.

Ранним утром 15 декабря 1989 года позвонила моя подруга Ирина Уварова-Даниель, прорыдала в трубку: «Андрей Дмитриевич» и отключилась. Это был страшный удар. Сахаров играл огромную роль в жизни моего круга и моего поколения. Мы все жили тогда надеждой, что нашу страну можно будет преобразить и сделать пригодной для нормального человеческого существования, и эти наши надежды были так или иначе связаны с именем Сахарова. А для меня лично Сахаров был не только символом: я неоднократно встречала его и Елену Боннэр на заседаниях «Мемориала» — в Доме Архитектора, где «Мемориал» впервые во всеуслышание заявил о своем существовании, в Доме Кино, когда мы боролись за избрание Сахарова в Верховный Совет, в разных других местах. Я близко видела его и слышала, он был для меня живым измученным человеком. Для меня и моих друзей смерть Сахарова стала личной трагедией.

Папа написал через неделю после смерти Андрея Дмитриевича: «В тот трагический момент, когда я услышал известие о смерти Сахарова, у меня возникли в памяти слова пасхальной литургии: «Смертию смерть поправ». Слова Андрея Дмитриевича уже еле звучали в нашем громохочущем мире. Их заглушала пошлая политическая грубость...».

Наверное, многие помнят, что в тот день на Съезде народных депутатов Горбачев был с Сахаровым очень груб, всем своим видом показывая, какое исключительное терпение проявляет, слушая этого сумасшедшего старика. Народные депутаты Сахарова «захлопали». Андрей Дмитриевич сказал, что на следующий день объявит Горбачеву оппозицию. Этого не случилось, так как он внезапно умер.

Обстоятельства смерти Андрея Дмитриевича были странными, если не сказать — подозрительными. У Сахаровых были две двухкомнатные квартирки, одна над другой — в одной шел быт, в другой Андрей Дмитриевич отдыхал и работал. В этот вечер он сказал Елене Георгиевне, что хочет отдохнуть полтора часа перед тем, как сесть работать над завтрашней речью. Он попросил разбудить его через полтора часа и вышел в нижнюю квартиру. Через полтора часа, как договорились, Елена Георгиевна спустилась вниз. Дверь квартиры была открыта. Сахаровы вообще с утра до поздней ночи традиционно не запирали дверей. Андрей Дмитриевич лежал на пороге квартиры. Он был мертв. На крик Елены Георгиевны прибежали соседи — два молодых человека, курившие на лестничной клетке. Они перенесли Андрея Дмитриевича на диван и безуспешно пытались делать искусственное дыхание, хотя смерть была очевидной и не вызывала сомнений. Приехавшая два с половиной часа спустя «скорая» объявила академика Сахарова мертвым. Было ясно, что умер он мгновенно, буквально через минуту после того, как расстался с Еленой Георгиевной и пошел отдохнуть. Что было причиной этой внезапной смерти?

Утром радио объявило о смерти Сахарова, и вскоре папе позвонил человек, представившийся Юрой Васильевым. Юре этому было за шестьдесят, но папа помнил его молодым аспи-

рантом Института Морфологии, в котором папа работал заместителем директора в конце сороковых — начале пятидесятих годов. За прошедшие годы «Юра» стал известным ученым. Он сказал, что звонит по просьбе семьи Андрея Дмитриевича и физиков ФИАНа. Они просят папу присутствовать при вскрытии: они надеются, что папин профессиональный авторитет и репутация человека с несгибаемой совестью предотвратят возможность скрыть подлинные причины смерти Сахарова, если обнаружится, что она была насильственной, а не естественной.

На следующий день после вскрытия папа начал писать записки, которые я в сокращенном виде предлагаю вашему вниманию.

### **Отчего умер академик Сахаров (записки Я. Л. Рапопорта)**

Поручение, которое я получил, было тяжелейшим в эмоциональном, физическом и нравственном плане. В ходе его исполнения могло возникнуть много рискованных моментов испытания моего профессионального опыта, требовавших быстрых решений. Мне был девяносто один год, и мое физическое состояние было далеко от идеального: ограничение мобильности, утомляемость, вопреки легендарной моей выносливости. Но мои размышления и сомнения длились несколько секунд. Я дал согласие.

Спустя короткое время после звонка Васильева мне позвонил сотрудник Сахарова, физик Фрадкин, и попросил разрешения приехать ко мне для детализации поручения, на которое я дал согласие Васильеву. Фрадкин приехал около трех часов. Он объяснил, почему жребий пал на меня, и информировал меня о требованиях ко мне. То, что он мне сказал, еще более укрепило мое решение, как будто доверие исходило от самого Андрея Дмитриевича, и это он вручает мне свою, ушедшую навеки судьбу. Я принял этот жребий как высочайшую награду за прожитую жизнь.

Фрадкин информировал меня о конкретных деталях моего предстоящего участия во вскрытии. Неожиданностью для меня оказалось, что вскрытие будет происходить в прозектуре Кунцевской больницы 4-го управления, а не в тесной прозектуре больницы Академии наук, где обычно происходили вскрытия сотрудников Академии всех рангов и где я отдал свой профессиональный долг покойному другу, академику Ландау.

Следующей неожиданностью было то, что вскрытие будет не наедине с прозектором, как это обычно бывает, а в присутствии трех патологоанатомов, академиков медицинской академии. Это меня озадачило: не возникнет ли у меня, профессора, который должен контролировать заключение академиков, амбициозной конфронтации с ними? Предупреждены ли они о моем участии? Фрадкин меня успокоил, что они не только предупреждены, но обрадованы моим участием, и даже прокурор не только дал согласие на мое участие, но выразил ему горячее одобрение, полагая, что оно снимет возможные домыслы о причинах смерти Сахарова. Я обратился к моей младшей дочери Наташе с предложением сопутствовать мне, не сомневаясь в ее согласии.

Около 4-х часов за нами приехали двое юношей (один из них великан) и мы отправились. В глубокой тьме машина одолевала снежную метель в поисках морга Кремлевской больницы, дорогу к которому водитель не знал. Я беспокоился по поводу возможного опоздания, но мои спутники успокоили меня сообщением, что, по соглашению с официальными деятелями этого процесса, без меня к нему не приступят. Часов около шести, после длительного путешествия в пушкинской метели, мы наконец прибыли по назначению. Новая неожиданность: морг оказался не маленьким тесным помещением, как в Академической больнице, а большим импозантным специальным зданием, построенным недавно с большим размахом.

Путь наш шел через обширный пустой секционный зал, на единственном столе которого лежало тело, вокруг головы которого копошились несколько человек. На мой вопрос, что они делают, мне ответили, что, пользуясь задержкой вскрытия в ожидании моего прибытия, они снимают с лица Сахарова мас-

ку. Судя по виду лица и головы, замеченному мной на ходу, они заканчивали этот процесс. Меня это удивило. Ведь подготовка и манипуляции для снятия маски могут резко отразиться на каких-нибудь деталях, могущих иметь значение для последующего патологоанатомического исследования. В этом я усмотрел прочность презумпции естественной, а не насильственной смерти, и эта презумпция меня в какой-то мере удивила.

Мои спутники проводили меня по широкому коридору, в который выходили закрытые двери, вероятно, рабочих кабинетов. Меня провели в обширный кабинет, где стоял большой письменный стол и упирающийся в него длинный «заседательский» стол. За ним я застал трех хорошо знакомых мне патологоанатомов, академиков Академии медицинских наук. Это были: начальник патологоанатомической службы 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР Ю. Р. Постнов; заведующий кафедрой патологической анатомии 1-го Московского медицинского института В. В. Серов и начальник патологоанатомического отделения Института Склифосовского И. К. Пермяков. Они встретили меня не просто дружелюбно, но даже с радостной приветливостью, как сотоварища по их нелегкой миссии; не было и следа амбициозной конфронтации, которой я опасался. На столе были следы чаепития, и сидевший рядом Серов тут же налил мне чашку чая и пододвинул коробки с заграничным печеньем и шоколадными конфетами. Кроме патологоанатомов, в кабинете были два скромно державшихся работника юстиции, судя по их форме. Один из них, по-видимому, был тот прокурор, одоббивший мое участие во вскрытии, о котором мне сказал Фрадкин. Кроме них был какой-то упитанный генерал-лейтенант с обычными общевойсковыми погонами. На лице его была настороженность при моем появлении и полное отсутствие дружелюбия и приветливости. Я спросил — кто это. Мне ответили — Томилин, как будто я должен был знать эту фамилию. Я, однако, не знал, и мне разъяснили, что он заведует кафедрой судебной медицины 1-го Медицинского института, и, по-видимому, такой же кафедрой в Академии МВД, судя по чину и погонам.



Мои коллеги сообщили, что вскрытие будет судебно-медицинским. Я понял из этого, неожиданного для меня сообщения, что и я и мои коллеги патологоанатомы здесь только профессиональные консультанты, а не исполнители. Я понимал задачу своего присутствия — следить за тем, чтобы не было попыток скрыть возможную криминальную сторону смерти Сахарова, и подумал — не была ли предвзято навязана моим коллегам противоположная роль. Я не сомневался в общественно-политической порядочности моих коллег, хотя, в аспекте всей послеоктябрьской истории нашей страны, моя доверчивость может выглядеть наивной.

После окончания процедуры снятия маски с лица и руки умершего нас пригласили в секционный зал. Вскрытие осуществлял судебный эксперт, высокий мужчина лет около сорока, фамилии его я не знаю и сейчас. Он безусловно имел опыт как в технике вскрытия, так и в общей характеристике анатомических находок. Он выслушивал и без возражений исполнял просьбы присутствовавших патологоанатомов, демонстрируя им кое-какие детали в исследуемых органах, часто обращался к нам для подтверждения своей характеристики, демонстрировал нам все выявленные при вскрытии изменения. Словом, он произвел на меня впечатление опытного прозектора, добросовестно регистрировавшего в диктуемом им протоколе все особенности, имеющие значение в общем эпикризе\*, без попытки что-либо утаить. Именно он являлся официальным доверительным лицом судебно-медицинского вскрытия, а мы — патологоанатомы и даже двухзвездный генерал — были только вспомогательными консультантами, каждый в своей специальной области.

По ходу вскрытия производились многочисленные фотоснимки женщиной-фотографом, по-видимому, имевшей опыт в судебно-медицинской практике.

Патологоанатому нередко приходится иметь дело со случаями внезапной смерти, и в этих случаях область суждений патологоанатома пересекается с областью судебной медици-

---

\*Эпикриз — окончательный диагноз, заключение.



ны, за исключением тех случаев, когда причины внезапной смерти не вызывают сомнений в силу своей очевидности. В случаях криминологически сомнительных, когда подозревается насильственная смерть, в распоряжении судебной медицины имеется большой арсенал методов, которыми ее вооружила техническая революция.

В первых десятилетиях нашего века подлинным королем судебной медицины и основателем школы русских судебных медиков был профессор Минаков. Его лекции привлекали буквально тысячную аудиторию, и не только медиков, своей увлекательностью и широким для того времени охватом проблем. Они казались совершенством, но как же далеко шагнула судебная медицина за последние десятилетия! Можно утверждать, что сейчас от вооруженного всеми достижениями криминалистики судебно-медицинского эксперта не ускользнет ни один случай насильственной смерти.

Я не буду профессионально излагать характеристику исследованных нами органов и систем, остановлюсь лишь на важнейших деталях, могущих играть роль жизненно важных факторов. К ним относится прежде всего состояние сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, системы дыхания и некоторых других систем, связанных регулирующим действием в целостном организме.

Первые этапы вскрытия тела Андрея Дмитриевича были несколько «разочаровывающими», не оправдавшими ожидания патологоанатомов найти резкие поражения жизненно важных органов, такие, как резкий склероз магистральных артерий и разрыв их со смертельным кровотечением, или обширные поражения сердца старым или свежим инфарктом, или тромбы жизненно важных артерий, аспирацию (занос в дыхательную систему рвотных масс, вызывающих мгновенное удушение) и т. д. Ничего из этого набора причин внезапной смерти в откровенной форме не было.

Легкие были воздушны и лишь полнокровны, дыхательные пути — трахея и бронхи — не содержали никаких рвотных масс.

Неожиданность принес нам осмотр магистральных артерий — аорты и ее крупных ветвей. Неожиданность была в

отсутствии ожидаемых изменений у мужчины в возрасте около 70 лет.

Сверх ожиданий было обнаружено относительное морфологическое благополучие артерий коронарной системы сердца. Они были с полностью проходимыми просветами на всем протяжении, доступном патологоанатомическому исследованию. Неожиданность относительного благополучия морфологии артерий сердца заключалась в противоречии с записями истории болезни Андрея Дмитриевича, сообщенными лечащим врачом Сахарова из Академической больницы и консультантом этой больницы проф. Сметневым при обсуждении материалов вскрытия. Согласно этим данным, Андрей Дмитриевич на протяжении многих лет страдал приступами стенокардии ишемического происхождения, то есть ишемической болезнью сердца. Однако Елена Георгиевна Боннэр, жена Андрея Дмитриевича, образованный врач, наблюдавшая за состоянием Андрея Дмитриевича в течение многих лет совместной жизни, в личном сообщении мне утверждала, что приступы болей в области сердца у Андрея Дмитриевича отличались от приступов стенокардии. Это были болевые ощущения, легко уступавшие медикаментозным воздействиям, например, валидолу. Они не иррадиировали в область плечевого пояса, в левую руку, что обычно характерно для ишемической болезни сердца.

Итак, не оправдались ожидания патологоанатомов обнаружить типичную патологию хронической ишемической болезни, с ее финалом в виде обструкции просвета крупной ветви коронарной системы сердца.

Надо сознаться, что и картина сердца при исследовании его невооруженным глазом несколько озадачила нас. Мы ожидали от скоропостижной смерти более ясной и отчетливой морфологической документации.

Извлеченное из грудной клетки сердце было равномерно увеличенных размеров. Вес его — 560.0 г — почти вдвое превосходил средний. Несмотря на явную гипертрофию, определялась равномерная дряблость сердечной мышцы. Полости сердца, при вскрытии их, содержали немного кровяных сгустков. Стенки обоих желудочков были резко гипертрофированы, по-

лости обоих желудочков расширены. Сердечная мышца была обычного мясо-красного цвета, и лишь кое-где сквозь белесоватый эндокард просвечивали желтоватые мелкие гнезда.

Полной неожиданностью была картина, открывшаяся перед присутствующими при снятии черепной крышки и обнажении поверхности мозга. До распила черепа я обратился к двухзвездному генералу с указанием на желательность ограничиться лишь изъятием мозга, не подвергая его обычному патологоанатомическому исследованию на секционном столе, и передать его в анатомической сохранности для специального изучения в Институт Мозга. Владелец этого мозга обладал редчайшей психоинтеллектуальной структурой, и его мозг должны были бы исследовать специалисты. При этом я сослался на то, что при произведенном мной вскрытии трупа Л. Д. Ландау я ограничился только изъятием мозга из черепа с последующей фиксацией в формалине и передал его в Институт Мозга, отложив мой патологоанатомический интерес до окончательной подготовки мозга для специального разреза в моем присутствии, что и было выполнено. Правда, вскрытие Ландау не было судебно-медицинским.

Двухзвездный генерал отнесся к моей просьбе сдержанно, но все же передал ее судебно-медицинскому эксперту. Однако выполнение этой просьбы стало категорически неприемлемым, как только была обнажена поверхность черепа, а затем и поверхность мозга. Раскрывшейся картиной все были ошеломлены: в моем прозекторском опыте, насчитывающем около 70 лет, я ее встречаю впервые. В плотной кости снятой черепной крышки проявились, точно замурованные в ней, множественные кроваво-красные пятна разных размеров, от 1 до 3—4 см. Число их не сосчитывали. Форма их была неправильная, на просвет они имели очертания расплывшегося пятна, то розовой, то отчетливо красной окраски. Мое предложение о снятии рентгенограммы кости оказалось невыполнимым ввиду отсутствия в патологоанатомическом отделении необходимых для этого приборов. Воспользоваться для этого оборудованием в смежных клиниках было невозможно за поздним временем (22—23 часа).

Высказывались различные, тут же отвергаемые предположения о происхождении этих таинственных включений в плотную, компактную костную ткань. Наиболее реальным из них было предположение, что это Пахионовы грануляции, вросшие в костную ткань, и автор этой гипотезы получил фрагмент выпиленной кости для гистологического исследования наиболее выразительного пятна\*.

Поверхность полушарий мозга, особенно левого, тоже была необычна. Левое полушарие было покрыто плотной оболочкой, толщиной около 2—3 мм, из ткани фиброзного вида с буроватым оттенком. Такой же оттенок имела поверхность левого полушария.

В течение последующих нескольких дней я не расставался с загадкой, поставленной находками в костях черепа и на поверхности левого полушария. В них была еще одна аномалия — поперечный шов, пересекающий лобную кость. Наиболее вероятным стало для меня предположение, что все эти изменения являются следствием родовой травмы. При встрече с Еленой Георгиевной неделю спустя после смерти Андрея Дмитриевича я спросил ее, не перенес ли он тяжелую родовую травму. Елена Георгиевна не задумываясь ответила, что, со слов близкого родственника, знавшего Андрея Дмитриевича со дня его рождения, он действительно перенес тяжелую родовую травму. Андрей Дмитриевич появился на свет в тяжелых родах, вызвавших кефалгематому (гематому черепа). Сохранилось письмо от дяди Андрея Дмитриевича к его крестной, написанное 23 мая 1921 года, то есть через два дня после рождения Андрея Дмитриевича. Дядя пишет: «Роды были вторыми по сложности». Елена Георгиевна сказала, что на фотографиях до годика Андрей Дмитриевич всегда изображен в платочке, скрывающем деформацию черепа.

В руках судебного эксперта мозг Андрея Дмитриевича подвергся обычному исследованию, резко нарушившему его

---

\*Грануляционная ткань — богатая сосудами и молодыми клетками соединительная ткань; образуется при заживлении ран или вокруг участков некроза (омертвевшей ткани), с последующим образованием рубца.

целостность, но все-таки был передан в истерзанном виде в Институт Мозга.

Я остановился так подробно на изменениях в черепе и мозге Андрея Дмитриевича, так как они принадлежали человеку неповторимой индивидуальности. Никакого значения в скоропостижной смерти они, вероятно, не имели и не подлежат анализу под этим углом зрения. Кроме них, был обнаружен значительный атеросклероз артерий основания мозга.

Что же было причиной внезапной смерти Сахарова?

В описанной выше картине сердца Андрея Дмитриевича не было ясной морфологической документации внезапной смерти, однако она вписывалась в картину кардиомиопатии\*, внесенной сравнительно недавно (в 70-е годы) в кардиологию в качестве особой нозологической формы \*\*. Кардиомиопатии посвящена обширная литература, в отечественную литературу она впервые вошла статьей с изложением моих исследований в 1976 году. Основным критерий кардиомиопатии — избирательность или изолированность поражения сердечной мышцы, миокарда. Кардиомиопатия объединила патологические процессы разной и неустановленной природы и является следствием различных патогенных воздействий. У Андрея Дмитриевича в жизни был достаточный их ассортимент, включая мощные стрессорные воздействия на нервно-психическую сферу. Нельзя исключить и участие процессов инфекционно-аллергического характера, поэтому нельзя оставить без внимания замечания Елены Георгиевны Боннэр о том, что в далеком прошлом Андрей Дмитриевич, по-видимому, перенес миокардит.

Каково значение отдельных клинических симптомов, наблюдавшихся у Андрея Дмитриевича, в диагнозе болезни, ее течения и исходе? Прежде всего: внезапная смерть — далеко не редкий финал кардиомиопатии, она занимает около 43 процентов всех исходов.

---

\*Кардиомиопатия — хроническое прогрессирующее заболевание сердечной мышцы, характеризующее мышечной слабостью и атрофией мышцы.

\*\*Нозология — учение о болезнях, их классификации и номенклатуре.

Нарушения сердечного (желудочкового) ритма были, по видимому, наиболее ярким клиническим проявлением болезни, доставлявшим Андрею Дмитриевичу наибольшие неприятности. Были слухи, что зарубежные кардиологи рекомендовали Андрею Дмитриевичу имплантацию водителя ритма. Однако, как разъяснила Елена Георгиевна, во время консультации с американскими кардиологами эта идея исходила от нее самой, а не от них, и была ими отвергнута.

Особо важное значение в данном случае имеет сопоставление данных патологоанатомического исследования с адекватными данными клинического обследования. К сожалению, клинические наблюдения над Андреем Дмитриевичем дают не слишком богатый и однозначный материал, что в известной степени надо приписать ему самому, не шедшему навстречу врачам в заботах о его здоровье. В последние же годы жизни, проведенные в ссылке в Горьком, заботы медицины об Андрее Дмитриевиче можно сравнить с заботой палача сохранить жизнь осужденному до предназначенной казни.

В посмертной идентификации кардиомиопатии решающее значение имеет гистологическое исследование миокарда. Весь материал для него находится в распоряжении судебно-медицинских органов.

Андрей Дмитриевич и после смерти остался человеческой загадкой, раскрыть которую было нелегко.

На этом кончаются папины записки.

## **Послесловие**

### **Взгляд из коридора Кремлевской прозектуры**

Итак, вскрытие происходило в прозектуре Кремлевской больницы в Кунцеве. Когда-то Андрея Дмитриевича от этой больницы отлучили, и вот теперь он вернулся обратно, уже мертвым.

Когда мы подъехали к кремлевскому моргу, какие-то лица в униформе не хотели впускать меня в здание. Я твердо сказа-

ла, что готова уехать немедленно, но только вместе с отцом (не оставлять же его одного в таком обществе), и завтра все газеты мира сообщат, что на вскрытие не пустили профессора, которого просила присутствовать вдова. Это их убедило: меньше всего они хотели кривотолков по поводу смерти Сахарова.

Обстановка в здании была чрезвычайно угнетающей. Потрясение и горе от случившегося усугублялось здесь еще обилием офицеров в униформе (это была, по-видимому, судебно-медицинская экспертиза МВД или КГБ). Вокруг корпуса постоянно курсировали милицейские автомобили с яркими вращающимися прожекторами. Сахаров даже мертвым был им страшен.

Какой-то офицер закрыл меня в кабинете начальника патолого-анатомической службы 4-го Главного управления Минздрава СССР Постнова и решительно приказал из него не выходить. Папу тем временем куда-то увели.

Освободил меня сам Постнов. Примерно через час после начала вскрытия он открыл свой кабинет и страшно удивился, увидев там меня.

— Что вы здесь делаете?

— Меня здесь посадили товарищи в униформе, запретили выходить.

— Здесь не они хозяева! Здесь я хозяин! Вы свободны! Если хотите, можете пройти в зал, чтобы быть рядом с отцом.

— О, нет, только не это! Можно вас спросить, что вы обнаружили на вскрытии?

— Пока ничего. По обстоятельствам смерти, можно было думать об остром инфаркте, но, похоже, инфаркта нет. Мы еще не смотрели сердце, но по тому, что мы увидели до сих пор, я думаю, что инфаркта не было. Может быть, был инсульт.

Постнов стал звонить по телефону, и я деликатно вышла в коридор. В тишине здания мне было хорошо слышно, что он говорил — он повторил то, что только что сообщил мне. Я не слышала начала разговора и не знаю наверняка, кто был его абонентом, но по характеру и тону разговора думаю, что это был сам Михаил Сергеевич. По ходу вскрытия Постнов звонил несколько раз, сообщая результаты. Очевидно, наверху тоже очень беспокоились, была ли это



естественная смерть. Убийство, я думаю, было бы очень некстати для Горбачева и на руку его врагам. После мерзкой сцены в Кремле, которую миллионы наблюдали по телевизору, в преддверии объявления Сахаровым оппозиции Горбачеву, многие бы поверили, что Горбачев его убрал, и больше всех от насильственной смерти Сахарова выиграли бы враги Горбачева.

После того, как Постнов меня «освободил», я в основном бродила по коридору. Сюда из секционного зала время от времени выходили участники вскрытия, я узнавала у них новости и справлялась о папе. Вскрытие длилось долго, около шести часов. Все долгие и напряженные часы вскрытия мой девяностолетний отец провел у секционного стола...

Прошло уже несколько часов, а причину смерти все еще не обнаружили, и с каждым часом выходившие в коридор патологи становились все более озабоченными. Оставалась, правда, надежда на инсульт. Я была свидетельницей паники, вспыхнувшей было при обнаружении сгустков крови в костях черепа Андрея Дмитриевича. Неужели Сахаров был убит ударом по голове?! В коридор выскочил сильно взволнованный молодой человек в униформе, сообщил, пробегая: «Там что-то неслыханное» — и помчался дальше. Паника длилась недолго — кажется, мой папа первым пришел в себя и заметил, что кровь эта явно очень старая, но момент был воистину драматическим...

Инсульта у Андрея Дмитриевича тоже не оказалось. Удивительным было также отсутствие следов ранее перенесенного инсульта или инсультов. Словом, не было ни инфаркта, ни инсульта, ни разрыва аорты, ни легочной эмболии, ни других обычных причин внезапной смерти. Сердце было очень больное, но умер Андрей Дмитриевич не от инфаркта.

Окончив вскрытие, патологи собрались в небольшом зале, чтобы обсудить результаты. Я слышала это обсуждение. Врачи были в явном затруднении. Что написать в заключении о смерти?

Вероятность насильственной смерти не обсуждалась, так как никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.



Диспансерный врач Сахарова из Академической больницы («Ляпуновки») настаивала, что у Андрея Дмитриевича была ишемическая болезнь сердца и следует написать, что он умер от острого инфаркта. Ей возражали:

— Но ведь вскрытие не подтвердило ни ишемической болезни, ни инфаркта!

Дискуссия эта продолжалась довольно долго. Папа сказал:

— Я почти не сомневаюсь, что у Андрея Дмитриевича была кардиомиопатия, хотя подтвердить или отвергнуть этот диагноз может только гистологическое исследование сердца. Кардиомиопатия может вызывать остановку сердца в результате нарушения в аппарате регуляции сердечных сокращений. Явных признаков насильственной смерти мы не обнаружили, так что я думаю, что Андрей Дмитриевич умер от остановки сердца, вызванной кардиомиопатией.

Большинство облегченно согласилось с этой формулировкой.

Мои друзья спрашивали меня потом: папа не молод, мог ли он что-то упустить во время вскрытия? На этот вопрос я отвечаю уверенно: нет, не мог. Папа был высочайшим профессионалом.

Острота его профессионального зрения и профессиональная память, сохранившиеся почти до самой смерти, поражали и меня и окружающих. Плюс к этому, у папы были совершенно несовременные представления о гражданском долге и чести.

...Домой мы возвращались ночью. В машине папа продолжал обсуждать результаты вскрытия. Его очень поразило, что вскрытие не обнаружило следов перенесенного инсульта: Андрей Дмитриевич определенно выглядел как человек, перенесший инсульт. Елена Георгиевна рассказала, что симптомы перенесенного инсульта появились у Андрея Дмитриевича после горьковской больницы: изменилась и стала нетвердой походка, изменился почерк, появились произвольные движения челюсти... Несколько лет тому назад, просматривая американские медицинские справочники в поисках подходящего вещества для одного из моих проектов, я наткнулась на описание группы психотропных средств, передозировка которых вызывает точно такие же, симулиру-

ющие insult симптомы, какие наблюдались у Андрея Дмитриевича. Не этими ли средствами «лечили» Андрея Дмитриевича в горьковской больнице?

Еще папу поразило благополучие сосудистой системы Андрея Дмитриевича, «почти как у молодого человека». Папа сказал тогда с горечью: «Если бы Андрей Дмитриевич не умер вчера, он мог бы жить еще много лет... Хотя, конечно, такое больное сердце могло остановиться в любой момент — достаточно было, быть может, случайного и несильного толчка в грудь. У Андрея Дмитриевича было «усталое сердце»...

Все препараты, взятые во время вскрытия, забрала прокуратура. Никаких сведений о результатах анализа этих препаратов папе получить не удалось. А в августе 1995 года, за несколько месяцев до смерти моего отца, в журнале «Врач» была опубликована статья одного из участников вскрытия, академика Серова, «Болезнь академика Сахарова», в которой он пишет, что гистологическое исследование подтвердило диагноз кардиомиопатии.

Академик Серов также пишет в этой статье, что «ведущее из заболеваний Сахарова — дилатационная кардиомиопатия — при жизни не было распознано». Это не совсем так. В январе 1997 года я получила письмо от Елены Георгиевны Боннэр, в котором она сообщает, что диагноз кардиомиопатии был поставлен Андрею Дмитриевичу еще при жизни американским кардиологом Адольфом Хаттером. Доктор Хаттер обследовал Андрея Дмитриевича в ноябре 1988 года в Массачусетском госпитале, одном из лучших медицинских центров Америки. Доктор Хаттер пишет в своем заключении: «...На основании данных обследования можно с высокой степенью уверенности утверждать, что Вы больны кардиомиопатией, затронувшей в умеренной степени обе полости сердца...». Американский доктор в чрезвычайно тактичной форме предложил изменить неэффективную лекарственную терапию, прописанную Андрею Дмитриевичу советскими коллегами...

Недели через две после вскрытия Елена Георгиевна приехала к нам домой, чтобы расспросить папу. Папа рассказывал Елене Георгиевне, чем болел Андрей Дмитриевич в дет-

стве, в юности, сквозь всю его жизнь, и неизменно оказывался прав. Он поразил тогда даже меня, привыкшую не удивляться его необыкновенно высокому профессионализму.

Бродя по коридору кремлевской прокуратуры, я наткнулась на Доску почета с многочисленными грамотами. «Почетная Грамота дана коллективу Патологоанатомического отделения 1-й больницы 4-го Главного управления Минздрава СССР за победу в Социалистическом Соревновании».

Что-что?! Патанатомическое отделение побеждает в социалистическом соревновании? С кем? С коллективом хирургов, терапевтов, гинекологов, ухогорлоносов? Несчастливая страна...

Потом было прощание. Я захала за своими друзьями, Таней и Сережей Никитиными. Многокилометровая скорбная очередь медленно двигалась к Дворцу молодежи. Там были старики и дети, но в основном мое поколение — шестидесятники. Было пронзительно холодно и сыро. Мы стояли уже несколько часов, Сергей совсем закованел, и мы послали его в какой-то дальний подъезд греться. Тут появилось несколько молодчиков в перетянутых ремнями кожаных куртках. Нарочито громко смеясь, толкаясь и сквернословя, они перли вперед, как танки, — это откровенно торжествовали фашисты. Меня захлестнула такая волна ненависти, что даже в глазах потемнело, и я порадовалась, что с нами в этот момент нет Сергея — он человек эмоциональный и отчаянный... Когда мы наконец подошли ко Дворцу, на меня набросились дежурившие на пороге «мемориальцы»:

— Где вы были?! Вас тут ждут и разыскивают.

Меня действительно ждали. Слухи по многомиллионной Москве распространяются как пожар, и уже было откуда-то известно, что папа присутствовал на вскрытии и что я его сопровождала. В эти дни в Москве настойчиво муссировали версию убийства, так что меня действительно ждали с нетерпением: жаждали информации. Еще и еще раз мне приходилось повторять, что, согласно моей информации, никаких при-

знаков насильственной смерти при вскрытии обнаружено не было, что отказало сердце. И все-таки эта естественная смерть была естественным финалом медленного изощренного убийства, которому Сахаров подвергался все последние годы...

Потом я стояла в почетном карауле. Я думала о том, что своим молчаливым «внутренним эмигрантством» никак не оправдала этой чести, что стою здесь вместо моего отца, за долгую девяностолетнюю жизнь в России ничем не запятнавшего своей совестью.

## ВСТРЕЧА С «ИМПЕРАТРИЦЕЙ СМЕРТИ»

*... Кто жизньнюю своей*

*Играл пред сумрачным недугом...*

*А. Пушкин*

Самое невероятное в этой истории — то, что она действительно произошла, папа был ее свидетелем и участником. Не помню, почему она не вошла в его книгу — кажется, в редакции решили не пугать народ.

Папа не любил вспоминать эти события и никогда мне о них не рассказывал; подробности я прочитала в его рукописи. Связана эта история со вспышкой и ликвидацией чумы в Москве в декабре тридцать девятого года. Не метафорической, коричневой или черной чумы газетных полос, а настоящей легочной чумы, уносившей еще несколько столетий назад миллионы человеческих жизней (помните «Мертвый переулок» в Москве?).

В описываемой истории много загадочного. Расследование ее было поручено следователю и писателю Шейнину. Он не довел его до конца, так как был вскоре арестован.

Но прежде чем рассказывать о грозных событиях декабря 1939 года, я совершу небольшой экскурс в глубь веков по следам опустошительных эпидемий чумы.

Первая достоверная вспышка чумы вошла в историю под названием «Юстиниановой чумы». Возникла она в шестом веке в Восточно-римской империи. Чума свирепствовала пятьдесят лет, охватила многие страны и унесла огромное число жертв. Спустя восемь веков чума вернулась в Европу и достигла России. Она унесла от пятнадцати до двадцати пяти миллионов жизней. Именно тогда, впервые в истории, в Венеции для борьбы с эпидемией был применен карантин.

В конце девятнадцатого — начале двадцатого века чума опять поразила человечество. На этот раз эпидемией были охвачены портовые районы Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В России чума свирепствовала в Одессе в 1901, 1902 и 1910 годах.

Интересно, что вспышки чумы часто были связаны с войной. В 14-м веке — татаро-монгольское нашествие совпало с чумой на территории Молдавии и Украины, чума в Венгрии и Польше совпала с русско-турецкой войной 1768 года, чума на Балканах — с русско-турецкой войной 1828 года. Большие потери от чумы понесла наполеоновская армия в Египте и Сирии (1799 год), а в первую мировую войну — британская армия пострадала от чумы в Месопотамии (1914—1918 годы). Этот список можно было бы продолжить...

И лишь в 1894 году при изучении эпидемии чумы в Гонконге двум ученым — Йерсену и Китазано — независимо друг от друга удалось выделить возбудителя чумы из трупов умерших людей и получить культуру этого микроба. Это оказалась бактерия длиной 0,001—0,002 мм и шириной 0,0003—0,0005 мм, имеющая яйцевидную форму. Ее назвали бактерия пестис. Так враг стал видимым. Тогда же Йенсен нашел эту бактерию в трупах павших крыс. Стало ясно, что именно крысы явились источником эпидемии в Гонконге.

Долгие годы было неизвестно, где бактерии пестис скрываются в природе. И лишь 2 октября 1912 года астраханский врач Деминский нашел возбудителя чумы у суслика. Во время работы с выделенной культурой он сам заразился легочной чумой и погиб. За несколько часов до смерти он писал коллеге Клодницкому: «Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное расскажет лаборатория. Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от сусликов. Прощайте. Деминский».

Переносчиками чумы от грызунов к человеку оказались блохи, в организме которых чумные бактерии долго сохраняют свою активность. В зараженных чумой и голодающих блохах бактерии чумы при комнатной температуре живут три месяца, а при более низких температурах — до года. Кроме того, человек может заразиться чумой при разделке тушки больного животного и через слизистые оболочки глаз, носа, рта — как гриппом.

В Москву 1939 года чума пришла, вернее приехала в лице профессора Берлина, заместителя директора саратовской ин-

ститута «Микроб». Это было лабораторное заражение. Уже больной, но еще не подозревая об этом, Берлин приехал в Москву по вызову на Коллегию Наркомздрава. Он остановился в центре столицы, в гостинице «Националь», сделал доклад в Наркомздраве, общался с коллегами, с персоналом гостиницы, с врачами. Так его трагическая судьба оказалась переплетенной с судьбами десятков знакомых и незнакомых ему людей.

Вспышка чумы в 1939 году не стала эпидемией благодаря героизму и высочайшему профессиональному мастерству врачей и медперсонала, организовавших карантинные мероприятия. Один из них погиб в этой схватке, и настала пора склониться перед светлой памятью замечательного доктора Горелика, профессиональный подвиг которого не нашел должной оценки из-за чумы совсем иной природы...

Чтобы предотвратить эпидемию, все контактировавшие с Берлиным были срочно изолированы в «чумной карантин» на Соколиной Горе. Их выявлением и изоляцией занимался НКВД. Чтобы избежать паники, слово «чума» не произносили, и изоляции в карантин были замаскированы под «банальные» аресты, которые в ту пору никого не удивляли... Возможно, это был единственный случай в истории НКВД, когда эта организация занималась спасением, а не ликвидацией человеческих жизней. Впрочем, у НКВД был глубокий личный интерес к благополучному исходу операции: чума ведь на погоны не смотрит...

Идя по следам событий, я познакомилась с дочерью Абрама Львовича Берлина, Генриэттой Абрамовной Берлин. Она дала мне почитать посвященную ее отцу статью А. Шарова, который впоследствии написал большую книгу о чумологах «Жизнь побеждает». Многие из того, что я сейчас расскажу, я почерпнула из этой статьи. Кроме того, я добралась до старейших сотрудников Новоекатерининской больницы, которые работали в те годы и многое помнят. Их рассказы были очень близки к тому, что описал мой отец. Но прежде, чем предоставить отцу слово, я хочу познакомить вас с Берлиным и с событиями, предшествовавшими его трагической гибели.

Берлин был молодой, красивый, талантливый, смелый и азартный человек. Был женат на замечательной пианистке,

выпускнице Петербургской консерватории, отмеченной Глазуновым. В начале тридцатых годов Берлин окончил аспирантуру саратовского института «Микроб» и был направлен в Монголию для организации противочумной работы. Начинать надо было с нуля. В пяти километрах от Улан-Батора Берлин построил противочумной городок «Тарбаган упчин хото»: лаборатория, виварий, домик для врачей с семьями и общежитие для персонала. «Тарбаган упчин» по-монгольски — тарбаганья болезнь: монголы знали, что чуму разносят грызуны — тарбаганы. Вспышки чумы в Монголии — дело частое; народ кочевой, территория страны огромная. Во время эпидемии люди разбегаются кто куда, неся с собой смерть и для себя, и для других. Берлин непрерывно выезжал на эпидемии, лечил и просвещал людей. Во время этой адовой работы он познакомился с одним из самых опытных лекарей Монголии и Тибета. От него Берлин узнал, как представляет себе происхождение чумы и как борется с ней тибетская медицина.

Вот что думают о чуме тибетцы. Во время зимней спячки тарбаганов хорек, источник чумы, сам от нее не погибающий, проникает в нору тарбагана и кусает хозяина. Всю зиму яд спит вместе с тарбаганом в его теле. Весной укушенный тарбаган просыпается и выходит из норы. Когда он слышит первый гром, яд оживает в его теле и начинает действовать. Тарбаган передает его человеку, который на него охотится, и дальше болезнь распространяется от человека к человеку.

Тибетский лекарь рассказал Берлину о различных средствах — в основном вытяжках и отварах разных трав, которые якобы предотвращают или ослабляют болезнь. Берлин испытал все эти средства на лабораторных животных, но никакого эффекта не обнаружил.

Спасения от чумы в те годы не было — нет его и сейчас. Выздоровление от чумы — большая редкость: эту болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Несколько лет назад город, в котором я живу, — Солт-Лэйк-Сити — с замиранием сердца следил за судьбой десятилетней девочки, которую доставили на вертолете в наш детский госпиталь с диагнозом «легочная чума». Девочка эта жила на юге нашего штата, в пустынных



местах. Однажды летом у нее пропала кошка. Девочка безуспешно искала ее в пустыне несколько дней. Кошка вернулась сама — истерзанная и искусанная, сильно кашляла. Девочка ухаживала за ней, пыталась лечить, но безрезультатно — кошка погибла. Девочка очень горевала, и родители отправили ее в общество детей, в скаутский лагерь. Там ей вскоре стало очень плохо, поднялась температура, появились те же симптомы, что у погибшей кошки. Тогда вызвали вертолет и перевезли ее в наш госпиталь, где и установили диагноз — легочная чума. Можете себе представить, что пережили родители девочки и родители детей, с которыми эта девочка контактировала! Но вот удивительное дело — больше никто не заболел. Легочная чума — странная болезнь: это капельная инфекция, которая становится заразной очень резко, внезапно: час назад большой опасности заражения не было, а спустя час она заразна стопроцентно, если не принимать специальных тщательных мер предосторожности.

Врачи боролись за жизнь девочки несколько месяцев. Почти каждый день в местной газете печатали сводки о ее состоянии. Девочку спасли! Это был уникальный случай выздоровления от легочной чумы, и врачи долгое время не были уверены, что им это удастся. Прошло полвека после трагической гибели Берлина, летают в космос «Шатлы», человек побывал на Луне, ходят роботы по поверхности далеких планет — а от чумы все еще нет спасения.

Многие десятилетия во многих лабораториях мира ищут противочумные средства. Разрабатывали их и в саратовском институте «Микроб». Вернувшись из Монголии, Берлин стал заместителем директора этого института и заведующим лабораторией противочумной вакцины.

У этой вакцины есть своя история.

Много лет назад на Мадагаскаре погибла от чумы маленькая девочка. Культуру микробов, полученную у нее, назвали ее инициалами: ЕВ. Культуру, как полагается, многократно пересевали. И произошло неожиданное: морские свинки, которых заразили бактериями ЕВ, не заболели. Бактерии были живы, но потеряли активность (вирулентность). Однако самое

интересное было в другом: морские свинки, зараженные штаммом ЕВ, не только не заболели, но потеряли восприимчивость к обычной вирулентной чуме. Штамм ЕВ стал вакциной.

И тогда группа саратовских ученых решила испытать новую вакцину на себе. Их было трое: Берлин, Коробкова, Туманский — руководство и цвет института. Москва долго не разрешала опасный эксперимент, но в конце концов согласие было получено. Три экспериментатора изолировали себя от мира. Врач Ящук ввел им по 250 миллионов бактерий ЕВ. Опыт начался. В институте и в Москве напряженно ждали его результатов. Первый день прошел благополучно. На второй день утром у Туманского поднялась температура, состояние ухудшалось с каждым часом. Неужели?! Но нет, это оказался спровоцированный вакциной приступ другой болезни, туляремии, которой Туманский болел. На третий день температура стала падать, а с ней и огромное напряжение, в котором жили все посвященные в этот беспрецедентный эксперимент. Опыт удался! После первых смельчаков вакцину ЕВ ввели себе еще пять, а потом восемь добровольцев. Все прошло без осложнений, и результат эксперимента следовало признать положительным.

Возможно, отныне Берлин считал себя защищенным от чумы и утратил осторожность. Он признался однажды: «Мне надо уходить от чумы. Я к ней слишком привык...».

Как развивались события дальше, описал мой отец.

## **Чума в Москве**

### **Записки Я. Л. Рапопорта**

...Конец тридцатых — начало сороковых годов. Тяжелое, страшное время. Над страной нависли мрачные крылья органов госбезопасности ВЧК-ОГПУ-НКВД, охраняющих страну от преданных ей талантливых деятелей науки, литературы, искусства. Страхом перед невероятным и ужасом ожидаемого и возможного пронизана жизнь советских людей. Кровавая бессмысленность и нелепость происходящего давит со-

знание, омрачает психику. Но жизнь — могучая сила, и, несмотря на все исторические катаклизмы, живые делают свое дело: трудятся, развлекаются чем могут, влюбляются.

В дополнение к основному психологическому и бытовому фону присоединился в 1939 году указ о наказаниях за нарушение трудовой дисциплины, в основном — за опоздания на работу. Градации: до десяти минут, от десяти до двадцати минут, больше двадцати минут. За последнее грозила тюрьма и концлагерь. Нередки были такие сценки на улицах, когда утром люди бежали стремглав полуголые, одеваясь на ходу, или жены бежали за мужьями с частями туалета, забытыми впопыхах дома. Угроза наказания за опоздание на работу научила жестоким хитростям. Так, в суровые морозы зимы 1939—1940 годов опаздывающий подставлял щеки и уши морозу и с признаками обморожения шел в поликлинику, где оказывали помощь и выдавали спасительную справку. Некоторые прибегали к другой хитрости, впоследствии раскрытой, — как тогда остряли, вступали в «Общество любителей кремации». В ту пору по окончании обряда кремации присутствующим выдавалась трафаретная справка с указанием даты и часа (фамилии умершего на ней указано не было). Опаздывающий на работу бежал в крематорий, присоединялся к группе провожающих и получал спасительную справку об отдаче последнего долга вымышленным теще, тетке или другому родственнику, против чего нельзя было возразить, а при случае можно было и посочувствовать...

В этой обстановке началась Вторая мировая война, наше вступление в Польшу, присоединение прибалтийских республик, Бессарабии, а вслед за тем — финская война. В этой атмосфере напряжения душевных и физических сил в Москву пришла чума.

Это не была средневековая чума, уносившая тысячи жизней и оставлявшая целые улицы покойников. Она пришла не с тысячами зараженных крыс и мириадами разносчиков заразы — блох. Она пришла в лице ученого, профессора Берлина, заместителя директора по науке Саратовского чумного института (институт существует и сейчас под другим назва-

нием — «Микроб»). Берлин собрался в Москву для доклада на Коллегии Наркомздрава. В день отъезда он проводил опыты с противочумной вакциной на животных, зараженных вирулентными живыми чумными микробами. То ли он сам был недостаточно осторожен, то ли его торопили заканчивать опыты и собираться в дорогу — но в Москву он приехал уже больным, с высокой температурой, и в таком состоянии выступал с докладом на Коллегии. По возвращении в гостиницу («Националь») он почувствовал себя совсем плохо, и к нему был вызван врач поликлиники Р., пожилой человек, потерявший недавно сына, тоже врача, нейрохирурга, летавшего на Северный полюс с воздушной экспедицией на поиски пропавшего самолета Леваневского. На обратном пути самолет, на котором летел Р. младший, потерпел аварию в Архангельске, и Р. погиб.

Вызванный к больному Берлину, не оправившийся от удара старик Р. поставил диагноз: крупозное воспаление легких — и направил больного в ближайшую Новоекатерининскую больницу, что у Петровских Ворот. Эта больница в ту пору, как и сейчас, была клинической базой ряда клиник 1-го Московского медицинского института, в ней работали видные профессора.

В приемном покое больницы больного осмотрел дежурный врач доктор Горелик и сразу заподозрил не простую крупозную пневмонию, а легочную чуму. Подозрения быстро оправдались. Горелик потребовал немедленной изоляции больного и изоляции самого себя, как несомненно зараженного, поскольку легочная чума относится к числу чрезвычайно заразных болезней, инфицирование которой передается через дыхание больного.

Нельзя обойти молчанием стоическую выдержку и подлинный профессиональный героизм доктора Горелика, не нашедший должной оценки ни при его короткой жизни, ни после смерти (он не ошибся в отношении собственной судьбы), хотя многие, принимавшие участие в организации предупредительных мероприятий по распространению эпидемии, получили правительственные награды. Правительственную бла-

годарность за выполнение важного задания получил и автор этих строк. Зная о неизбежном роковом исходе (от легочной чумы спасения не было), с уже наступающими признаками болезни, Горелик до последнего часа оказывал возможную помощь умирающему Берлину, пытаясь облегчить его страдания. Потом, в своей самоизоляции, он писал письма своим родным и товарищу Сталину. Стоя на краю могилы, Горелик обращался к Сталину с просьбой за арестованного брата, разделившего судьбу многих жертв беззакония сталинского безвременья. Эти письма были сожжены вместе с Гореликом...

В организацию борьбы с распространением возможной эпидемии активно включился НКВД. Как только выяснилось, с какой чудовищной опасностью столкнулась Москва, были приняты чрезвычайные меры по предупреждению развития эпидемии. Благодаря этим мерам — а может быть, потому, что в развитии эпидемий есть свои закономерности, но чума унесла только три жизни: Берлина, Горелика и парикмахера больницы.

Новоекатерининская больница была немедленно объявлена на военном положении. Сюда прибыло подразделение войск НКВД. У входов и выходов больницы стояли караулы, никого не впускавшие и не выпускавшие. Функции коменданта больницы были возложены на оказавшегося среди задержанных профессора И. Г. Лукомского — заведующего стоматологической клиникой.

Вслед за этим начался поиск тех, кто контактировал с Берлиным. Их ждала принудительная изоляция в карантине, в который была превращена больница на Соколиной Горе. Заключение в карантине подверглась вся присутствовавшая на докладе Берлина Коллегия Наркомздрава, во главе с наркомом Здравоохранения Г. А. Митиревым, все служащие гостиницы, обслуживавшие ближайшие к номеру Берлина помещения, и многие другие люди. Все это проделывалось в величайшей тайне, чтобы не создавать паники. Но в московском мешке шило утаить трудно, и, разумеется, в медицинских кругах чумное шило вылезло наружу. Однако говорить об этом вслух, делиться страшной новостью не рекомендова-

лось всем опытом предыдущих лет: любое лишнее слово могло навлечь кару «за распространение панических слухов». Поэтому на слово «чума» было наложено самопроизвольное табу, его произносили только шепотом в кругу близких. Вокруг чумы образовался как бы заговор молчания...

По медицинским каналам этот шепот, конечно, дошел и до меня. Поэтому не застал меня врасплох и не вызвал удивления ночной телефонный звонок из Наркомздрава, в котором оставшийся вне карантина замнаркома (кажется, Колесников) просил меня срочно приехать. Телефону нельзя было доверить суть дела, но догадаться не составляло труда. Было около часа ночи, когда за мной приехала машина и доставила меня в Наркомздрав. Там царила обстановка военного времени: все помещения, несмотря на ночь, освещены, сотрудники суетятся с озабоченными лицами, кто-то спит в углу на раскладушке... Кажется, тот же Колесников познакомил меня с сутью дела и попросил произвести вскрытие тела больного, умершего в Новоекатерининской больнице с подозрением на чуму. Разумеется, я дал согласие — при условии, что не буду отправлен в карантин. Условие было принято.

После процедуры переодевания в противоэпидемный непроницаемый костюм, уже под утро, я был доставлен в больницу. По дороге заехал к себе в лабораторию за инструментами для вскрытия.

Своеобразную картину застал я в Новоекатерининской больнице. У входа в здание на часах, одетые в длинные до пят тулупы, стояли часовые с винтовками (был жестокий мороз зимы 1940 года). Такие же часовые у ворот. В самой больнице — взволнованная тишина. Встретил меня комендант больницы, мой давнишний друг профессор Лукомский. Мы выпили чаю, побеседовали в ожидании специалиста-бактериолога, который должен был присутствовать при вскрытии для взятия материалов с целью бактериологического исследования.

Я не стану описывать саму процедуру вскрытия. Она производилась в необычной обстановке — в изоляторе больницы, у просмоленного гроба, куда был заранее положен са-

нитарами труп — обстановка, прямо сказать, малопривлекательная даже для профессионала.

Я не буду также описывать все последующие перипетии, сообщу лишь о том, что показалось мне в этой истории наиболее примечательным. Усталый после бессонной и волнующей ночи, я после вскрытия вернулся в отведенную мне комнату, где была моя одежда. Едва войдя, услышал щелчок дверного замка и убедился: заперт. Стал стучать в дверь, требовать, чтобы меня выпустили, как было условлено. Голос из-за двери ответил мне, что они не имеют на это права. Я понял, что попал в отряд «зачумленных» и попросил, во-первых, дать мне стакан чаю, а во-вторых, снестись с Наркомздравом, чтобы убедиться, что, согласно условию, я не подлежу изоляции в карантине. Я, действительно, считал это бессмысленным, так как принял все необходимые для самообеззараживания меры предосторожности. Оба моих требования охранники выполнили. Сначала щелкнул замок в двери, приоткрылась узкая щель, чья-то рука поставила на пол стакан с чаем, и дверь снова защелкнули. Затем, спустя какое-то время, вошел профессор Лукомский и сообщил, что я, действительно, могу покинуть больницу! Я немедленно отправился в Наркомздрав, чтобы сообщить предварительные результаты вскрытия.

Из руководителей Наркомздрава налицо оказался член Коллегии А. (многие ведь были в карантине). Его секретарша, зная меня, встретила меня очень приветливо и пошла доложить начальству. А минуту спустя дверь кабинета слегка приоткрылась, в щель просунулось перепуганное лицо той же секретарши, и она пролепетала, что согласно указанию А. я должен немедленно отправиться в карантин. Обозленный, я выпалил: «Передайте ему, чтобы он сам убирался к черту!» — и поспешил покинуть Наркомздрав, пока меня не заарканчили. Затем я поехал на кафедру патологической анатомии в Яузскую больницу и оттуда позвонил жене, чтобы привезла мне чистое белье и другой костюм. Тщательно помывшись под душем и переодевшись, я поехал с женой домой, усталый и взволнованный всеми событиями прошедшей ночи. Но не успел я лечь в постель и уснуть, как раздался телефонный зво-



нок. К телефону подошла жена, и по ее разговору я понял, что сейчас за мной опять приедут, на этот раз из Моссовета и из Управления здравоохранения, с тем, чтобы взять меня в Первую Градскую больницу (Б. Калужская улица, теперь Ленинский проспект) для производства чрезвычайно важного вскрытия, требующего моей компетенции. Жена, разумеется, догадалась, какого сорта вскрытие мне предстоит, и ответила категорическим отказом, сказав, что я сплю после трудного дня. Тем не менее, через полчаса раздался звонок в передней, и я услышал бурное объяснение жены с посетителями. Они говорили, что в хирургической клинике 1-й Градской больницы умер от чумы больной, что больница уже изолирована от внешнего мира, и нужно путем вскрытия подтвердить диагноз чумы. Жена возражала: «Неужели в Москве нет других опытных патологоанатомов?!», на что один из посетителей привел такой контраргумент: «Не можем же мы заражать чумой всех патологоанатомов!». Аргументация, безусловно, убедительная и корректная, но мою миролюбивую и деликатную жену она привела в исступление. Я понял, что имею дело с дураками, но в больнице, консультантом которой я был, создалась, по видимому, сложная ситуация, нарушившая всю ее нормальную жизнедеятельность. Я не сомневался, что никакой чумы там нет, что все это — вздор, продиктованный страхом и паникой. Как потом оказалось, в этот день по примолкнувшей Москве поползли слухи о смерти от чумы чуть ли не в каждом районе города. В атмосфере одуряющего страха любая устрашающая версия принималась за достоверную, чему способствовали все предыдущие дни и годы, когда получали подтверждение, казалось бы, самые невероятные события и ситуации. Для обывателей в Москве в эти дни не было другой причины смерти, кроме чумы.

Я решил, что ехать надо, чтобы восстановить нормальную жизнь больницы и снять с медперсонала страх перед чумой, и в сопровождении посланцев Горздрава отправился в клинику. Там стояла удручающе мрачная атмосфера. Гробовая тишина. По опустевшим, притихшим коридорам бродят, как тени, сестры в глухих марлевых масках, в двойных халатах.



Встретивший нас дежурный врач изложил суть дела. В клинике был больной, молодой человек, оперированный накануне по поводу язвы желудка. Днем у него ухудшилось состояние: высокая температура, боли в животе. К нему вызвали для консультации доцента клиники В. И. К., впоследствии профессора и главного онколога Министерства здравоохранения СССР (известный ученый Н. Н. Петров, при обсуждении программы подготовки врачей-онкологов, сказал о нем по завершении этой работы: «Мы забыли записать, что главный онколог может ничего не знать»).

Так вот, этот доцент, будущий профессор, подошел к постели больного, приподнял простыню, увидел сыпь, покрывавшую тело больного, в испуге бросил простыню, произнес: «Чума» — и немедленно сбежал.

Слово было сказано, и завертелось колесо страха. Больной, оставшийся без помощи, вскоре умер.

Еще до вскрытия я заподозрил, что имею дело с одной особенностью, встречающейся у малоопытных и малодумающих хирургов (а это почти одно и то же): при ухудшении состояния больного после операции такие лекари думают о чем угодно — о гриппе, менингите — только не о послеоперационном осложнении или ухудшении основного хирургического заболевания. Так оказалось и на этот раз: перитонит с общим сепсисом и геморрагической сыпью. Никаких признаков чумы не было и в помине.

После вскрытия все стало на свои места: сняли маски повеселевшие сестры, раскрылись ворота больницы для приема больных, нуждавшихся в экстренной помощи и лишенных ее по милости В. И. К. Вот что могут сделать страх, паника и один дурак!

«Чумную» эпопею я хочу завершить рассказом, услышанным мною в Новоекатерининской больнице от профессора Лукомского, пока мы, как помнит читатель, перед вскрытием пили чай. Действующим лицом в рассказе Лукомского был доктор Р.-старший, посетивший Берлина в гостинице «Националь». Отправив Берлина в Новоекатерининскую больницу, Р. забыл об этом визите, занятый горькими мыслями о погиб-

шем сыне. Поэтому полной неожиданностью стал для него, спустя сутки, ночной звонок в дверь. В ту пору ночной звонок мог предвещать только одно — ничего другого и в голову придти не могло. Р. открыл дверь и получил подтверждение этой версии в лице двух товарищей «из органов». Они предложили следовать за ними, не объяснив, куда и зачем (истинной целью их визита была изоляция Р. в карантине). Возможно, объяснить истинную цель визита мешала присутствовавшая при «аресте» жена доктора — ведь чума была засекречена. Да и само слово «карантин» в ту пору звучало двусмысленно.

О чем мог думать несчастный старик? Когда за вами ночью являлись два сотрудника «органов», выбор для размышлений был крайне ограничен — да, вообще говоря, его не было совсем. Р. пытался утешить жену, говорил, что произошло недоразумение, что он ни в чем не виноват — но ведь так говорили многие, если не все, в подобной ситуации.

Жена поспешно собрала необходимые вещи — «джентльменский набор» того времени. Авгуры сказали, что ничего не нужно брать. Р. возразил: «Я знаю, что «там» нужно». По дороге Р. выискивал в своей жизни поводы для ареста — и не находил (тоже стереотипная ситуация). Он уже начал думать, не связано ли это как-то с гибелью сына — может, того в чем-то посмертно обвинили?

Размышления его были прерваны прибытием в Новоекатерининскую больницу. И тут только встречавший его профессор Лукомский рассказал несчастному, в чем дело и какая болезнь была у больного Берлина, которого Р. направил в эту больницу. Р. пришел в неописуемое возбуждение и стал просить у Лукомского разрешения позвонить старушке-жене, которую оставил в полном отчаянии. Лукомский, разумеется, разрешил. Дрожащими руками Р. взял телефонную трубку, и ликующим голосом, не скрывая неожиданной радости, сказал жене буквально следующее:

— Не волнуйся, дорогая. Это я. Я звоню из Новоекатерининской больницы. Подозревают, что я мог заразиться чумой от больного. Поэтому не волнуйся, оказывается, ничего страшного, о чем мы с тобой думали — это только чума!

## ЮБИЛЕИ

У папы было много юбилеев. Они шли один за другим, только успевай поворачиваться: 70, 75, 80, 85... И так далее.

Семидесятилетие пришлось на 1968 год. Папа вышел на сцену Мединститута, всю усыпанную цветами. Зал встал и долго ему аплодировал. Это было преклонение перед человеком, сумевшим сохранить человеческое достоинство в двадцатом веке в России, что, по единодушному мнению аудитории, было равносильно подвигу. Растроганный папа сказал так: «Вы приветствуете меня, как тенора или кинозвезду. Право, если бы я был тенор, я бы сейчас вам спел. Если бы я был артист балета, я бы вам станцевал. Но что может сделать для вас патологоанатом?!».

Самым ярким, самым значительным был юбилей девяностолетия. Мы едва на него пробились. Клуб «Медик» на улице Герцена был окружен плотной толпой. Она блокировала подступы к клубу и переливалась через мостовую на противоположный тротуар.

Дело в том, что за несколько месяцев до этого журнал «Дружба народов» опубликовал отрывок из папиной книги о «деле врачей». Это было свидетельство невольного участника событий, первое открытое описание советского государственного антисемитизма, который только чудом не закончился в 1953 году «окончательным решением еврейского вопроса».

С момента выхода журнала в свет наш телефон не умолкал ни на секунду. Звонили друзья и недруги, знакомые и незнакомые, пережившие «дело врачей» или знавшие о нем понаслышке. И вот теперь вся эта публика хотела попасть на папин юбилей, увидеть его живьем и услышать его голос.

Действуя где уговорами, а где и локтями, мы в конце концов оказались в зале. Мы — это папа, его вторая жена Катя, моя старшая сестра Ляля и я. Председательствовал Эдуард Белтов, который тогда еще не был израильским журналистом Эдди Баалем. Это он сделал из пятисотстраничной папиной рукописи журнальный вариант для «Дружбы народов» — и сделал блестяще!

В президиуме, кроме крупнейших медиков, редактор издательства «Книга» Тамара Владимировна Громова и главный редактор журнала «Наука и жизнь» Рада Никитична Аджубей. Рада опубликовала в своем журнале первую папину мемуарную работу — статью о Ключевой и Роскине «История одного несостоявшегося открытия». Эта публикация получила большой резонанс. Напомню ее содержание: чета ученых объявила о разработке ими эффективного противоракового препарата КР и написала книгу об этом открытии. Книга попала в руки Величайшего Медика Всех Времен и Народов. Сталин дал на нее восторженную рецензию, назвав ее «бесценный труд». Тем временем президент Медицинской академии академик В. В. Парин во время поездки по Америке поделился информацией о препарате КР с американскими коллегами. По возвращении в Союз его арестовали, и он провёл около десяти лет во Владимирской тюрьме, в одной камере с пленными фашистскими офицерами. Между тем, как это часто случается, препарат, весьма активный в пробирке, оказался бессилён в поражённом опухолью организме. Ученые оказались в ловушке. Действительно, кто мог позволить себе признать вакцину КР неэффективной после того, как Сталин назвал открытие бесценным! Позволил себе только мой отчаянный отец... Каким-то чудом это сошло ему с рук. Его вызвали в Кремль, потребовали доказательств и объяснений. Папа показывал материалы и объяснял так доходчиво, что даже Первый Красный Командир Ворошилов что-то понял, и папу отпустили с миром. Открытие, к сожалению, не состоялось...

Эта публикация была первой в серии папиных мемуарных работ. Рада Аджубей стала папиной «крестной матерью» в литературе.

Самым потрясающим сюрпризом к 90-летнему юбилею, возможно — лучшим подарком за всю папину жизнь, оказался сигнальный экземпляр его книги «На рубеже двух эпох — дело врачей 53-го года». Редактор Тамара Владимировна Громова торжественно вручила его папе. Вы бы видели, как он был счастлив!

Папа писал книгу в 1972 году. Совсем неподходящее было время. О рукописи знали только самые близкие друзья. Мы долго искали человека, которому можно было бы доверить ее перепечатать. Этот человек должен был быть не только абсолютно надежным, но и абсолютно смелым — затея пахла несколькими годами лагерей. Моя близкая подруга Ксана Старосельская, переводчица с польского, порекомендовала Машу Айги. Маша приезжала к нам домой и печатала у нас на «Эрике». Работала она молниеносно, так как ей не терпелось узнать, как дальше развивались описанные в книге события.

Маша напечатала три экземпляра. Один мы спрятали — он был подпольным в буквальном смысле этого слова, второй хранили дома — папа его правил, третий «ходил по рукам» близких друзей, ни у кого надолго не задерживаясь, — мы считали, что так надежнее.

И все-таки слухи о том, что папа написал какую-то криминальную книгу, ползли по Москве. Я мечтала отправить экземпляр рукописи на Запад: потерять ее было бы катастрофой не только для папы, но и для истории. Мы ведь не могли тогда предвидеть, что через какие-нибудь два десятка лет приоткроются архивы КГБ, и историки получат некоторый доступ к самой секретной информации этого заведения.

Тогда нам казалось, что потеряй мы эту рукопись, — и завершающий, кульминационный момент сталинской эпохи навсегда канет в лету вместе с его жертвами. Тем не менее папа и слышать не хотел о передаче рукописи на Запад — считал это слишком рискованным для всех нас. Поэтому, когда мне наконец представился случай, я ничего папе не сказала.

Помогла мне та же подруга, вокруг которой всегда была масса безнадежно влюбленных поклонников. Среди них оказался один западный славист. Он согласился взять, увезти и хранить у себя рукопись. Дальше все происходило, как в кино. Мы с ним встретились в парке и минут сорок бродили по его аллеям, разыгрывая влюбленных, чтобы удостовериться, что за нами нет хвоста. За это время обсудили все детали предстоящей операции. Он поклялся не публиковать руко-

пись без моего сигнала, и я передала ему увесистый, завернутый в газету сверток. Он спрятал его в свой дипломат, и мы расстались. У меня дрожали руки и плохо слушались ноги. Я явно не годилась ни в профессиональные конспираторы, ни в герои. Но ужас от государственного преступления, которое я только что совершила, смешивался с огромным облегчением и радостью: рукопись спасена!

Радость и облегчение оказались преждевременными. Через пару дней в моей квартире раздался телефонный звонок. Говорил мой сообщник:

— Не волнуйся, я звоню из автомата. К сожалению, я не смогу выполнить того, что обещал тебе. Я переоценил свои возможности. Мы должны опять встретиться, я тебе отдам то, что брал, и все объясню. Будь через час на том же месте.

Боже праведный!. Он, конечно, звонил мне из автомата, но мой-то телефон! Непрерывно прослушивают?!...» Могут что-то проворонить? Мне понадобилось время, чтобы хоть немного придти в себя. В состоянии, близком к шоковому я собрала зубную щетку и пару трусиков, и с этим комплектом отправилась на второе свидание. В парке мы повторили весь театральный цикл, и он отдал мне рукопись — пятьсот с лишним страниц, перевозить которые через границу было сопряжено с огромным риском. Этот риск он осознал, только попытавшись надежно спрятать рукопись. Риск был многосторонним. С одной стороны — судьба нашей семьи и самой рукописи. С другой — его собственная судьба. И работа его и душа были связаны с Россией, и лишиться возможности ездить сюда было бы для него равносильно жизненной катастрофе.

Он попросил меня сделать микрофильмы, которые гораздо легче провезти через границу, чем громоздкую рукопись, и обещал забрать их в свой следующий приезд. Легко сказать, сделать микрофильмы! У меня не было ни опыта, ни оборудования. Чужого человека не попросишь, а втягивать друзей в подобные авантюры и подвергать их серьезному риску я просто не могла. И потому отказалась от помощи, предложенной одним моим верным другом... Так рукопись и осталась на родине.

Внезапно наступила эпоха гласности. Сейчас или никогда, — решили мы с папой, и я отвезла рукопись в «Новый мир». Это было в восемьдесят шестом году, в самом начале перестройки. В «Новом мире» рукопись положили в сейф и сказали, что для такого материала еще не наступило время. В сейфе «Нового мира» рукопись пролежала без движения около девяти месяцев. «Сегодня» для такого материала, может, и было рано, но «завтра» вполне могло оказаться поздно. По папиному поручению я забрала рукопись из «Нового мира». На следующий день он по почте отослал ее в «Дружбу народов». А еще через пару дней папе позвонил взволнованный главный редактор «Дружбы народов» Сергей Баруздин:

— Дорогой Яков Львович! Огромное вам спасибо! Я все время искал материал о «деле врачей» и уже боялся, что ничего не сохранилось! Это просто подарок для нашего журнала! Мы немедленно пускаем рукопись в работу!

«Дружба народов» опубликовала отрывок из рукописи в апреле восемьдесят восьмого года, к тридцатипятилетней годовщине освобождения врачей. По следам этой публикации к папиному юбилею в издательстве «Книга» вышла вся книга. Остальное вы знаете.

На 90-летнем юбилее папа сказал: «Кажется, приближается старость». Он не кокетничал. В 90 лет он не выглядел и не был стариком. Одна из его любимых учениц воскликнула восхищенно: «Яков Львович, вы совсем не меняетесь!». Папа возразил: «Ах, Ирочка, это такое опасное заявление! Неизменность структуры обычно свидетельствует об афункциональности органа...».

## Дамы

Папу любили женщины, и немудрено. Когда в поле зрения появлялась хорошенькая женщина, у папы в глазах загорались такие особые искорки, он весь подбирался, превращаясь в фейерверк остроумия и любезностей. Дамы летели



на этот огонь и обжигали крылышки, потому что, не в пример своему отцу, папа был по-староеврейски преданный семьянин. С мамой их связывала такая глубокая дружба, что никакие утехи плоти не могли с ней конкурировать. Мама любила папу до полного самоотречения. Она охраняла его покой и сон, старалась доставить ему как можно больше радости и никогда ни в чем не ограничивала. Поэтому всех своих поклонниц папа смело приводил к нам в дом знакомить. Думаю, это было средство самозащиты: смотрите, мол, какая у меня замечательная семья, рассчитывать вам не на что. Но дамы, конечно, пытались, несмотря ни на что. Всякие бывали, некоторые славные, некоторые не очень. Не очень славные исчезали с горизонта довольно быстро: у папы была хорошая защитная реакция и хороший вкус.

Случались, конечно, и серьезные ситуации. Одна из папных поклонниц была ослепительно красивая женщина. Резко изломанные черные брови над синими глазами, феерическая фигура, но довольно склочный характер. Ее собственный муж-профессор смертельно ей надоел, и она находилась в постоянном поиске подходящей замены. Избранник должен был быть непременно хорошо обеспечен и знаменит. Выбор пал на папу, и атака была яростная по всем фронтам, но папа устоял. На ней потом женился крупный художник, академик.

Вдова Ландау Кора написала в своих воспоминаниях, что папа за ней приударял. Папа страшно возмутился: «У Кору мания величия!».

Но бывали и романы, иногда длительные. Один знакомый, имевший виды на мою маму, как-то попытался ей сообщить, что несколько раз встречал папу в театре с другой дамой.

— Мне совершенно безразлично, как Яков Львович относится к другим женщинам. Мне важно, как он относится ко мне! — отрезала мама, навсегда отбив у поклонника охоту ябедничать, а заодно и надежду.

Меня в детстве и ранней юности крайне раздражал этот хоровод. Я совершенно не понимала, что все эти дамы находят в моем отце. Мне он казался очень некрасивым — сред-



него роста, слишком высокий лоб, орлиный нос. Я содрогалась, когда мне говорили, что я похожа на папу, и всерьез устраивала маме скандалы и истерики за то, что она родила меня от такого уродца. Мама огорчалась и безуспешно пыталась меня разубедить.

Дело в том, что в детстве мне страшно не везло в любви. Я развивалась очень поздно, и на смешную нескладную ярко-рыжую веснушчатую девчонку никто не смотрел всерьез. Мои кумиры предпочитали цветущую и пышную красавицу Маришку, мою молочную сестру. А я, как назло, постоянно влюблялась в ее поклонников. До сих пор помню, как мой любимый предложил прокатить меня на велосипеде, и, сидя у него на раме, я замирала от счастья. Но счастье мое оказалось скоротечнее чахотки, потому что мой нежный друг вдруг заорал:

— Смотрите все, какой рыжий прыщик выскочил у меня на раме!

Вот ведь сколько лет прошло, а помню... Недавно мы встретились в Нью-Йорке — он приплыл из Европы на шикарном океанском лайнере. Он хирург, работает бортовым врачом. Первое мгновение было тяжелым для нас обоих: не сразу в этом зрелом господине удалось мне увидеть черты тоненького сероглазого мальчика моей мечты; да и то, что увидел он, тоже, увы, глаз больше не ласкает... Но обрадовались мы оба чрезвычайно: я-то ведь ждала этого поцелуя пятьдесят лет...

А тогда, в детстве, амурные неудачи я целиком относила за счет ужасного своего невезения: угораздило же маму родить меня от такого некрасивого носатого отца! Обиднее всего было, что папе это совершенно не мешало. Его успех у женщин и интриговал меня, и раздражал. Я была слишком глупа, чтобы оценить его неотразимое обаяние и искристый юмор — все это я принимала как должное, это был стиль нашей жизни.

Впоследствии, когда я повзрослела и поумнела, возникла новая проблема: папа стал для меня той планкой, по которой я равняла своих поклонников; до этой планки мало кто мог дотянуться, даже вставши дважды на собственные пле-

чи... К счастью, я встретила Володю. Папа с мамой очень его полюбили. Во времена, когда родители вынуждены были жить с детьми и внуками до самой смерти, внутренние трения могли превратить жизнь в настоящий ад, но моим родителям повезло: они всегда радовались Володиному обществу, и за всю нашу совместную жизнь между ними и Володей не возникло никаких трений, чем сама я не могу похвастаться...

Моя мама умерла в 1971 году от внутреннего кровотечения, которое, как это случается в медицинских семьях, вовремя не распознали. В маминой смерти папины «дамы» увидели свой шанс. Я и глазом не успела моргнуть, как одна из моих подруг под самым моим носом чуть не превратилась в подругу папину. Это была молодая темпераментная особа: ей не было еще и сорока, а папе за семьдесят. Я в ужас пришла, когда обнаружила, куда она клонит. Думаю, папа с ней не протянул бы и года.

Спасла положение Катя. Папа с Катей познакомились на кладбище. Катин муж скоропостижно скончался за год до смерти моей мамы. Он был боевой летчик, герой Сталинградской битвы. Имел чин генерала. Красивый был, совсем не старый еще человек. Умер внезапно от инфаркта во время отпуска, в Крыму. Он похоронен с мамой бок о бок, за соседней оградой. Папа часто навещал мамину могилу и постоянно встречал у соседней могилы милую изящную женщину, которой никак нельзя было дать ее шестидесяти лет. Так начался этот роман и продолжался двадцать пять лет, до самой папиной смерти. Папа был по-настоящему влюблен. В свои семьдесят с лишним лет он летал от счастья, как мальчик. Я сначала очень ревновала: на долю моей мамы выпали самые тяжелые годы папиной жизни, на Катину долю — самые счастливые и яркие. Я очень люблю Катю, горько только, что маме не довелось разделить папино счастье...

## ГЛОРИЯ МУНДИ

*И назовет меня всяк сущий  
в ней язык...*

*А. Пушкин*

Вера народа в папину всемирную славу и могущество была трогательна и безгранична.

1972-й. Русские евреи только-только начали просачиваться в Израиль сквозь тонюсенькую дырочку в железном занавесе. Связь с ними резко ограничена. Письма не доходят, телефоны не соединяются.

У нашего соседа по даче уехали в Израиль дочка и внучка. И вот ранней весной он приходит к папе и говорит:

— Яков Львович! Верочка окончила школу и хочет поступать в Иерусалиме в медицинский институт. Вы бы не могли оказать ей протекцию?(!)

Боже, как мы смеялись!

Самое поразительное, что папа той Верочке помог: он написал письмо своему израильскому коллеге, отправил его официально через Институт сердечно-сосудистой хирургии, и письмо дошло до адресата. Израильский коллега устроил девочку на какие-то подготовительные курсы, после которых она успешно поступила в институт.

После этого случая легенда о папином безграничном могуществе вышла далеко за рамки нашего дачного поселка.

Мы с Викой ждем поезда в лондонской подземке, а поезд все не идет. Кроме нас на платформе только здоровенный негр с огромным выпуклым лбом и небольшими, глубоко посаженными глазами. Он внушает мне ужас. Мы с Викторой тихо разговариваем, а негр поглядывает на нас. Я пытаюсь сообразить, в какую сторону в случае чего бежать отсюда, как позвать на помощь. Поздно! Поезд все не идет, зато по направлению к нам решительно идет гигант негр! У меня все холодеет внутри, я пытаюсь закрыть собой Вику, но гордая девочка не дается. Негр подходит все ближе, ближе, вот он

уже совсем, совсем рядом! Смотрит на меня, протягивает руку и... произносит по-русски с сильным украинским акцентом:

— Здравствуйте! Я слышу, вы говорите по-русски. Вы из России?

Я остоленела.

— Да, мы из Москвы, а вы-то вот откуда? Почему говорите по-русски? И почему у вас украинский акцент?

— Я учился в Киеве в ординатуре. Я врач, патологоанатом.

— Патологоанатом?! Вот занятно! Мой отец, ее дедушка, тоже патологоанатом, он даже написал учебник по патологической анатомии.

— Не Рапопорт?

Нет, это неслыханно! Негр в лондонской подземке, знающий моего отца!

— Рапопорт!

— Нет, правда?! Вы дочь самого Рапопорта?! Не могу поверить! Это для меня такая честь! Подумать только, встретить в Лондоне дочь самого Рапопорта! Классификацию иммунных клеток по Рапопорту знает весь мир, а я стою здесь и разговариваю с его дочерью! Могу я пригласить вас в паб?

Вот что такое истинная международная известность.

## **Папа и его автомобиль**

О том, как папа водил машину, ходили легенды. Он водил ее прекрасно, но очень уж... непосредственно: ехал туда, куда хотел, а не туда, куда предписывали дорожные знаки. При этом вопрос о том, куда папа хочет ехать, часто решался в самое последнее мгновение: папа за рулем думал о важных мировых или научных проблемах и возвращался к реальности только по мере крайней необходимости.

Словом, мы могли ехать по улице Горького в крайнем левом ряду, и вдруг папа понимал, что ему хочется свернуть направо на улицу Неждановой, которую мы как раз вот-вот проедем, чтобы купить билеты в Консерваторию. Ничтоже сумняшеся папа приступал к осуществлению маневра. Сзади

скрежетали тормоза, гудели клаксоны, но мы каким-то чудом всегда благополучно достигали цели.

— Жаль, что в нашу машину нет трансляции из задних автомобилей, — говорила я папе. — Ты бы мог существенно пополнить свой словарный запас и почерпнуть несколько интересных идиоматических выражений.

Так однажды и случилось. Автомобиль, который мы «подрезали», обогнал нас, перегородил дорогу и прижал к тротуару. Из автомобиля, изрыгая проклятия, выскочил раскаленный водитель.

Дело было летом, окна машин были открыты, и я вся сжалась в ожидании неминуемой расправы. Водитель подлетел к папиному окну: «Ты что, мать-перемать!» — и неожиданно расплылся в широчайшей радостной улыбке:

— О, здравствуйте, Яков Львович!

## **Капризы пресловутой трубочки**

Наша фамилия Рапопорт в Советском Союзе была известна каждому водителю и любому милиционеру благодаря научно-техническим достижениям какого-то нашего однофамильца, автора «трубочки Рапопорта». Тезка наш был хороший химик и неплохой инженер, и трубочка его отличалась зверской чувствительностью. В нее вам настоятельно предлагали подуть, если милиция подозревала, что вы... В Америке для той же цели делают анализ крови. «Трубочка Рапопорта» куда более технологична!

В эпоху постдиссертационных банкетов папе довольно часто приходилось вести машину после хорошего застолья. Популярный оппонент, папа никогда не обижал диссертантов отказом разделить с ними триумф. Да и любил папа банкеты, правду сказать. Он был великолепным, ярким и остроумным тамадой, душой собрания. Однажды друг одного из диссертантов, с папой незнакомый, принял его за тамаду-профессионала. Друг тоже собирался вскоре защищаться по какой-то инженерной части. Перед десертом он пробрался к папе и спросил по-деловому:

— Сколько берешь за банкет?

Папа не сразу сообразил, о чем речь, а сообразивши, не растерялся:

— Человек на пятьдесят, с твоим харчем? Стольник. Идет? Скажи дату, я должен внести тебя в список.

Тут подошел диссертант. Услышав, о чем папа беседует с его другом, он чуть со стыда не сгорел. Долго потом извинялся, звонил по телефону, прислал открытку... Папа смеялся: вот дуралей, испортил гешефт...

Впрочем, другой раз в той же «Праге» папа отличился замечательно. Он пришел в ресторан с опозданием, зашел в зал и примостился с краю. Диссертант, как и полагается, сидел во главе стола в центре. Папу немного удивило, что за несколько дней, прошедших с момента защиты, он так изменился внешне. Еще больше папу удивило, что рядом с диссертантом сидит милая девушка в нарядном белом платье и в фате. Впрочем, закуска была отменная, и папа решил не обращать внимания на такие пустяки. А выпив и закусив, решил, что следует сказать тост в честь научных успехов диссертанта. И сказал. Гости покатывались со смеху, так двусмысленно звучал этот тост из области патологической анатомии на свадебном банкете. Впрочем, никто не удивился: жених и родственники со стороны жениха полагали, что папа — гость со стороны невесты, а невеста и ее родственники приняли папу за гостя со стороны жениха. В тот момент, когда папа произносил свой тост, мимо открытой двери зала проходил настоящий диссертант. Он услышал папин голос, остолбенел, вошел и спросил потрясенно:

— Яков Львович! Что вы тут делаете? Вас же все ждут! Мы вас обыскались, без вас не начинаем! Звонили вашей дочери, перепугали ее. Пожалуйста, идите в следующий зал, а я пойду позвоню, успокою Наташу.

Папа утверждал, что гости новобрачных не хотели его отпускать и всей толпой провожали в соседний зал со слезами на глазах...

Но вернемся к автомобильной проблеме. На банкеты папа обычно приезжал на своей машине, и как я с этим ни боролась, изменить ничего не могла.

Однажды праздновали юбилей папиного знакомого, генерала медицинской службы Жорова. Как всегда, папа отправился туда на машине. Я настойчиво предлагала за ним заехать, но папа отказался мне сообщить, в каком ресторане отмечают юбилей: дескать, что за глупости, я всегда, «как стеклышко». Он позвонил мне в начале двенадцатого, сказал, что выезжает и скоро будет, вот только по дороге развезет по домам юбиляра и его коллег.

— А тебя самого не развезет? — встревожилась я. — Скажи мне, где вы, я подъеду и всех развезу.

— Что за глупости! Я как стеклышко!

Прошло несколько часов. Я металась по квартире, не находя себе места. Наконец, часа в три ночи, звонок:

— Ты не спишь? — (Вот ведь лицемер!) — Не волнуйся, все в порядке, меня сейчас привезут.

— Кто привезет?! Где ты?!

— Не волнуйся, все в порядке, я в отделении милиции. Милиция и привезет.

Оказалось, ехали они по Беговой улице, юбиляр и его коллеги — все генералы, все в форме. Хорошо ехали, интересно беседовали. На выезде на Ленинградский проспект, где одна линия направо, остановились на красный свет. И продолжали беседовать. Светофор сменился на зеленый, потом на красный, на зеленый, на красный... В машине шла интересная беседа. Сзади на Беговой улице стояли и гудели машины. Папа заметил:

— Надо же, как машины разгуделись! Видно, где-то пробка...

В этот момент к ним подошел милиционер. Увидев папу, сразу оценил ситуацию. Папа, впрочем, тоже.

— Генерала с банкета везу, — сказал он милиционеру сладким голосом.

— А ты довезешь? — усомнился милиционер.

— Я как стеклышко, — попробовал было папа, но с милицией такие штучки не проходят. Милиционер вытащил трубочку:

— Подуй-ка.

— Так это же трубочка Рапопорта! — обрадовался папа. — А я как раз Рапопорт, это моя трубочка!

Номер этот часто удавался даже мне, но на этот раз орешек попался крепкий:

— Вот и подуй в свою трубочку!

Словом, милиционер пересадил папу на заднее сиденье, развез генералов по домам, а папу отвез в отделение, где у него сначала отобрали права, а потом привезли домой.

В назначенный день папа явился в милицию «на разборку» и оказался в обширном вестибюле ГАИ в компании прожженных ханыг. В ожидании вызова в кабинет пострадавшие делились своими историями. Автора «трубочки» при этом поминали непрерывно и с подходящими к случаю эпитетами. Один, особо агрессивный, жаждал крови:

— Попадись мне этот Рапопорт, я бы ему яйца оторвал!

В этот момент, в совершенно кинематографическом стиле, отворилась дверь, и милиционер вызвал:

— Рапопорт!

Надо ли говорить, что права папе вернули, и выходил он из отделения в сопровождении нескольких милиционеров, не без основания разделявших папины опасения, что *эти* вполне могут привести угрозу в исполнение...



## БАЙКИ НАШЕЙ КУХНИ

### «Иных уж нет, а тех долечим...»

*Из протокола вскрытия в чукотской больнице: «Вскрытие показало, что чукча умер в результате вскрытия».*

*Русский народный юмор*

По роду своей профессии папа находился в постоянном контакте с оборотной стороной медицинской медали и в быту старался по возможности избегать общения с ординарной медициной.

Я как-то неслась с горы на лыжах, упала и сильно ударила головой. Появились признаки легкого сотрясения.

— Полежи несколько дней, — посоветовал папа.

— А может, к врачу сходить?

— К врачу?! Да ну их к черту! — живо отозвался папа с очень искренним чувством...

Мы обожали папины рассказы о медицинских казусах. Вот некоторые из них.

### Диагноз

Старожилы помнят, что до революции на Тверской был большой книжный магазин Цейтлина. И была в Москве в те годы модная клиника нервных болезней профессора Минора. Лечиться у Минора считалось хорошим тоном, и аристократические жены наперебой болели разнообразными нервными болезнями, ходили бледные, нюхали соли и ездили на воды. Жена Цейтлина не уступала другим. И вот однажды Минор ей говорит:

— Вам надо провести курс лечения на водах, в Баден-Бадене. Я дам вам вашу историю болезни в запечатанном конверте, вы передадите ее моему коллеге в Баден-Бадене, профессору Оппенгейму, и он о вас позаботится.

Мадам Цейтлина получила конверт с историей болезни в августе 1914 года. В Баден-Баден она не поехала... Тысяча

девятьсот четырнадцатый органично перешел в тысяча девятьсот семнадцатый. Короче, книжный магазин Цейтлина национализировали, а вместо Баден-Бадена мадам Цейтлина поехала в коммунальную квартиру, где оказалась соседкой моих родителей. Интересный медицинский феномен: после революции мадам Цейтлина совершенно перестала болеть нервными болезнями!

Цейтлины прожили с моими родителями бок о бок несколько лет, потом куда-то переехали.

И вот однажды папа идет по Тверской, а навстречу ему по другой стороне улицы — Цейтлин. Увидел папу, бросился через улицу прямо под конку, кричит:

— Все врачи жулики и негодяи! У меня есть такой документ, такой потрясающий документ, я завтра отнесу его в газету «Правда»!

Оказалось, Цейтлин разбирал свой архив и нашел запечатанный конверт, врученный когда-то его жене профессором Минором. Ему стало любопытно, какими нервными болезнями болела его жена до революции. Он вскрыл конверт. К кусочку картона была прикреплена небольшая записка: «Дорогой Оппенгейм! Посылаю к тебе свою пациентку Цейтлину. У них большой книжный магазин в центре Москвы».

— В чем дело, Цейтлин? — удивился папа. — Чем вы возмущены? Это самый верный диагноз, который я встречал в своей медицинской практике! И уж во всяком случае не рекомендую вам ходить в газету «Правда» и лишний раз напоминать, что у вас был большой книжный магазин в центре Москвы...

## ***Послесловие***

В середине девяностых годов по приглашению одного из университетов я приехала на неделю в Париж. У меня в Париже есть друзья, Жак и Диана Кольниковы, французские издатели папиной книги. Я заранее радовалась предстоящей встрече, но, к моему огорчению, на следующий день после моего приезда Жак с Дианой уезжали в Швейцарию.

— Не грусти, — сказал мне Жак, — я познакомлю тебя со своими друзьями, выходцами из России. Они все еще говорят по-русски. Очаровательные люди, я уверен, что вы полюбите друг друга. Лель Минор — известный писатель. А Ната Минор только что перевела на французский «Евгения Онегина», и я слышал, что перевод блестящий! Вот их телефон, позвони завтра, они будут тебе рады.

Так я оказалась в прелестной квартире Миноров на бульваре Сен-Жермен. Оба они — из первой волны русской эмиграции. Думаю, им за восемьдесят, но какие оба красивые! История их знакомства и любви — отдельная новелла, об этом когда-нибудь потом.

Ната прочитала мне вслух начало своего перевода. Он был на самом деле поразительным: я вскоре забыла, что она читает «Онегина» по-французски!

За уткой с яблоками я спросила Леля:

— В начале века в Москве была популярная клиника нервных болезней профессора Минора. Он вам не родственник?

— Как же, как же, мой родной дед! Отец моего отца.

— Вы помните его?

— О да, прекрасно помню!

Тут я рассказала им папину историю про Цейтлина и Минора.

— Могло это случиться?

— О, разумеется! Узнаю деда!

## Приговор

— *Куда вы меня везете ?*

— *В морг.*

— *Но я же еще не умер!*

— *Так мы же еще не доехали!*

*Русский народный юмор*

Начало двадцатого века. Австрия. Известный венский врач говорит своему пациенту:

— Очень сожалею, но вынужден вас предупредить: завершайте свои земные дела. Вам осталось жить два месяца... Ну, может быть, два с половиной. Очень сожалею, но медицина в вашем случае бессильна...

Через пять лет врач встречается этого пациента на улице. Он поражен:

— Как? Вы живы?

— Да, доктор! После того, как вы меня приговорили, я обратился за консультацией к вашему коллеге Х. Он мне помог, и сейчас я прекрасно себя чувствую.

— Что он вам прописал?

— То-то и то-то.

— Так вас неправильно лечили!

## Записка

Эту забавную историю рассказал нам профессор Владимир Львович Кассиль. В те далекие времена, когда мы часто встречались, Володя был практикующий реаниматор, его текущие координаты всегда были известны дежурному врачу Склифосовекой больницы, и его могли в любой момент вырвать, как морковку, из любой компании и ситуации. Он мгновенно собирался и отправлялся кого-то спасать.

Володя был блестящий рассказчик и душа компании, и мы всегда рисковали, что из нашей компании вынут душу. Однажды его вызвали в тот самый момент, когда мы поднимали рюмки под бой кремлевских курантов...

Но историю, которую я сейчас вам перескажу, ему удалось досказать до конца, потому что в этот момент жизни мы катались на лыжах в Польше, в Закопане, куда не доставали телефонные провода его больницы. В нашей семье эту историю очень полюбили. Итак: в Москве было два блестящих нейрохирурга — академик Бурденко и профессор Юдин, — равных друг другу по таланту и ювелирности работы. Одному из них — Николаю Ниловичу Бурденко были оказаны все почести, о которых только может мечтать врач, человек и

гражданин. Преречисление одних только титулов на его именном бланке занимало полстраницы. Юдин же довольствовался скромным званием академика медицины и никаких других титулов не имел.

Однажды родственнице Бурденко понадобилась срочная нейрохирургическая операция. Родственников, как известно, не оперируют, и Бурденко обратился к Юдину. Он послал ему письмо на своем именном бланке. Короткое письмо с просьбой прооперировать родственницу завершалось подписью, под которой были продублированы все титулы, уже перечисленные в верхнем левом углу листа. Юдин отреагировал мгновенно. На обрывке газеты он нацарапал: «Уважаемый Николай Нилович! Что за вопрос — конечно, прооперирую!». И подписался: «Ворошиловский стрелок Юдин».

## За рубежом

За границу папу не выпускали.

Международное общество патологов однажды избрало папу председателем Международного конгресса патологов, который должен был состояться в Италии. Мы знали мельчайшие детали предстоящей папиной поездки, даже номер телефона в гостинице, где ему предстояло жить, но в Министерстве Иностранных Дел СССР как-то, знаете, не успели оформить папе заграничный паспорт... Папино председательское место на Конгрессе пустовало, перед ним стоял советский флажок. Заменявший папу коллега не сел в предназначенное папе кресло...

Но вдруг, по чьему-то недосмотру, в конце шестидесятых годов папу выпустили на Конгресс патологов в Прагу. Это была единственная в его жизни поездка за рубеж. Советскую делегацию разместили в какой-то третьесортной гостинице, и папу поселили в один номер с профессором Фогельсоном. В номере была только одна кровать, впрочем, широкая. Два заслуженных советских профессора, обоим под семьдесят, вынуждены были спать в одной постели...

Утром за общим завтраком папа громко сказал Фогельсону:

— После этой ночи, как честный человек, я обязан на вас жениться. По возвращении в Москву я буду просить вашей руки у ваших родителей.

Коллеги по делегации очень веселились, и история получила широкую огласку.

### **Как коллега коллеге...**

Папин коллега Х. получил кафедру в университете города Н. В этом городе как-то проходил всесоюзный съезд патологоанатомов. Х. пригласил папу в гости. В большой, предоставленной университетом трехкомнатной квартире стоял колченогий стол, ободраный стул и железная кровать: коллега жил суровой холостяцкой жизнью.

— Послушайте, Х., вам надо жениться, — сказал папа. — У вас же теперь все есть — и кафедра, и прекрасная квартира, но как-то в ней, знаете, пустовато и холодновато.

— Да, Яков Львович, конечно, я и сам об этом думал, — ответил Х. — Но знаете, семейная жизнь поглощает много лейцина, а научная работа тоже требует много лейцина. Если я женюсь, это может пойти в ущерб моей научной работе...

— Так вот в чем дело, — не удержался папа, — теперь я понял, почему у вас такие х-евые работы: оказывается, вы лейцин для них черпаете оттуда!

Бедный Х. очень обиделся, но так и не женился.

### **Зачем нужны старообрядцы (из фронтовых рассказов)**

Во время войны папа был главным Патологоанатомом Карельского фронта. У него там накопился огромный материал по фронтовой патологии, но фото пленки были в дефиците, и не было возможности зафиксировать этот материал

на микрофотографиях. Папа искал художника, который мог бы заменить фотокамеру.

Кто-то рассказал, что недалеко в селе живет ссыльный старообрядец, писавший когда-то иконы для местной церкви. Папа привел его в свою походную прозектуру и посадил за микроскоп. У нас хранятся расписанные этим иконописцем стекла — зарисовки секционных препаратов. Папа безумно ими дорожил. Он рассказал эту историю на одном из своих юбилеев: «А сейчас я покажу вам, что может сделать богомаз, когда он смотрит в микроскоп».

## ВИЗИТ ДЖИМА

Когда я уехала работать в Америку, папе было девяносто два года. Катя, наша «мачеха», замечательно о нем заботилась, и сестра моя Ляля, наш «ангел-хранитель» от медицины, была с ним рядом, но все равно сердце мое разрывалось от вины и тоски. Я ловила каждую, самую, казалось бы, эфемерную возможность навестить папу и чудесным образом претворяла ее в жизнь, поражая окружающих авантюризмом и безрассудством. Так однажды теплым осенним днем девяносто третьего года я появилась на даче, когда меня там никто не ждал. На этот раз я была не одна — я приехала с американским миллиардером Джимом Соренсоном.

История была такая. За несколько лет до этой поездки меня познакомил с Джимом солт-лэйкский раввин Фрэд Вэнгер, духовный наставник местной еврейской общины и хороший саксофонист. Кусок земли, на котором построили единственную в нашем мормонском штате синагогу, евреи купили у Соренсона. Соренсон сделал свои миллиарды, начав с нулевой отметки, мальчишкой на побегушках в крупной фармацевтической компании; сейчас он властелин огромной империи биомедицинской аппаратуры.

Я искала, кого бы заинтересовать некоторыми своими идеями, и раввин Вэнгер предложил позвонить Соренсону. Соренсон принял меня немедленно: у него неумемное детское любопытство к новым людям вообще, а к русским ученым дамам — в особенности. У мормонов женщина традиционно имеет только одно назначение — рожать. Когда я приехала в Юту, в средней мормонской семье было человек двенадцать — четырнадцать детей, да и шестнадцать не было редкостью. Сейчас эта цифра катастрофически упала до шести — семи, а тогда, восемь лет назад, семья с семью детьми считалась бы малодетной. Поэтому я со своими тремя научными степенями и одной-единственной дочерью была насекомым редкой породы, Джим рассматривал меня с нескрываемым энтомологическим интересом и дал



университету на мои исследования пять тысяч долларов, которые оченьгодились мне на старте.

Мы стали видеться. Джим познакомил меня со своей очаровательной женой Бэверли и девятью детьми, а впоследствии и с сорока двумя внуками. К слову, идем мы с Володей как-то по дешевому супермаркету, а навстречу нам — Бэверли с такой же, как у нас, тележкой, с тем же набором продуктов. Я тут же написала в Москву: не волнуйтесь, живем хорошо, питаемся, как миллиардеры...

Джим живет довольно скромно, прост в обращении, одевается, как ковбой, обожает свое ранчо на юге Юты и с удовольствием ездит туда навещать коров, которых у него тысячи. Красота в тех местах необыкновенная, и ему принадлежит там кусок земли величиной с небольшое скандинавское государство.

Я написала, что Джим прост в обращении. В обращении прост — да, но вообще-то он очень непрост: не всякий, согласитесь, начав с нуля, будет к поздней зрелости (ему за семьдесят) стоить два миллиарда. Джим уверяет, что пошел в своего пра-пра-прадедушку. Легендарный Джимов пра-пра-прадедушка, согласно семейной легенде, был в Санкт-Петербурге сборщиком налогов у русского царя. Пра-пра-прадедушка был еврей, на что Джим обычно особенно напирает — очень гордится своими еврейскими корнями. Итак, пра-пра-прадедушка собирал налоги для русского царя, а потом вдруг сбежал из России и купил себе остров в Норвегии. Если так оно и было, выходит, он собирал налоги не только для русского царя... На новой родине пра-пра-прадедушка женился на местной девушке, поменял свою религию на лютеранскую, а еврейскую фамилию на более благозвучную для норвежского уха — Соренсон. У него родились сыновья. Одного из них — прадедушку Джима — сманили добравшиеся до тех краев мормонские миссионеры, и он переехал в Юту. Этот прадедушка женился на дочери местного раввина и родил с ней много детей, один из которых оказался Джимовым дедушкой. Так, по отцовской линии, генетическая линия Соренсонов пересекла океан и протянулась от Петербурга до Солт-Лэйк-Сити.

Купленный пра-пра-прадедушкой норвежский остров до сих пор существует и принадлежит сейчас бывшему гитлеровскому офицеру, осевшему там после войны. В архиве острова хранятся сведения о бывших владельцах — Соренсах. Джим их видел.

Когда Джим путешествует, ему во всех странах оказывают императорские почести. В Ватикане его принимал Римский папа, в Израиле — премьер-министр и мэр Иерусалима... Поэтому я была совершенно ошарашена, когда, узнав, что я собираюсь в Россию, Джим заявил:

— Замечательно! Я еду с тобой! Мой пра-пра-прадедушка был в Санкт-Петербурге сборщиком налогов у русского царя, и я хочу там побывать: хочу посмотреть места, где зарыты мои корни! Еще я хочу познакомиться с твоим папой.

Я попыталась возразить:

— Джим, Россия — не Ватикан и даже не Израиль, тебя там не будет встречать у трапа господин Ельцин, зато вполне может встретить русская мафия. Не хочу я брать на себя ответственность за жизнь американского миллиардера! Вдруг тебя похитят, и американская биомедицинская промышленность останется без босса!

Но миллиардер на то и миллиардер, что уж если он чего решил...

Осознав, что сопротивление бесполезно, я попыталась по крайней мере свести риск к минимуму. Я тщательно проинспектировала туалеты, которые Джим собирался взять с собой. Забота моя состояла в том, чтобы он не выделялся из русской толпы. Я уже писала, что одевается Джим очень скромно, но это — скромность по-американски: джинсы лучших американских фирм, серебряная булавка-галстук с великолепно вычеканенной мордой коня или с американским орлом, ковбойские сапоги на высоких каблуках... Все это к случаю никак не годилось. Я выбрала неброский серый костюм и пару рубашек, и галстук тоже не от Версаче, и попыталась втиснуть американского миллиардера в образ скромного совслужащего. Ничего из этого не вышло, о чем немного позже.

...Самолет авиакомпании «Дельта» летал тогда в Россию через Франкфурт. Мы с Джимом договорились встретиться во франкфуртском аэропорту: он прилетал во Франкфурт из Парижа, я — из Швейцарии. Дальше мы летели вместе; в Москве приземлились около десяти вечера. Чинная американо-немецкая очередь медленно-медленно продвигалась к таможенному контролю. Мы стояли около часа. Джим сбегал в туалет — я с интересом наблюдала, как он отреагирует на московские удобства — ничего, не дрогнул. Медленно, медленно, медленно двигалась наша очередь... Скучно, утомительно, и время позднее... Тут приземлился самолет Аэрофлота из Дюбая (Арабские Эмираты). Оттуда, как горох, в наше замкнутое пространство высыпались «челноки» с огромными, закрученными в полиэтилен тюками, на которых красовались начертанные фломастерами опознавательные знаки: Таня, Зоя, Люба, Зина. Все как один раскаленные, веселые, пьяные. «Челноки» выстроились клином, сомкнули ряды, враз разметали нашу чинную очередь и влезли вперед. Два совсем почти голых мужика — всех туалетов одни только семейные трусы да башмаки без шнурков, да у одного еще гармошка — орали песни и приплясывали. Западная публика в немом ужасе наблюдала эту вакханалию. Джима, однако, заинтересовало другое:

— Какая блестящая идея, — сказал Джим, — нанять этих развлекателей. Кто им платит — «Дельта» или Аэрофлот?

Одобрив пляшущих мужиков, Джим активно заработал локтями, решительно отеснил «челноков» и встал на свое прежнее место — единственный из всей западной очереди. И я в очередной раз поняла, почему он миллиардер, а остальные, судя по всему, нет.

Мы остановились в гостинице «Метрополь». Впервые в жизни я жила в Москве как туристка, было странно, шикарно и грустно. Завтрак стоил двадцать восемь долларов, обед — сорок восемь. Бродя, как потерянная, «среди различных рыб и мяса», я думала о папе и друзьях, которые давно забыли, что на свете такое бывает...

Днем мы пошли в Кремль. И тут выяснилось, насколько бесплодными были мои попытки создать Джиму русский «имидж». В России билеты во все музеи тогда имели две разных цены, одна — для русских граждан, другая, раз в двадцать дороже — для иностранцев. Я купила нам билеты по «русской» цене — не из соображений экономии, боже упаси, платил за все Джим, который не разорился бы и от «американских» билетов. Я купила «русские» билеты, чтобы не привлекать к Джиму внимания, и велела ему молчать и не открывать рот, пока мы в Кремле. Но первая же старушка, проверявшая билеты у Архангельского Собора, грудью преградила Джиму дорогу, потянула его за рукав в сторону и объявила с негодованием:

— Вы — американец!

Джим ничего не понял, глянул на меня обескураженно, я пожала плечами и пошла покупать «американские» билеты. Объяснить ему, почему билеты в один и тот же музей имеют разную цену для «своих» и иностранцев, оказалось довольно сложно. Джиму очень понравилось в Оружейной палате, он все пытался прицениться к карете Екатерины Второй...

На следующий день мы заказали в «Интуристе» машину и поехали на дачу к папе. Джим читал папину книгу о «деле врачей» (ее издали в Америке в 1991 году) и очень хотел с папой познакомиться. Он рассказывал о папе своим друзьям и родственникам с неожиданным для него и трогательным уважением и восхищением — чертами, которых я раньше в нем не наблюдала.

Мы ехали по Ново-Рязанскому шоссе. По этой дороге я за пятьдесят лет жизни намотала столько километров, что если вытянуть их в одну линию, можно было бы, наверное, опоясать экватор... Местность сильно изменилась. Уже начиналось большое подмосковное строительство дворцов для «новых русских»; Джим его заметил и одобрил — строят, значит, имеют деньги и хотят красиво жить; когда у всех будут деньги и все захотят красиво жить, страна станет правильной, как Америка.

Наконец мы приехали. Папа построил нашу дачу полвека назад, к моему рождению; я здесь выросла, здесь выросли мои племянники и моя дочь. Дача была моей ровесницей, частицей меня самой, и я нежно ее любила; мы с ней старились вместе, почти незаметно для моего глаза. Но вот мы приехали сюда с американским миллиардером, и меня резануло по сердцу: боже, какое все ветхое и убогое! Туалет в доме размером со скворечник, мы только лет пятнадцать назад его построили и были тогда очень счастливы, потому что вот ведь он — в доме, а не за тридевять земель в углу участка, куда так страшно бежать ночью в дождь и грозу. Ванны или душа в доме до сих пор нет. Телефона тоже нет — что вы, какой телефон! И все забито вывезенным сестрой из Москвы ненужным хламом — авось, на что-нибудь когда-нибудь пригодится... Я взглянула на все это убожество глазами Джима и ужаснулась. Но Джим держался молодцом. Не дрогнув, воспользовался «скворечником». Похвалил участок — он у нас действительно замечательный, большой, заросший высокими стройными соснами, тут так хорошо было строить шалаши и играть в прятки...

Поскольку телефона на даче нет, я не могла предупредить о нашем с Джимом приезде, и папа не знал, что я прилетела в Москву. Мы подошли к террасе. Папа дремал в старом плетеном кресле, закутанный в «мантильку», которую я помнила с детства. Он был такой старенький, маленький, слабый, что я не могла сдержать слез. Ему было девяносто пять лет. Папа встрепнулся от нашего появления. Он уже плохо видел, но сразу меня узнал, скорее, почувствовал. Это был для него замечательный сюрприз! Я наскоро объяснила папе, почему приехала не одна и кто такой Джим. Джим стал рассказывать папе, что читал его книгу, и что мечтал с ним познакомиться, и что очень рад этому знакомству. И тут папа в очередной раз меня поразил: он заговорил с Джимом по-английски! По-английски! Папе было девяносто пять лет, он никогда не был ни в какой англоговорящей стране, в силу жизненных обстоятельств редко общался с иностранными коллегами, и английский был для него мертвым языком учебных книг. Но, когда я начала переводить Джима, папа раз-

драженно оборвал меня: не надо, я все понимаю. Я не поверила своим ушам: сама-то я долгое время бывала в поту и мыле, беседуя с Джимом и силясь понимать его не то калифорнийский, не то какой-то ковбойский акцент. А папе не понадобился переводчик! Больше того — он вступил с Джимом в беседу, и я убедилась, что он действительно полностью улавливает смысл разговора и довольно свободно общается, демонстрируя изрядный словарный запас. Воистину папа был велик во всем... Тут я к слову вспомнила одну хорошую Володину шутку. Мне один раз пришлось работать в своем институте переводчицей для группы посетивших институт иностранцев. Я была с ними с утра до вечера, очень уставала, и с каждым днем мне становилось все труднее говорить по-английски, хотя, казалось бы, практика... Я пожаловалась Володе. Он сказал: «Что же тут удивительного? Ты каждый день необратимо расходуешь свой словарный запас!».

Джим ничуть не удивился и принял как должное, что папа говорит по-английски: такой человек, крупнейший профессор — на каком еще языке ему говорить!

То, что Джим миллиардер, не произвело на папу ни малейшего впечатления. Джим, хоть и не понимал ни слова по-русски, этот момент уловил: очень зоркий и острый человек, этот Джим. Он распушил хвост и стал рассказывать папе свою биографию: как он, сын бедного фермера, вышел в миллиардеры, как правильным воспитанием вывел в миллионеры старшего сына, а теперь пытается наставить на путь истинный младшего, склонного больше к мечтаниям и искусствам, чем к бизнесу. Папа слушал внимательно, в заключение сказал:

— Джим, я только сегодня понял, что неправильно прожил жизнь. У меня две дочки, и я ни одну из них не вывел в миллионерши... Возможно, еще не все потеряно. Но сразу мне трудно было уловить все детали техники этого дела. Джим, вы не могли бы приезжать каждый год читать мне лекции? Я думаю, лет через пять я достаточно овладею искусством, чтобы сделать миллионершей старшую, а потом можно приняться и за Наташку...

Джим остался очень доволен визитом. О папе и говорить нечего — я обещала, проведив Джима обратно в Америку (он улетал из Ленинграда), вернуться в Москву и несколько дней пожить с папой на даче.

Поездка наша с Джимом была организована «Интуристом» и рассчитана на неделю.

Приключения начались на третий день. Мы стояли перед входом в «Метрополь» в ожидании такси. Тут подъехала какая-то машина, из нее выскочили двое в камуфляжах с автоматами наперевес и пронзили нас с Джимом зверским взглядом. Реакция у Джима мгновенная. Я даже испугаться не успела, как он схватил меня и уволок обратно в вестибюль. Через несколько мгновений вошли эти двое, а между ними — очень представительный седовласый господин с красивой большой головой, по виду — интеллигентный грузин. Они быстро прошагали через вестибюль к лифтам. Я почему-то посмотрела вверх — у балюстрады второго этажа стояли еще двое с автоматами, направленными вниз, в вестибюль. Седовласый господин с четырьмя телохранителями был, по-видимому, очень непрост, не чета нам с Джимом. А может, и на самом деле, по сравнению с теми, кто сейчас хозяйничает в России, Джим со своими жалкими двумя миллиардами — просто голытьба?

Так или иначе, но после этого инцидента Джим совершенно утратил интерес к ночной Москве, и мне удалось вытащить его из номера только для поездки на вокзал.

На Ленинградском вокзале, как на всех вокзалах, было шумно и бестолково. Толпа толкалась и материлась, и только около нашей интуристовской «Стрелы» царил образцовый порядок: вдоль поезда непрерывно курсировали вооруженные патрули. Не успели мы войти в вагон и расположиться, как к нам в купе явился проводник и безошибочно обратился ко мне по-русски:

— Проволоку с собой захватили?

— Почему проволоку? — удивилась я.

— Ну как же! Надо же закрутить дверь, — и проводник сделал руками в воздухе восьмерки, показывая, как надо «закрутить» проволокой дверь.

— Зачем? Она же запирается на два замка, тут и тут, — продолжала удивляться я. — Ее же невозможно открыть, если она так заперта.

— Кому это невозможно открыть? Очень даже возможно открыты! Откроют, войдут, опрыскают вас из баллончика (проводник показал руками и сделал ртом, как будто опрыскивал нас из баллончика) и ограбят.

— У нас и взять-то нечего, — на всякий случай предупредила я проводника.

— Ничего, найдут, им все сгодится.

— Так ведь патруль ходит по поезду все время!

— Патруль пройдет, а они как раз вслед за патрулем!

Джим, хоть и не понимал ни слова, уловил суть беседы.

— Что он предлагает? — спросил Джим.

— Предлагает проволоку, чтобы сделать дополнительный запор на двери.

— Сколько?

Полиглот-проводник понял вопрос иотреагировал мгновенно:

— Файв долларс!

— О'кэй!

Проводник принес проволоку, еще раз показал, как ею пользоваться, получил свои пять долларов и удалился. После этого всю ночь бедный Джим ждал нападения бандитов, но они так и не появились...

Мы прибыли в Ленинград ранним утром, а в гостиницу «Астория» могли поселиться только после трех часов дня. Изнуренный после бессонной ночи Джим готов был заплатить сколько угодно, чтобы нас поселили немедленно, но гостиница была битком набита, и максимум, что нам удалось выторговать, было обещание подготовить один номер к полудню. «Ты не в Чикаго, моя дорогая...».

В ожидании гостиничного номера мы пошли завтракать. Завтрак в «Астории» стоит всего десять долларов, а не двадцать восемь, как в «Метрополе». Примерно через полчаса выяснилось, что если ты хочешь, чтобы тебя не отравили, надо платить двадцать восемь... Остаток ленинградских дней Джим провел в



туалете. Ему было очень плохо, я вызывала врача. Пожаловалась уборщице, что вот, гостя отравили. Она ответила:

— Так у полгостиницы понос! Я знаю, я же убираюсь в туалетах!

Почему-то от этого сообщения Джиму легче не стало...

Он слабел на глазах, я была в ужасе, не знала, чем его кормить, чем поить — петербургская вода, как оказалось, не годится даже для железных желудков американских ковбоев, а ведь вся ресторанный еда приготовлена на ней. В конце концов я позвонила близкому другу, профессору Института культуры, жена которого работала на телевидении, в «Пятом колесе».

— Привет! Я в Питере! Да не радуйся, я не одна. Нет, ты меня не понял, я с американским миллиардером. Да не поздравляй, он у вас здесь концы отдает. Какая-то холера. У вас есть курица? Есть?! Скажи Милке, пусть поставит варить, мы сейчас приедем.

Я вызвала такси и мы поехали на Васильевский остров. Только въехав в Аликов двор, я вспомнила, что он живет на седьмом этаже без лифта... Отступать было поздно и некуда.

— Джим, нам сюда. Ты знаешь, мой друг живет на самом верху, и нам придется туда подняться. Мы пойдем медленно, будем останавливаться и отдыхать на каждом этаже, и потихоньку поднимемся.

— А почему мы не поедem на лифте? — удивился Джим.

— Здесь нет лифта.

— Лифт не работает?

— Да, лифт не работает, потому что его нет.

— Но когда-нибудь он работает? — продолжая не понимать Джим.

— Да, когда-нибудь работает — у нас в гостинице. А здесь его нет.

— Вообще нет лифта?

— Вообще нет лифта.

— Почему?!

— Дом старый, когда его строили, лифтов еще не изобрели.

— Но теперь их уже изобрели, почему же в этом высоком доме нет лифта?

— Нет денег построить.

— Сколько им надо, чтобы построить лифт?

— Не знаю, спросим у Алика.

Я разволновалась. Неужели действительно даст денег, и в следующий свой приезд в Петербург я буду подниматься на седьмой этаж к Алику в новеньком, с иглолочки, лифте?! Да нет, химера...

Между тем мы незаметно одолевали этаж за этажом. Наконец, мы у цели.

Крохотную отдельную квартирку на седьмом этаже без лифта Алик приобрел недавно, переехал сюда из коммуналки и был совершенно счастлив. Он только что опубликовал книгу, которую перевели и издали в Германии; Алика пригласили туда почитать лекции и подарили маленький компьютер лэп-топ; у него завелись кое-какие марки, и он купил себе новый холодильник, «Розен Лев». Короче, сегодняшний Алик был богат, как Крез. Пока Милка суетилась в столовой (она же спальня), Алик в миниатюрной кухоньке хвастался перед Джимом своими обновками. Показывал компьютер, открывал холодильник (он оказался абсолютно пуст) — приглашал Джима восхищаться вместе с ним. И Джим заплакал.

— Не печалься, Джим, — сказала я. — Посмотри, как он счастлив! Я, право, не знаю, кто из вас счастливее. У него есть любимое дело, которым он поглощен, он не замечает нищеты, в которой живет, и ему не надо беспокоиться о судьбе миллиардного состояния. Призадумайся, кому из вас лучше...

Милка объявила, что обед на столе, и мы перешли в «столовую». На столе в большом блюде лежала... совершенно синяя худая птица в недообщищенных перьях. У Джима глаза на лоб полезли.

— Что это?! — спросил он в ужасе.

— Это курица, — объяснила я. — Редкая разновидность. Выведена в России.

— Это здесь едят???

— Да, и, как видишь, живы-здоровы. Ну хорошо, не ешь курицу, но поешь хоть бульон.

— Он тоже с перьями?

— Нет, что ты, все перья на курице.

— Так она же полуголая. Где остальные перья? В бульоне? — продолжал сомневаться Джим.

— Нет, бульон чистый и очень полезный, ты от него сразу выздоровеешь, — умоляла я. Джим не имел во рту маковой росинки два полных дня, а надо было как-то продержаться еще два, и в конце концов не для светского же общения перли мы пешком к Алику на седьмой этаж!

Мне удалось уговорить Джима, он выпил бульон и повеселел. Ему очень понравилась Милка, и он тут же стал строить планы, как им с Аликом помочь. Забыл о них, конечно, как только вернулся домой в Америку..

Кульминация этого путешествия наступила в день отъезда. Джим улетал из аэропорта Пулково. Это далеко от города, и за нами заблаговременно приехала машина «Интуриста». Не знаю, как сейчас, а в те времена в гостинице при регистрации отбирали паспорт и визу, и возвращали в момент выписки. То есть предполагалось, что возвращали...

Мы спустились в вестибюль с вещами. Джим пошел за документами, а меня попросил сбегать в гостиничный киоск за американской газетой — он не может жить без новостей с биржи, пусть хоть и позавчерашних. Когда я вернулась, он протянул мне мой паспорт и сообщил:

— А мои документы мне не отдали. Утверждают, что я их уже забрал! Пойди, объясни им, что они ошибаются!

Джим сказал все это совсем спокойно — видно было, что он не представляет себе, чем это пахнет. А я похолодела. В памяти мелькнули истории об украденных сотрудниками КГБ американских паспортах — я знала их из вполне достоверных источников, от самих пострадавших. Утрата паспорта грозила несколькими днями задержки и большой суетой, а Джим и так был едва живой и мечтал только об одном — скорей домой! Ленинград он, в сущности, видел в основном из гостиничного сортира; только накануне отъезда ему стало чуть легче, и мы немного погуляли по городу и прокатились по Неве.

Я бросилась к стойке:

— Отдайте документы мистера Соренсона!

Сидящая за стойкой тетка, сдобная блондинка с «вшивым домиком» на голове, не поднимая на меня глаз, пробубнила:

— Он их забрал и за них расписался.

— Расписался?! Где расписался?! Никто ни за какие документы не расписывается, вы их выдаете без расписки!

— А он забрал и расписался, — продолжала издеваться тетка, все так же не поднимая на меня глаз.

— Тогда покажите подпись! — потребовала я.

— Отойдите и не мешайте работать, — ответила тетка.

Все это время по вестибюлю метался красный от волнения шофер «Интуриста», у которого день был расписан по минутам. Мы сбили его расписание уже минут на двадцать.

До Джима, наконец, начало доходить, что происходит. В глазах появился ужас.

— Что она тебе говорит?

— Говорит, что ты забрал документы и за них расписался.

— Я ничего не забирал и ни за что не расписывался!

— Я знаю.

— Немедленно отдайте документы мистера Соренсона! — благим матом заорала я на тетку.

Она отвечала, не поднимая глаз:

— Он их забрал и за них расписался.

— Тогда немедленно соединяйте меня с американским консулом! — продолжала орать я.

В это время подъехал автобус с испанскими туристами. Они выгрузились и столпились в вестибюле, ожидая, чтобы их расселили. Я легла грудью на амбразуру:

— Я не дам вам работать, пока вы не вернете документы мистера Соренсона или не соедините меня с американским консулом!

Джим, со своей стороны, кричал испанским туристам:

— Уезжайте отсюда, пока не поздно! Не останавливайтесь в этой гостинице! Они меня отравили! Они украли мой паспорт! Они украли мою визу! Бегите отсюда, бегите, пока не ушел ваш автобус!

Испанцы внимали Джиму в немом ужасе. Кое-кто пытался отыскать свои чемоданы в брошенной в вестибюле об-

щей куче. Я продолжала блажить так, что слышно было у Исаакиевского собора:

— Соединяйте меня с американским консулом!!!

Сейчас мне очень стыдно, что я сразу не поняла, что вся эта комедия была разыграна ради одного — взятки. КГБ был абсолютно ни при чем. Но «меня там долго не стояло», и я жила устаревшими представлениями о мире. Если бы я сообразила, что от нас хотят взятку, в той, близкой к катастрофе ситуации я бы ее дала (в конце концов, здоровье дороже и деньги не мои). Но я ничего не поняла и продолжала блажить:

— Консула-а-а!

По вестибюлю метался в полной прострации шофер «Интуриста».

— Может, поедем в аэропорт? — предложил Джим.

— Какой смысл? Кто тебя без документов выпустит?!

— Все-таки ближе к Америке, — жалобно сказал Джим...

Неожиданно в стене за стойкой открылась дверь и оттуда вышла некая матрона:

— Что здесь происходит? Почему такой шум?

— Они хулиганют, — указала на меня тетка за стойкой. — Сами потеряли документы, теперь требуют с нас и хотят вызывать американского консула, а надо бы вызвать милицию.

— В чем дело? — обратилась ко мне матрона.

— Вы украли документы мистера Соренсона. Немедленно верните!

— У нас нет его документов. Можете пройти со мной и сами в этом убедитесь.

Тетка провела меня в комнату за стойкой. Мы были там один на один. Это был момент, предусмотренный сценарием для взятки, но я все еще ничего не понимала.

— Вот файл, — указала мне матрона. — Можете просмотреть паспорта и сами убедитесь, что его документов здесь нет.

Я принялась проглядывать паспорта. Американских паспортов там действительно не было — ни одного. Я была в отчаянии. В этот момент матрона как бы случайно подвинула металлический ящик, и я увидела под ним краешек синего паспорта.

— Вот он! — заорала я. — Вот его паспорт!

Матрона живо накрыла паспорт рукой:

— Это не его!

— Его! Его! Здесь нет других американских паспортов!

Отдайте сейчас же!

— Не его!

— Покажите!

— Я не имею права показывать вам паспорта!

Я задохнулась от возмущения:

— Как не имеете права?! Вы только что показали мне две сотни паспортов!

— Не имею права, — повторила матрона.

Я человек миролюбивый, меня не так-то легко вывести из себя, но в этот момент я уже себя не помнила. Что есть силы я толкнула мерзкую бабу, она отлетела, я схватила паспорт и вылетела с ним из комнаты. По дороге открыла — паспорт Джима! И виза тут же!

— Вот паспорт!!! Вот виза! Скорей! В машину!

Неслись мы так, что чудом уцелели. Я была все еще невменяемая и не в состоянии членораздельно объясняться, хотя Джим сгорал от любопытства:

— Как это тебе удалось?!

— После, после, в Америке все объясню!

В аэропорт мы примчались в последнюю секунду. Оказалось, мистера Соренсона несколько раз вызывали по радио. Его пропустили без досмотра, кто-то из «Дельты» помчался с ним бегом к самолету, подхватив его чемодан. Ворота уже закрыли, но трап еще стоял у самолета. Ворота открыли, и Джим скрылся в проходе.

Я дождалась, пока самолет взлетел, и тут мне стало плохо. Я сменила Джима в ленинградском туалете...

Три незабываемых дня с папой на даче подняли мой дух, восстановили здоровье и компенсировали все пережитые волнения.

## АЗОХЕН ВЕЙ ЦУ ДЕ КОММУНЕ!

В сороковые — пятидесятые годы в нашем дачном поселке был управляющий по фамилии Кролик. Савелий Юльевич Кролик был невысок, лысоват, брюки его постоянно были опасно приспущены под круглым животиком. Кролик был большой талмудист — явление в ту пору довольно редкое. «Почти наизусть знает почти весь Талмуд», — цитировал папа Иосифа Уткина. Кролик со своей стороны совершенно благоговел перед папой и советовался с ним по всем вопросам как медицинского, так и не медицинского свойства. У Кролика была паховая грыжа, и много лет подряд он почти каждый день приходил к папе обсуждать, следует ли ее оперировать.

— Вон идет Кролик поговорить о грыже, — сообщила мама, заведя Кролика в конце нашей линии (линиями назывались улочки в нашем дачном поселке).

Кроме того, у Кролика были какие-то проблемы с кожей ног, и папа говорил, что Кролик из тех занятных типов, которые поражаются, почему руки моют каждый день, а ноги никогда! Еще в этой связи папа любил цитировать разговор в бане: «Рабинович, вы еще грязнее меня! — Так я же старше!».

В связи с ножной проблемой деликатный папа давал Кролику следующие медицинские рекомендации:

— Возьмите тазик, небольшой, чуть больше размера ног. Наполните его теплой водой, градусов тридцать восемь — сорок. Положите туда кусочек мыла, лучше всего не хозяйственного, а детского. Попарьте ноги в этом тазике минут пятнадцать, выньте, вытрите насухо чистым полотенцем и наденьте чистые носки. Повторяйте эту процедуру каждый вечер. Через две недели расскажете, помогло ли.

Через неделю восхищенный Кролик кричал папе:

— Вы волшебник! Вы гений медицины! У меня на ногах все прошло — как рукой сняло! Евреи — вот настоящие врачи, не то что гои!

Папа принимал похвалы Кролика со скромным достоинством. Он знал, что заслужил их своим медицинским искусством.

Однажды Кролик насмерть поссорился с Гимпельсоном. Дмитрий Израилевич Гимпельсон был нашим соседом сзади. Соседом слева в это время был знаменитый врач Мирон Семенович Вовси, соседом наискосок — историк Вениамин Ильич Каплан. Гимпельсон был соседом сзади. Он был акушер-гинеколог, принимал роды у мамы, когда я появилась на свет. Папа по-приятельски называл его абортмахером.

Я толком не знаю, что произошло между Гимпельсоном и Кроликом — то ли Гимпельсон срубил дерево на участке Кролика, то ли повредил его забор, но только Кролик подал на Гимпельсона в суд.

Взволнованный Гимпельсон прибежал к папе:

— Яша, ради Бога, уговорите Кролика забрать жалобу из суда!

Папа повел с Кроликом дипломатические переговоры:

— Савелий Юльевич, дорогой! Не надо судиться с Гимпельсоном! Он вам заплатит, возместит ущерб. Подумайте сами, как это некрасиво — судятся два старых еврея! Люди будут смеяться!

Уговорить Кролика оказалось нелегко: он был страшно зол на Гимпельсона. Папа прибег к новому аргументу:

— Поймите, ему никак нельзя доводить дело до суда! У него будут неприятности по партийной линии.

— Он?! Партейный?! — совершенно изумился Кролик. — Гимпельсон партейный?!

И заключил бессмертной фразой:

— Азохен вей цу де коммунне! \*

Кролик с Гимпельсоном, конечно, помирились, а бессмертное «Азохен вей цу де коммунне!» навсегда осталось в наших семейных анналах.

---

\*Многозначное еврейское восклицание. В данном контексте: Несчастливая коммуна!



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### РАППОРТИЧКИ (ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ НИ О ЧЕМ»)

#### Первые Уроки

Я окончила детский сад в год Победы. Спустя тридцать лет наша замечательная воспитательница Ирина Владимировна собрала выпускников сорок пятого года на вечер встречи. С волнением и любопытством входила я в серо-зеленое здание на улице Горького (вскоре его облюбует, отберет и перекрасит Олимпийский Комитет). Сад наш принадлежал Академии Наук. Устроить туда ребенка, особенно во время войны, было очень трудно; папе пошли навстречу за его военные заслуги. Публика в саду была все отборная, на общем гладком фоне выделялись только мы с Павликом. Меня постоянно рвало от манной каши, а Павлик — сын нашей нянечки — писал в штаны и ругался матом.

Странная это все-таки была затея — вечер встречи. Как и ожидалось — чужие, напряженные лица, слившиеся в одном героическом усилии — вспомнить. На маленьких столиках — кофе с пирожными. Кто в состоянии — пытается втиснуться в детские стульчики, но большинству приходится удовлетворяться фуршетом. Ирина Владимировна произносит маленькую речь о том, какие мы были хорошие, послушные,

добрые и способные дети. Просит рассказать, какие мы сейчас. Рассказываем. Напряжение постепенно рассасывается, и вдруг, как чертики из табакерки, из каких-то черных дыр памяти начинают выскакивать живые картины.

## Павлик

Мама с папой приходят вечером забрать меня из садика. За дверью в углу стоит Павлик. Он весь распух от слез. Видно, что стоит он здесь не первый час.

— Павлик, что случилось? — спрашивает папа.

— Я опять ругался нехорошими словами, — сквозь душераздирающие всхлипы объясняет Павлик. — Ирина Владимировна поставила меня в угол и сказала: «Стой, пока не забудешь!». Я с самого обеда стою и никак не могу забыть!

С этим Павликом у меня связана история о самом жгучем стыде, который я когда-либо испытала в жизни.

Мне пять лет. Мы рисуем за длинным столом. Занятие творческое, увлекательное, отрываться не хочется. А надо. Ох, как надо! И тут меня осеняет. Я роняю карандаш, лезу за ним под стол, подползаю под стул Павлика. Напоминаю вам, Павлик писался.

...Через некоторое время из-под павликова стула вытекает лужица, но я уже сижу на своем месте. Ирина Владимировна, как всегда, начинает стыдить Павлика, но тот, обычно стоически переносящий заслуженные упреки, вдруг взвизгивает:

— Это не я! Это не я! Ирина Владимировна, это не я!

Удивленная Ирина Владимировна щупает ему штанишки — они сухие. Тогда она принимается щупать штанишки всем подряд. Очередь доходит до меня...

С тех пор я никогда в жизни не писаю под чужие стулья.

## Алеша

С Алешей Блюменфельдом мы познакомились в детском саду и с тех пор не расстаёмся. Время, конечно, накладывало

свою печать на наши отношения. Вот уже лет шестьдесят, как Алешка меня не бьет, лет сорок, как перестал дразнить, лет тридцать не приглашает в театр, но если бы у меня был брат, он не мог бы быть мне ближе.

А начало наших отношений безоблачным не назовешь.

Мы с Алешей ходим в один детский сад, потому что его мама и мои родители работают в Академии Наук. Алешина мама Олимпиада Петровна — личный секретарь академика Лины Соломоновны Штерн, моя мама — старший научный сотрудник Лининой лаборатории. Лину еще не посадили — это произойдет через три года, и Олимпиада Петровна, рискуя свободой и головой, будет ездить к ней в ссылку. А пока моя мама пишет докторскую диссертацию, а Олимпиада Петровна ее печатает. Это самый первый, черновой вариант, и вечерами мама что-то такое в диссертации правит, вычеркивает, вписывает. Я понимаю это по-своему: видимо, Алешкина мама плохо печатает; печатала бы лучше — моей маме не приходилось бы так много черкать, и у нее оставалось бы хоть немного времени для меня.

— Твоя мама совсем не умеет печатать, — говорю я в саду Алешке. — Твоя печатает, печатает, а моя все черкает и черкает.

Увесистым кулаком Алешка преподносит мне один из первых уроков человеческой этики. Я лечу с лестницы и расшибаю коленку так, что приходится вызвать родителей.

— Он тебе мало дал, — без всякого сочувствия говорит мне папа, пока мама хлопочет над моей коленкой.

Мою ошибку — и этическую, и фактическую разъясняет мне мама.

С тех пор я стараюсь, елико возможно, не обижать людей.

...Алеша родился в тридцать седьмом году; отец его, крупный шахматист, умер во время войны. Олимпиада Петровна растила сына в жуткой строгости, постоянно боясь, как бы он не сбился с пути, не попал в дурную компанию. Алеша рос исключительно вежливым и воспитанным и безумно меня этим раздражал. Я тогда не понимала, что он и сам мучительно страдает от своей вынужденной вежливости, прекрас-

но сознавая, как выглядит в глазах обнаглевших сверстников, но отдал себя на добровольное заклятие, чтобы не огорчать измученную мать.

Когда я окончила школу, родители впервые отправили меня в Крым. Отпускать меня одну было опасно, и естественный выбор пал на надежного, как скала, Алешу. Родители с обеих сторон очень хотели, чтобы мы подружились. На перроне моя мама давала Алёше последние наставления: следить, чтобы я далеко не заплывала, никуда не отпускать одну — и так далее... Поезд тронулся. Я сказала Алешке: «Если тебе хоть на минуту придет в голову выполнять мамины указания, это последний раз, когда ты меня видишь!».

Алеша молча, неторопливо достал из рукава сигарету, чиркнул спичкой о подметку ботинка, закурил, пустил в потолок купе несколько правильных колец и наконец произнёс равнодушно:

— Да на чёрта ты мне сдалась!

Я слегка адаптирую этот текст — оказалось, Павликовы уроки русской словестности не прошли для Алешки даром.

Меня как громом поразило! Курево, лексика, а тон! Сквозь дым Алешинной сигареты я вдруг увидела совершенно другого человека — твердо оберегающего мать, доброго, верного своим убеждениям и очень близкого. С этого момента мы стали друзьями.

Мы много путешествовали втроём — Алёша, наш общий друг Эрик и я. Эрик потом трагически погиб на Алтае. Меня тогда не было в Москве; когда я вернулась, о гибели Эрика рассказал мне Алёша: «Я подумал, лучше ты узнаешь это от меня...»

Временами мы виделись с ним почти каждый день, временами — с большими перерывами, но когда мне было плохо, Алёша неизменно оказывался рядом. Для меня до сих пор загадка, как он узнавал, или догадывался, что нужен.

Тут, пожалуй, уместно сообщить, что у нас никогда не было романа. Алёшка меня постоянно дразнил: «Ты рыжая, тебя никто замуж не возьмёт», — я, по инфантильности и глупости, верила ему и переживала, и моё первое неудачное замужество, до некоторой степени, Алёшкиных рук дело. Как только один

мой одноклассник оказался готов опровергнуть Алёшкин тезис, я рванула ему навстречу. Наша регистрация в Загсе была назначена на день защиты диплома. Ни Алёше, ни Эрику я ни о чём не рассказывала, предвкушая сенсацию. Накануне защиты Алёшка с Эриком пришли меня проведать и проверить состояние готовности. Мой суженый был в это время у меня. Алёша с Эриком увидели его впервые и очень удивились. Они старательно пытались его пересидеть, но он не подавал никаких признаков ухода, и в конце концов они сдались и вышли. Через минуту раздался звонок в дверь: Алёша.

— Я забыл свою шапку.

— Какую шапку?! Девятое июня, не было у тебя никакой шапки!

— Разве? — усомнился Алёша. — Ну, не было так не было.

Он ушёл. Через минуту опять раздался звонок в дверь:

— Слушай, может я её у тебя зимой забыл?

Не успела я его вытолкать, как на пороге появился Эрик:

— Знаешь, Алёша думает, что его шапка у тебя, а ты скрываешь. Она совсем старая, рваная и ни на что не годная, отдай!

Они возвращались по очереди с разными глупостями ещё раз пять, наконец ушли окончательно.

На следующий день Алёшка с Эриком пришли поздравить меня с окончанием Университета.

— А я ещё сегодня замуж вышла, — сообщила я грустно, так как с первой минуты знала, что делать этого не следовало.

Сенсация состоялась.

Эрик плакал на балконе, мне хотелось выть вместе с ним, но я держалась.

— Я тебе говорил, что не надо было вчера уходить! — сказал Эрику Алёша. — Может, мы бы предотвратили это несчастье!

Мой первый брак длился недолго. Суженый невлюбил моих друзей в их сумме, а Алёшку и Эрика — с той первой встречи — в особенности.

Вскоре выяснилось, что моему избраннику мешает моя национальность, и в своих анкетах он пишет, что жена у него — русская. Для меня это было началом конца. Окончательно мой брак распался, когда я забеременела. Я всегда мечтала о ребёнке, но когда мечта готова была реализоваться, я очень остро ощутила, что от этого человека я ребёнка не хочу. Выбор был мучительным. Первый аборт — всегда огромный риск, можно лишиться детей на всю оставшуюся жизнь. И всё-таки в конце концов я на этот риск пошла. Аборт делал лучший «абортма-хер» Москвы, как это было принято тогда, без наркоза. Адская боль, моральная травма, разрушенная жизнь — с таким букетом я вернулась на свою койку и лежала в столбняке, пытаюсь отыскать хоть какую-нибудь опору в нагрывшем внутреннем хаосе. Стояла жуткая жара. О кондиционерах тогда слыхом не слыхивали, палата была на первом этаже, окно было открыто. В это окно вдруг вплыл огромный арбуз. Через короткое время за ним обнаружилась ухмыляющаяся Алёшкина физиономия: — Ты что тут делаешь? Выходи, поехали на охоту!

Как он узнал?! Загадка так и осталась без ответа.

Я и впоследствии совершала в жизни тяжелые ошибки и жестоко за них распачивалась. Алёшке предстояло ещё много раз по разным поводам приносить мне арбуз.

В шестидесятом году, окончив институты, мы с Алёшей записались на городские английские курсы в Зачатьевском переулке. Алёша их кончил, а я сошла с дистанции. Три раза в неделю по три часа вечером после работы — для меня это было чересчур. Кругом театры, концерты, друзья и поклонники. Алёшка, чёткий человек, всем этим пренебрёг ради языка; какое-то время после окончания курсов он бойко шпарил по-английски и издевался над моим кудахтаньем. Потом, без практики, язык у него ушёл и мы сравнялись.

Прошло много лет. Я оказалась в Америке. Года через полтора я приехала в Москву навестить папу и друзей. Теперь уже я бойко шпарила по-английски, а Алёша кудахтал и завидовал.

— Послушай, — сказал мне Алёша, — у меня накопился большой отпуск. Я бы хотел поработать физически на какой-нибудь американской ферме и попрактиковать свой английский. Хочу говорить не хуже, чем ты. Можешь организовать? Платить мне не надо, только кормить.

— Попробую. У моего знакомого миллиардера большое ранчо на юге Юты. Восемсот коров. Может, он тебя наймёт их пасти — ты всё же лучше, чем нелегальные мексиканские иммигранты (тут я, конечно, ошиблась — эти рождаются прямо на конях, а Алёшка до того видел лошадь только в зоопарке).

Вернувшись в Солт Лэйк, я пошла к Джиму:

— Мой друг, большой ученый, начальник департамента в научно-исследовательском институте, хочет поработать на твоём ранчо и попрактиковать свой английский. Бесплатно (фри!), за харчи.

Когда миллиардер слышит слово «фри», это вроде «Сим-Сим, открой дверь!». К тому же, любопытно: ученый человек, начальник, а хочет поработать на ранчо.

Джим тотчас выслал Алёше приглашение и билет. Так Алёшка стал ковбоем.

Своё первое свидание с лошадью он очень живописно изложил в длинном письме, которое я зачитывала своим за ужином. Сто двадцати килограммовый Алёшка впервые в жизни сел в седло и отскакал без малого десять миль (шестнадцать километров). Впечатлений хватило на четыре страницы.

— Хорошо бы ещё послушать противную сторону (лошадь), — задумчиво сказала Вика.

Ковбойская работа — тяжелейший, лишенный романтики ежедневный труд с пяти утра до темноты. Сжав зубы, Алёшка нёс службу наравне с двадцатилетними ковбоями, чем совершенно поразил воображение Джима. Он был, можно сказать, принят в семью.

— Послушай, — сказала я однажды Джиму, — Алекс прекрасный химик. У тебя масса компаний — может, найдёшь ему место по специальности?

И не поверите — Джим построил для Алёшки специальную лабораторию! Вот уж воистину — идея становится мате-

риальной силой, когда овладевает миллиардером! В лаборатории бок о бок с Алёшей трудилась его жена Лера – вдвоём они осуществляли тонкий органический синтез сложнейших химических соединений для компании «Сигма».

Потом Алёша и Лера переехали под Бостон и работают в большой биомедицинской компании. Такой неожиданный поворот совершила карьера американского ковбоя.

И хотя Алёша теперь в пяти часах лёту от меня, я продолжаю чувствовать его тепло под прохладным американским солнцем.



## ОСТОРОЖНО! ЭТО ЖЕ БАХ!

В детстве я очень любила ходить в Консерваторию. Это было единственное место на Земле, где мне покупали мороженое.

Перед концертом на сцену выходила стройная дама на высоких каблуках в неизменном черном костюме, говорила пронзительным контральто:

— Начинаем концерт Государственного Симфонического Оркестра Союза ЭСЭСЭр под управлением... В программе...

Пока она говорила, я мысленно прокладывала кратчайший путь от своего места к консерваторскому буфету. Важно было ухватить вафельный стаканчик с пломбиром, пока не кончился антракт. Все первое отделение концерта я напряженно ждала перерыва, во втором делилась пережитым только что наслаждением с портретами великих композиторов на стенах Большого Зала, предпочитая другим Иоханна Себастьяна Баха в напудренном парике. Трудно назвать момент, когда это изменилось. Может быть, на концерте Софроницкого, когда он внезапно забыл нотный текст и метался по сцене, громко говоря самому себе:

— Спокойно! Спокойно!

Я до сих пор помню охвативший меня ужас. Софроницкий сел наконец снова за рояль и благополучно сыграл всю вещь от начала до конца. Что это было? Может быть, Скрябин? — Не помню. Но я его *слушала!*

Родители заметили перемену. Они, как оказалось, давно ждали этого момента. Мне взяли учительницу музыки, и в возрасте восьми лет меня постигли первая любовь и первая утрата.

Шалита Ильинична Рохлина была молодая, яркая, жгуче черноволосая, талантливая, бесконечно терпеливая и ласковая. Я влюбилась по-настоящему. Кто сказал, что человек в восемь лет не может по-настоящему влюбиться? — Может. Просто в этом возрасте пол объекта не играет никакой роли. Больше в женщин я не влюблялась никогда в жизни. Но и в зрелые годы переживания любви были совершенно те же, что в восемь лет — другими были грезы.

Влюбившись в Шалиту, я жила от урока до урока и старалась изо всех сил. Музыкальными способностями Бог меня не одарил, и мне приходилось часами играть ненавистные гаммы и этюды, чтобы заслужить Шалитину похвалу. Когда это удавалось, я бывала беспредельно счастлива. Перед сном в постели я мечтала, что спасаю свою учительницу от разнообразных грозящих ей опасностей: от поездов, машин, собак, бандитов... Я ее не спасла. Молодая, красивая, талантливая Шалита умерла от рака груди, не дожив до тридцати лет...

Уроки кончились. Я категорически отказывалась заниматься с кем-нибудь другим. Временами я еще подходила к инструменту; играла я всегда одно и то же, разученное с Шалитой: «Болезнь куклы», «Смерть куклы». «Новую куклу» я не играла никогда. Но время шло, подходы к пианино становились все реже, а исполнение все чудовищней. Пальцы то неслись вскачь, но заплетались и попадали на совсем чужие клавиши. Отличавшийся абсолютным слухом папа прикрикнул однажды:

— Прекрати! Ты позоришь память Шалиты! Или никогда больше не приходи к инструменту, или начинай заниматься! Есть замечательный педагог.

Так я оказалась в руках у Зинаиды Самуиловны Кизильштейн. В Зинаиде Самуиловне всё было значительным: рост, лицо, нос, губы, руки, высокий лоб, серебриющиеся волосы. Много лет спустя я прочитала у Заболоцкого: «Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великое чудится в малом...». Пышный портал — это о ней.

Зинаида Самуиловна преподавала в Гнесинке. Меня она взяла из уважения к родителям и еще потому, что ей остро нужны были деньги. Ее старший сын Юра Михайлов сидел в лагере, где-то, кажется, в Казахстане. Он страдал астмой; жизнь его постоянно висела на волоске. Зинаида Самуиловна ездила к зоне и давала взятки лагерному начальству, чтобы они передали Юре необходимые ему лекарства. Мужа она потеряла давно — кажется, по тому же стандартному сценарию.

Моя старшая сестра сочинила для меня такую о Юре драматическую легенду. Дескать, во время войны Юра был

на фронте, отличался необыкновенной храбростью и получил очень высокую награду — Орден Славы Второй Степени. Наградить его должны были в Кремле. По дороге с фронта в Москву в его купе оказался чрезвычайно разговорчивый попутчик. Когда Юра сошел из вагона на перрон московского вокзала, его арестовали. Вместо Кремля Юра уехал на Лубянку, оттуда — в лагерь.

Я много лет принимала это за чистую монету, пока совсем неожиданно не узнала от новых друзей, хорошо знавших Зинаиду Самуиловну, что демобилизовали и вернули Юру с фронта из-за астмы, а посадили из-за участия в какой-то ВГИКовской студенческой группе, якобы готовившей покушение на Сталина. О его истинной трагической судьбе упоминает Инна Шихеева-Гайстер в замечательной книге «Дети врагов народа».

Жизнь Зинаиды Самуиловны проходила в непрерывном страхе за жизнь сына; благодаря ее самоотверженным стараниям, Юра дожил до первой оттепели. Году в пятьдесят шестом его реабилитировали, и Зинаида Самуиловна наконец забрала его из лагеря. Вскоре после этого он умер от усугубившегося в лагере туберкулёза...

Но это все случилось потом. Когда я начала заниматься с Зинаидой Самуиловной, Юра был еще в лагере и она постоянно покупала и отвозила ему дорогие лекарства. Думаю, если б не это, вряд ли бы педагог такого ранга взялся заниматься с такой бездарью, как я. Моя игра доставляла Зинаиде Самуиловне невыразимые мучения. Она вздрагивала, морщилась, как от боли, вскрикивала:

— Осторожно!!! Это же Бах!

В доме у Зинаиды Самуиловны меня настигла вторая любовь. Так, наверное, было на роду написано, что музыка и любовь в моей жизни часто шли об руку.

Вторую любовь звали Юра Рейтман. Мне было лет двенадцать, он был на год старше — тоненький мальчик, родом откуда-то из провинции. Видимо, он был сирота — я никогда ничего не слышала о его родителях; Зинаида Самуиловна взяла его к себе жить и стала ему второй матерью.

Юра был очень талантлив, учился в Гнесинке. Меня сразила его необыкновенная красота: один глаз был у него голубой, другой — зеленый.

Теперь душу мою раздирала на части неразрешимая дилемма: с одной стороны, мне очень хотелось, чтобы Юра был дома, когда я прихожу на урок, с другой — было невыносимо стыдно так бездарно играть в его присутствии. Но Зинаида Самуиловна была гениальный педагог, и я постепенно двигалась вперед. Я играла уже сонаты Бетховена и Моцарта, когда посадили папу. На этом уроки музыки прекратились сами собой и больше никогда не возобновлялись. Я не умею читать с листа, но пальцы мои хранят в памяти фрагменты бетховенских сонат и я иногда играю их себе на выдавшем виды белом пианино, подаренном мне одним американским приятелем.

...Зинаида Самуиловна умерла от сердечного приступа. На похороны пришла масса народа: ученики, ученики, ученики, друзья. У нее было удивительно светлое, спокойное, умиротворенное лицо. «Никогда не видела ничего прекраснее», — сказала мне моя соседка.

...Юра уехал учиться в Ленинградскую Консерваторию и женился там на скрипачке. Я потеряла его след, но вдруг, лет через пять или шесть — звонок: Юра. Участвовал в Конкурсе Чайковского, стал дипломантом. Мы договорились встретиться. Около Консерватории меня ждал незнакомый круглолицый коренастый мужчина с модными усиками. И только один глаз был у него по-прежнему голубой, а второй — зеленый.

Шалита и Зинаида Самуиловна оставили мне бесценное наследство — музыку.

## ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Декретный отпуск мой кончился, и мы стали искать няню.

— Я звоню по объявлению. Как к вам доехать?

— А где ты находишься?

— Я-то? В будке около парикмахерской.

— На какой улице?

— Не знаю.

— Как ты туда попала?

— От вокзала пришла.

— От какого вокзала?

— На какой приехала.

— Откуда ты приехала?

— Я-то? Из деревни.

— Город какой-нибудь рядом есть?

— Не.

— А где на поезд села?

— В Ярославле.

— Тогда иди назад к вокзалу, садись на метро...

Так в нашем доме появилась Дуська. После проведенного с ней короткого инструктажа я вышла на работу, а Дуська с годовалой Викторией вышли гулять на улицу.

Это стало настоящей катастрофой для обороноспособности державы. Краснощекая, полногрудая, цветущая шестнадцатилетняя Дуська мигом дезорганизовала работу Московского Военного Округа. Казалось, что в нашем дворе расквартирована военная часть, часовые которой несут неусыпную службу у нас в подъезде и под дверью. Телефон раскалялся от звонков:

— Еву позовите.

— Позовите Еву.

Отупев от родов, жизненных проблем и недосыпа, я не сразу сообразила, что Ева — это от Евдокии, элегантная аббревиатура нашей Дуськи.

— Еву можно?

Еву было можно. Очень даже можно. Быстро овладев тайнами профессии, Дуська умело гуляла с ребенком и с сол-

датами одновременно, с толком используя дневное время, когда дома, кроме них с Викой, никого не было.

Кроме красоты и вкуса к жизни, у Дуськи была ещё вывезенная из деревни своеобразная лексика. Значащие слова тонули в море, мягко говоря, вводных.

— Бери свою блядь и пойдем гулять, — вдохновенно рифмовала Дуська, указывая на Викину любимую куклу, и Вика долго была уверена, что кукла так и называется.

А ребенок, между прочим, уже начинал говорить.

Однажды к нам в гости пришел мальчик из очень интеллигентной семьи. Кудрявый, аккуратно причесанный, в белоснежной кружевной рубашечке с черным бантиком. Виктория из кожи вон лезла, чтобы понравиться этому принцу. Показывала свои сокровища:

— Смотри, мама мне вчера подарила новую блядь, говорящую!

Мама схватила принца и больше мы их не видели...

Потом Дуська забеременела.

Надо сказать, что родители мои через такие испытания уже однажды проходили. Было это много лет назад, когда родилась моя старшая сестра Ляля. Ту девушку звали Нюра. Нюра гуляла с красноармейцем, в отличие от нашей Евы — с одним, но ведь и время было другое, пуриганское.

— Нюр, ты с ним поосторожнее, — посоветовал папа.

— Да что Вы, Яков Львович, мы с ним уже два месяца встречаемся и только недавно познакомились! — успокоила Нюра.

Нюра, конечно, забеременела, а солдат сбежал. Нюра знала, где стоит его часть, и написала письмо начальнику.

Вскоре пришел ответ, но не от начальника, а от самого солдата: «Дорогая Нюра, Вы написали товарищу начальнику, что я являюсь отцом Вашего зачатия...»

Как «отец нюриного зачатия» солдат себя не оправдал и «знакомство» с Нюрой категорически отрицал. С абортами тогда было сложно, и Нюра уехала рожать в деревню, а сестру мою Лялю отдали в ясли.

Вооруженные этим опытом, родители мои предсказывали близкий конец нашей с Евой эпопеи, и он не заставил себя ждать.

На семейном совете, состоявшемся при деятельном участии самой пострадавшей, решено было устроить Дуську на аборт, а потом немедленно отправить домой к маме, чтобы присматривала за дочерью. Эта последняя часть протокола совершенно не входила в Дуськины планы и вызвала яростное сопротивление, но папа проявил твердость духа и, когда Дуська поправилась, сам отвез ее на вокзал и посадил в поезд.

Сколько раз потом я проклинала себя за наш отвратительный снобизм!

Потому что на смену Дуське пришла по объявлению настоящая ведьма. Высокая женщина лет шестидесяти, с довольно правильными чертами лица, которое почему-то казалось мне безобразным. Вскоре я разгадала тайну ее уродства: лицо безобразили свирепые глаза. Вика стала вздрагивать и плакать по ночам. Какое-то время мы терпели. Первым не выдержал дед:

— Эльвира Петровна, ребенок никогда не перестанет плакать, если на него так злобно кричать!

Реакция была совершенно неожиданной.

— Ага, я так и знала, что вы уже побывали в райкоме, сыщики! — оскалилась наша няня. Увидев полное недоумение на папином лице, осеклась, но было поздно. Папа-таки съездил в райком партии по месту ее прописки. Оказалось, что на склоне лет Эльвира Петровна круто поменяла профессию: в няни она пришла из надзирательниц женских лагерей, откуда была изгнана с выговором по партийной линии за жестокое обращение с заключёнными...

Малютку Еву Моисеевну привез в наше отсутствие ее сын.

С Викой в это время сидела наша соседка, она-то их и впустила. Сын поставил в коридоре сундучок и исчез, не оставив никаких координат.

Вернувшись с работы, мы с Володей застали в нашей постели сладко спавшую крохотную седую старушку.

— Это — мне? — спросил восхищенный зрителем Володя. Старушку аккуратно разбудили.

— Ева Моисеевна, сколько Вам лет? — поинтересовалась я.

— Семьдесят пять, — сказала Ева Моисеевна.

— Она забыла, — прокомментировал папа. — Спроси, не помнит ли она Декабрьское Восстание на Сенатской Площади и не при ней ли отменили крепостное право?

Трогательно свернувшись калачиком, Ева Моисеевна целыми днями спала на двух составленных около телефона стульях, временами отвечая на звонки, о которых, впрочем, мгновенно забывала. Мы пустились на розыски ее сына. Каким-то чудом нам в конце концов удалось его найти — деталей не помню, но цепочка была длинная. Практичный сын потребовал выкуп — иначе забрать мать никак не соглашался. Мы были в восторге от простоты и изящества всей операции: на месяц избавившись от матери, он еще и заработал на этом деле, и, как видно по отточенности деталей, не впервые...

Нина Дмитриевна приглянулась нам сразу.

— Вещу ровно сто килограмм! — с гордостью сообщила она о своем выдающемся достоинстве.

— Толстая, значит, наверно, добрая, — с надеждой шепнул мне Володя, — давай возьмем!

К сожалению, очень скоро выяснилось, что Нина Дмитриевна совсем не умеет готовить и что ребенок лежит совершенно вне сферы ее интересов: основное внимание она сосредоточила на моем овдовевшем отце. Нина Дмитриевна всё живописала ему ужасы холостого и преимущества женатого существования.

— А физиология не нужна, можно и без физиологии, — объясняла папе Нина Дмитриевна, видимо, не очень уверенная в его возможностях.

— То-есть как это можно без физиологии! — возмущился папа, — без физиологии никак нельзя!

— Нет, если нельзя без физиологии, можно и с физиологией, — быстро согласилась Нина Дмитриевна.



— Такое весомое счастье само в руки плывёт! — смеялся папа. — Жаль, что она не умеет варить кашу и жарить яичницу.

Потерпев матримониальное фиаско, Нина Дмитриевна ушла сама. Она была симпатичная тетка, и хочется верить, что в конце концов она нашла любителя заниматься физиологией на голодный желудок...

Тетя Шура была гренадерского роста и говорила басом. Вечером первого дня, проведенного с тетей Шурой, Вика с нетерпением ожидала в коридоре у входной двери моего возвращения с работы:

— Мама, ты в какого Бога веришь?

Огорошенная вопросом, я с ходу ответила:

— Ни в какого.

— Как же так? — удивилась Вика.- Тетя Шура верит в русского Бога, я верю в еврейского, а ты в какого?

Спустя пару дней мы ужинали вечером на кухне, и тетя Шура все смотрела на Володю, а потом сказала мне своим густым басом:

— Наташк! А твой муж, наверно, не яврей!

— Почему Вы, Тетя Шура, так думаете?

— А лицо такое, приятное!

Не вполне уверенные, что трехлетнему ребенку полезны такие этнические экскурсии, мы расстались с тетей Шурой, но история имела продолжение. Напротив нашей дачи стоял, да и сейчас стоит, дом Федосьи Парфенны; Федосья Парфенна жила там круглый год. В пору моего детства Парфенна носила прозвище «Это Самое», потому что испытывала большие трудности с выражением мыслей и объяснялась примерно так:

— Вчера, это самое, на Фабричной, это самое, клубника, это самое, крупная, это самое...

На лето Парфенна сдавала свой дом, а сама перебиралась в сарайчик. В то лето у нее жила семья с мальчиком Вовкой Викиного возраста; Вика с ним играла. Однажды, вернувшись с работы, я застала Вику в очень дурном расположении духа.

— Что случилось?

— Я с бабушкой Парфенной больше не вожусь!

— Почему?

— Она пессимистка!

— Парфенна?! Пессимистка?!

— Да, пессимистка! Подумаешь тоже, евреев не любит!

Может, она сама еврейка, а может даже, еще хуже!

Выяснилось, что утром сосед Вовка забежал сказать Вике, что больше играть с ней не будет, потому что бабушка Парфенна сказала ему, что Вика еврейка, а с евреями водиться не след.

Меня поразило тогда не сам факт — меня сразила каша в трехлетней Викулиной голове. Надо сказать, что такую же кашу я наблюдала потом и у Викиного однокашника Мишки Александрова, чистейших русских кровей, из старой русской аристократии, и, может поэтому, слегка грассировавшего. Зайдя за Викторой в школу, я застала жестокую драку первоклассника Мишки Александрова с первоклассником Ромкой Бухаровым. Ромка, задыхаясь, колотил Мишку:

— Еврей! Запинаешься! Эг не выговагиваешь! — выплевывал Ромка и попутно ругал Мишку матерно.

Мишка, не оставаясь в долгу, колотил Ромку, и при этом парировал с достоинством:

— Ну и что, что еврей! Что, что еврей! Евреи умные! А захочу, в Израиль уеду!

К концу школы — да нет, конечно, гораздо раньше — все они уже прекрасно разбирались, кто есть кто...

Вот на какое длинное отступление подвигла меня наша короткая встреча с тетей Шурой...

Елизавета Алексеевна была когда-то инженером-химиком. Узнав, где я работаю, сказала:

— У меня есть кое-какие вопросы к Академику Гольданскому, по поводу Менделеевской Системы. Вы бы не могли устроить мне с ним свидание?

— По-моему, будет больше толку, если она будет ходить вместо тебя в Химфизику, а ты сидеть с Викторой, — посовето-

вал папа. Он оказался прав. Потому что уже на следующий день вечером, вернувшись с работы, я застала Володю и папу очень обеспокоенными. Елизавета Алексеевна спала.

— Когда мы пришли домой, она была какая-то очень странная, возбужденная, щеки горят, говорит нечленнораздельно, все время повторяет одни и те же слова, — доложил Володя. — Может, шиз?

— Вам не показалось? Вчера ведь была совершенно нормальная, даже с Гольданским хотела беседовать!

Утром все было в порядке, но вечером повторилось по вчерашнему сценарию. Мы терялись в догадках. Ах, нам бы поднять глаза на кухонный шкаф, где уже несколько месяцев зрела в пятилитровой бутылки чернорябиновая настойка! Володя над ней колдовал и никому не давал пробовать, дожидаясь одному ему ведомого срока. Но мы не подняли туда глаз. А через пару дней на кухню пришел очень рассерженный и расстроенный папа:

— Наташа, ты пила мой коньяк?

У папы была заповедная бутылка армянского коньяка из Шустовских погребов, чуть ли не столетней выдержки, преподнесенная ему Ереванским доктором, чью диссертацию он оппонировал. Папа этот коньяк даже не пил, а только нюхал и умилялся. И вот папа спрашивает:

— Наташа, ты пила мой коньяк?

Я просто одурела от этого вопроса. Папа прекрасно знал, что я уже много лет ничего не беру без спроса, а уж то, чем он так дорожит — тем более.

— Но у меня была полная бутылка, а теперь половина, — недоумевал папа. И тут дал удивительную промашку, простительную, пожалуй, только ученому-естествоиспытателю его ранга. Он принес карандаш по стеклу и сказал с угрозой:

— Хорошо, ставлю риску!

И с тем провел черточку по уровню коньяка в бутылке.

Надо ли говорить, что риска не понадобилась! На следующий день бутылка была пуста, как барабан, а Елизавета Алексеевна спала мертвецким сном в своей комнате, лежа

частично на полу, частично на кровати, и благоухая чесноком. Папа не мог успокоиться:

— *Такой* коньяк закусывать чесноком! Нет, вы только подумайте, *такой* коньяк закусывать чесноком!

Папа не спал всю ночь — всё дожидался, когда проснется Елизавета Алексеевна, и едва услышав шевеление в ее комнате, спросил:

— Елизавета Алексеевна, как Вы могли *такой* коньяк закусывать чесноком?!

— Какое Вам дело, чем я закусываю свой коньяк, — недружелюбно отозвалась Елизавета Алексеевна.

— Нет, мне совершенно безразлично, чем Вы закусываете *свой*, — отвечал, едва сдерживаясь, папа, — но мне не все равно, чем Вы закусываете *мой*!

Я поняла, что пора вмешаться.

— Елизавета Алексеевна, мне кажется, наша встреча была ошибкой.

— Да, — согласилась Елизавета Алексеевна, — Вы мне несимпатичны.

Мы расстались. За проведенную в нашем доме неделю Елизавета Алексеевна осушила пятилитровую бутылку Володиной настойки и бутылку чудесного коньяка.

— Подумать только, и мы ей не симпатичны! — обижался папа.

И тут, наконец, нам улыбнулось счастье. У Счастья было лицо бабы Маши — маленькой, суетливой, доброй, заботливой и ворчливой. Словом, настоящей Няни.

— Викуля, принеси, пожалуйста, мячик, — просила я.

— За ним далеко итить. Я его туды положила, — отвечала Викуля, делая ударение на втором О, и показывала мне в книжке: это жароф, это бигамот, а это кенгура. И все мы были счастливы.

Баба Маша прожила у нас несколько лет, пока у нее в Ярославле не родился внук. Мы еще долго дружили. А Вика пошла, наконец, в детский сад.

*Сергею Никитину*

## СТАРАЯ КВАРТИРА

Несколько лет назад я уже летела этим ослепительным маршрутом. Был такой же безоблачный день. Снежные шапки гор и кратеры вулканов сверкали такой белизной, словно это был первый день творения. Горы были неправдоподобно правильной формы, будто вычерченные циркулем, и невозможно было оторвать от них глаз.

Черт знает по какой причудливой ассоциации — скорей всего, по контрасту — я вдруг вспомнила о нашей послевоенной московской коммуналке, где в коридоре без окон висела на грязном шнуре под потолком тусклая запыленная лампочка, мертвенно-желтого света которой едва хватало, чтобы не заблудиться по дороге в уборную. Я не вспоминала о ней почти полвека, а тут вдруг ясно увидела длинный темный коридор, антресоли под высоким потолком и сползающее с них колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда. Вспомнила я и обитателей квартиры — и рассказала о них Сереже.

— У тебя готовый рассказ, — сказал Сережа. — Ты записала? Нет? Запиши.

Тогда я не записала. И вот теперь я опять летела тем же маршрутом, так же сияли горы и вулканы, но вместо Сережи рядом сидел необъятных размеров американец, видимо, купивший сразу два билета, потому что стюардесса забрала два нормальных кресла и вместо них притащила и установила одно огромное, специально сконструированное для такого зада. Необъятный американец ворочался и пыхтел рядом и мешал мне вжиться в проплывавший под окном пейзаж. И тогда я снова вспомнила нашу Воронью Слободку, вытащила листок бумаги и стала писать.

Дом стоял на углу Большого Афанасьевского и Сивцева Вражка. Первый этаж его был облицован кафелем: там находился, согласно вывеске, магазин «Мясо Рыба». В те годы

название это не было метафизическим, мясо и рыба в магазине действительно были. К нам это отношения не имело, потому что их выдавали по карточкам, которые нам не полагались: мы были прикреплены к другому магазину. Около дома всегда было оживленно, сновали туда-сюда тетки с кошелками. Потом карточки отменили, продукты куда-то исчезли, и эфемерное «Мясо Рыба» поменяли на более земное «Овощи», которых впрочем там тоже не было.

Мы переехали в этот дом в сорок пятом году из бывшего борделя на углу Мерзляковского переулка, где занимали крохотную комнату в самом конце казавшегося бесконечным коридора. После борделя квартира на Афанасьевском оказалась настоящим дворцом.

Она имела форму буквы «П», повернутой под прямым углом по часовой стрелке и положенной на правую ножку. Входная дверь находилась между ножкой и перекладиной. Семь табличек ее наружной стороне свидетельствовали о том, что в квартире живет семь семей. Кнопок на двери было две, одна — от нормального звонка, другая — от светового, потому что в квартире жили глухие Надя и Веня; световой звонок был протянут в их комнату. Огромный, как медведь, Веня был глухой от рождения, говорить не умел совсем, а только страшно мычал, пил горькую и бил Надю смертным боем. Надя смиренно переносила побои и никогда не жаловалась. Она была маленькая, круглая, уютная и добрая. Мы дружили. Надя научила меня азбуке глухонемых и, вернувшись из школы, я подолгу беседовала с ней на нашей коммунальной кухне, где на семи столиках чадило семь примусов. В отличие от немого Вени, Надя потеряла слух в отрочестве от скарлатины и немой не была.

— Это же можно питаться и питаться, — сокрушенно говорила Надя своим громким, неестественно скрипучим голосом, глядя на щедро срезанные картофельные очистки, выброшенные в помойную корзину соседкой Диной Николаевной.

Дина Николаевна была типичная квартирная склочница. Невысокая, расплывшаяся, с большой бородавкой над верхней губой, она обычно инициировала квартирные скан-

дали. Поводов бывало предостаточно, особенно по утрам, когда всем надо было в одно и то же время явиться на работу, а в квартире была только одна ванная и одна уборная. Был установлен строгий регламент, кто, когда, и как долго пользуется этими удобствами. Регламент этот, по естественным причинам, не всегда удавалось соблюсти, и тут уж наступал час Дины Николаевны. Она была одержима классовой ненавистью и ее вопль «Профессора! Нахалы!» до сегодняшнего дня звучит у меня в ушах. Почему-то она была уверена, что именно мои родители не гасят свет в уборной. Но со мной Дина Николаевна бывала ласкова, зазывала к себе, угощала конфетами, расспрашивала, что за люди приходили вчера к нам в гости, чем занимаются, давно ли знакомы. Я по наивности исправно ей все докладывала.

Рядом с Диной Николаевной жила странная молодая пара. Такого агрессивного еврея-алкоголика я больше не встречала никогда в жизни. Раза два в месяц, теперь я понимаю — с получки, Исак напивался до полусмерти, и тогда его начинали преследовать страшные видения Розиной измены. Он бросался на нее с кулаками, а иногда и с ножом. Происходило это обычно во втором часу ночи. Роза с криком неслась к нам спасаться, за ней, рыча и шатаясь, тащился Исак, но не поспевал. Мой папа выскакивал из постели в белых кальсонах, приоткрывал дверь, впускал Розу и тотчас снова запирал дверь на ключ. Исак бесновался снаружи и требовал выдать Розу. Тогда из своей комнаты появлялся Николай Николаевич Воронин. Он говорил что-то Исаку тихим строгим голосом, и тот сразу утихал и убирался к себе, а Роза до утра плакала, сидя у нас за обеденным столом. Уложить ее было некуда. В небольшой проходной комнате, служившей одновременно гостиной, кабинетом, и спальней, и так уже спали мама, папа, и Розальвовна; в крохотной соседней комнатке располагались я и няня Ксения. Сестра моя Ляля, уже студентка, жила отдельно у тети Анны. И все-таки у нас, единственных во всей квартире, было целых две комнаты! Соседке Дине Николаевне трудно было это пережить.

Утром смущенный Исак приходил к нам каяться и забирал Розу домой, но через две недели все повторялось с регулярностью часов.

Усмирявший Исака Николай Николаевич был полковник МГБ. В квартире он пользовался большим и заслуженным авторитетом. Он был высокий, сухопарый, подтянутый; никогда не принимал участия в квартирных склоках. Вся квартира знала, что Николай Николаевич спит с соседкой, сдобной Ниной Ивановной. Не знал этого только муж Нины Ивановны, тихий бухгалтер Вячеслав Александрович. А когда узнал (думаю, не без помощи Дины Николаевны) — умер от горя и инфаркта.

В квартире была еще одна семья. Мария Яковлевна и Женя Ивановы жили в маленьком чулане при кухне, без окна, рядом с черным ходом. Мария Яковлевна была учительница, Женя — студент, ровесник моей сестры. Почему они жили в чулане при кухне? Тогда я не задавалась этим вопросом. Скорее всего, Жениного отца посадили, квартиру отняли, и переселили их с матерью в наш чулан. Впоследствии Женя стал профессором.

В пятьдесят первом году мы переехали из «старой квартиры» в новую, кооперативную. Впервые за двадцать семь лет совместной жизни у моих родителей появилось свое жилье с отдельной спальней. Оттуда через полтора года папу увезли на Лубянку, но история, как вы знаете, имела счастливый конец.

В «старой квартире» я больше не бывала, но всегда мечтала посмотреть, что там делается без нас. Несколько лет назад, приехав ненадолго из Америки, я шла со своей подругой, журналисткой Леной Платоновой, по Гоголевскому бульвару и вдруг поняла, что мы находимся в двух шагах от дома, где прошло мое детство. Я безумно захотела туда зайти. Лена отнекивалась, говорила, что это неудобно, но журналистский интерес победил, и вот мы уже стоим перед знакомой дверью. На ней попрежнему висит несколько табличек, но кнопка звонка теперь только одна. Фамилии на табличках все незнакомые. Впрочем, чего я ожидала, прошло ведь не



много не мало пятьдесят лет! Мы позвонили наугад. Открыла дверь недовольная женщина средних лет. Мы с Ленкой сбивчиво объяснили, зачем явились, но дальше коридора она нас не пустила.

Под потолком висела запыленная электрическая лампочка, освещавшая коридор мертвенно-желтым светом. С антресолей под высоким потолком сползло колесо неизвестно кому принадлежащего велосипеда.

#### Post Scriptum.

Когда через несколько лет я снова попыталась проникнуть в «старую квартиру», на двери подъезда оказалась красивая резная решетка и был установлен домофон.

## ЕЩЕ НЕ ГАЗЕЛЬ (ХРОНИКА ОДНОГО МЕНИНГИТА)

### Предисловие

Началось все в субботу с легкого насморка. По привычке выбивать клин клином, я отправилась на гору кататься на лыжах. Откровенно говоря, даже по Московским масштабам это была не гора, а так — пригорок на канале, однако с собственным нежным именем — Лизаветка.

Был лютый январский мороз, я заоченела и помчалась отогреться в близлежащий бассейн. День клонился к вечеру, дежурная тетя Нюра торопилась домой и выгнала меня из бассейна на улицу с мокрой головой. Волосы сразу обледенели и тускло поблескивали рыжим из-под прозрачной короны. Так, наверно, выглядели Кай и Герда в плену у Снежной Королевы.

### *Понедельник и вторник*

Несмотря на принятые крутые меры, насморк не полегчал. Кто-то все время колотил мне в виски маленьким молоточком. Надо было бы отлежаться, но я не могла: на работе шел эксперимент, почему-то казавшийся тогда очень важным, да плюс к этому я начала изучать японский язык. Наш «сенсей» гнал нас диким темпом — катакана, хирагана, иероглифика — пропустишь один четырехчасовой урок и вовек не догнать. Поэтому и в понедельник, и во вторник я была на работе.

### *Среда*

В среду утром я не смогла оторвать голову от подушки. Это не литературный образ: я пыталась поднять голову, но она была налита свинцом, а приподнимались почему-то ноги. Мысли разбегались, как тараканы из раковины с невымытой посудой, когда после войны на нашей коммунальной кухне

зажигали свет. Невероятно трудно было сосредоточиться, чтобы что-нибудь разумное предпринять. Все же я заметила, что рядом с кроватью на стуле лежит термометр и стоит телефон: видимо, уходя на работу, Володя чувал неладное. Сделав невероятное усилие, я поставила подмышку термометр и переставила телефон себе на грудь. Термометр поразительно быстро показал сорок один с хвостиком. Я была в курсе, что сорок два — это предел, и до него сейчас оставалось рукой подать. Все же я еще сумела набрать Володин номер, но говорить уже не могла. Видимо, я потеряла сознание, потому что уже в следующую минуту увидела над собой встревоженное Володино лицо и удивилась, как это он в мгновение ока перелел с Таганки на Сокол. Пришла районный врач, поставила диагноз — грипп, и выписала бюллетень.

### *Четверг*

В четверг стало еще хуже. Страшно болела голова, очень тошнило и часто рвало. Голова по-прежнему не отрывалась от подушки, а когда ее поднимал Володя, с ней вместе поднимались ноги, изгибая меня причудливой дугой. Володя перестал ходить на работу и дежурил рядом со мной.

### *Пятница*

Казалось, что хуже не бывает, но все-таки в пятницу стало еще хуже, и решено было пригласить ко мне специалиста по инфекционным болезням. Корифеем в этой области тогда считался профессор Уманский. От папиной просьбы проконсультировать меня он в восторг не пришел. В те годы еще сильны были этические нормы доктора Чехова, и врачи у врачей не брали денег за визит. Может быть, поэтому Уманский приехал очень раздраженный, поцелкал пальцами у меня перед носом и поставил диагноз: холицистит. Диагноз несказанно удивил моих близких, но спорить с корифеем папа не стал. Уманский пропел навязшую в зубах песню про жареное, соленое и острое и собрался уходить.

— Но Наташа совсем ничего не ест и не пьет, не может, — пожаловался Володя.

— А на это Вы ей скажите, что тощая корова — еще не газель, — отбрил его Уманский и с этим отбыл.

Я все это знаю больше по рассказам, потому что, периодически теряя сознание, присутствовала при визите Уманского только частично.

### *Суббота*

В субботу стало невыносимо. Рвало почти непрерывно. Володя приподнял мою голову, пытаясь напоить чаем, и вдруг усы его медленно растаяли, а вместо лица перед глазами остался странный прозрачный пустой свет. Я заорала, что ничего не вижу, и потеряла сознание. Когда я пришла в себя, Володины усы были на месте. Я очень обрадовалась и хотела сообщить, что опять вижу, но тут оказалось, что я не могу говорить: вместо слов изо рта вырывалось нечленораздельное коровье мычание. Это было очень страшно, еще страшнее, чем ослепнуть, и я опять потеряла сознание. Так стремительно нарастал отек мозга.

Когда я пришла в себя, и зрение, и речь оказались на месте, а рядом со мной сидела моя старшая сестра Ляля.

— Наташка, ты хоть понимаешь, что ты у нас умираешь? — спросила Ляля. Моя сестра умеет в нужный момент ободрить.

Я не то чтобы понимала или не понимала — я в этих категориях не мыслила. Мне было все равно. Единственное мое желание было, чтобы перед смертью меня хоть на одну секунду перестало тошнить.

Приехала Скорая Помощь. Молодая симпатичная врач поставила диагноз -менингит и вызвала перевозку.

— Куда вы ее повезете? — спросил папа.

— В ближайшую больницу, Первую Инфекционную.

— Кто там заведует отделением?

— Профессор Уманский.

Папа вздрогнул. Не далее как вчера Уманский сказал, что у меня холицистит и никакой госпитализации не требуется. Как же теперь везти меня в его отделение и ставить его в такое неловкое положение! Даже в этот вполне трагический момент папа думал об этике. Но молодая врач была не-

преклонна: Первая Инфекционная — ближайшая больница, и нельзя поручиться, что меня довезут живой даже туда. Однако довезли. Первую пункцию мне делали тут же по приезду, прямо в коридоре Приемного Покоя. Когда воткнули иглу в спинной мозг, оттуда ударил настоящий фонтан. Я пришла в себя и слышала возбужденные восклицания врачей. Женщина в белом халате вертела у меня перед носом пробирку со спинномозговой жидкостью и говорила:

— Смотри, смотри, прозрачная! Менингит вирусный! Жить будешь!

Пункция сняла отек мозга, и мне сразу стало легче. Перестало тошнить, по всему телу разлилось блаженство. Меня перенесли в палату, поставили капельницу, и впервые за последние дни я заснула, а не потеряла сознание. И хотя температура у меня то падала до тридцати пяти, то опять подскакивала до сорока одного, воскресенье прошло все в том же райском блаженстве.

### *Понедельник*

В понедельник со свитой придворных в палату вплыл Уманский. Свита подобострастно смотрела ему в рот и записывала каждое слово, по-моему, даже задумчивое «Хм-м». Уманский опять пощелкал пальцами у меня перед носом, приказал сделать эхо-энцефалограмму и поставил диагноз: абсцесс мозга.

Это был не диагноз, это был приговор. Удивительно, но дистанция от холицистита до абсцесса мозга, пройденная Уманским за два выходных дня, его нисколько не смущала. Он объявил свой приговор папе: единственная надежда, и та весьма призрачная, это срочная операция. Надо переводить больную в нейрохирургию. Хорошая нейрохирургия есть в Боткинской больнице.

Чудо все-таки, что папа выжил. В свои восемьдесят лет он бежал бегом почти километр от корпуса, где я лежала, до такси, чтобы нестись в Боткинскую и там договариваться о срочной операции.

Я ничего этого не знала. Обколотая антибиотиками, я лежала с капельницей в теплой палате в полной нирване,

когда вдруг туда явились мужики с носилками, медсестра отсоединила капельницу, и меня в одной рубашенке, набросив какую-то дурно пахнущую черную шинельку, с непокрытой головой вынесли на двадцатиградусный мороз и водрузили в ледяную перевозку. И я поняла, что это конец.

Но видимо, меня так просто не возьмёшь: мы доехали!

В Приёмном Покое Боткинской больницы с меня в первую очередь сняли чужую рубаху и отослали законным владельцам, а вместо нее надели рубаху нейрохирургического отделения, порванную от горла до паха, зато украшенную многочисленными штампами и печатями, чтобы другим отделениям или самим больным не пришлось в голову эту рубаху, чего доброго, стянуть.

В тот вечер в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы дежурил молодой врач Володя Пумырзин. Как и Уманский, он сделал эхо-энцефалограмму и сказал удивленно:

— Нет у Вас никакого абсцесса мозга ( а я и не знала, что у меня такой диагноз!). Банальный менинго-энцефалит. Вы не наша больная. Жить будете.

— Не буду! Не буду я жить, если Вы сейчас опять выгоните меня голую на двадцатиградусный мороз и отправите к этому тусклому светиле Уманскому! Пожалуйста, оставьте меня у вас! Будьте моим доктором!

С большей мольбой я бы не могла сказать любимому: будьте моим мужем! В этот момент я страстно хотела жить.

Пумырзин чрезвычайно удивился этой эскападе.

— Да я и не собираюсь Вас никуда отправлять. Вас сейчас отвезут в палату. Для Вас уже готова палата на двоих, у Вас будет только одна соседка.

## **Только одна соседка**

Меня поместили в палату для блатных. Второй блатной в моей палате оказалась огромная седая старуха с торчащими в разные стороны патлами и белыми от безумия глазами.

Впоследствии выяснилось, что она тетка медсестры, обезумевшая после инсульта. Медсестры были на вес золота, и безумную тетку взяли в нейрохирургическое отделение без всяких разговоров. Кстати, нянечки в отделении не было вообще. Вернее, была одна восьмая нянечки — то ли она приходила один раз в восемь дней, то ли приходила каждый день на один час — не знаю, потому что мне эта одна восьмая за два месяца не досталась ни разу. Володе и друзьям пришлось её заменить, но об этом позже.

Когда меня внесли в палату, Тетя Шура (так звали старуху) сидела на кровати и что-то бормотала себе под нос. Едва меня перевалили с носилок на койку, в палату ворвался Володя с ватным одеялом и теплой шапкой — с этим хозяйством он явился в инфекционную больницу, но опоздал к перевозке, и меня, как я уже докладывала, увезли почти голую. Некоторое время тетя Шура внимательно, и, казалось, осмысленно разглядывала Володю. Потом вступила с ним в разговор:

— Молодой человек, Вы из Подольска?

Володя опешил:

— Да нет, я из Москвы.

— Сейчас уже поздно ехать в Подольск, — сообщила тетя Шура. — Ложитесь здесь, хотите — со мной, хотите — с этой блядью.

...Соседка тетя Шура оказалась настоящим проклятием моей больничной жизни. Если Бог хотел меня за что-то покарать, более изощренной пытки придумать он не мог. Я была абсолютно беспомощна — месяца полтора голова моя так и не отрывалась от подушки, я даже поворачивать ее могла не больше, чем на миллиметр — два. Так я и лежала, глядя в одну точку, и досконально, до мелких деталей, изучала узор потеков на потолке палаты. Двигались только руки, которыми я на ощупь находила стоявшие рядом предметы первой необходимости — поильник с водой на тумбочке, судно на стуле. Нянечки, как я уже докладывала, в отделении не было, так что в отсутствие Володи или друзей приходилось быть на самообслуживании. А мне, чтобы предотвратить дальнейший отек мозга, давали мочегонные, в

результате чего самообслуживаться надо было довольно часто. А тётя Шура, ходячая больная, воровала у меня судно. Она подставляла свое судно под одну половинку своего гигантского зада, мое — под вторую, и справляла нужду между ними... На полу стояла непрсыхающая вонючая лужа, которую иногда забегала вытереть ее племянница, а мой мочевого пузырь лопался от напряжения, и я тихо и безнадежно плакала в ожидании своих спасителей. От этой пытки мне становилось все хуже и хуже. В конце концов я взмолилась, и по папиной просьбе меня перевели в другую, не такую блатную палату.

## День Выборов

Переезд на новое место жительства был целым событием. Вызвали санитаров, которые перевалили меня с кровати на носилки, нашли медсестру, которая перестелила на мою новую кровать мою старую простыню. Температура у меня попрежнему прыгала с сорока до тридцати пяти, я постоянно плавала в липкой жиже, и вскоре надетая на меня в приемном отделении драная рубаха стала похожа на пробитую ятаганом кольчугу, а простыня приобрела цвет какао с молоком. Так я и лежала, как раненый средневековый рыцарь, брошенный на поле боя среди вонючих тел — домашнее белье в нейрохирургическое отделение приносить было нельзя, да если б и можно — Володе одному, без носилок, не под силу было справиться с такой задачей.

Однажды ночью у меня заболело сердце. Заболело внезапно и сильно, но ночью некого было позвать на помощь. Начался перикардит, вызванный тем же вирусом, что и менингит: злой вирус докочевал от мозга до сердца. Я мучалась всю ночь, и забылась только под утро, когда уже светало.

Проснулась я внезапно, в ужасе от громкого, как выстрел, стука. Сердце бешено колотилось где-то в горле, готовое навсегда вылететь изо рта при малейшем движении или кашле. Надо мной стояли три ангела в белоснежных одеждах и колпаках, один из них держал в руках деревянную урну. В воспален-



ном мозгу на мгновение мелькнула догадка, что ночью я умерла, и ангел держит в руках урну с моим прахом. В это время второй ангел сунул мне в руку какие-то бумажки и рявкнул:

— Голосуйте!

И тут я разглядела, что у ангела с бумажками зверское лицо старшей медсестры нейрохирургического отделения.

— Голосуйте! — снова приказала ангел с бумажками, дёргая меня за руку, в то время как вторая ангел наклонилась, чтобы подставить урну, а третья ангел произнесла хриплым пропитым басом:

— Поздравляю с Днем Выборов!

Не могу передать, какое меня охватило отчаяние. Поражительно, как я не умерла на месте от резкой боли в сердце, от беспомощности, от обиды, от ненависти. Но тут внезапно, как в свете молнии, я увидела, что судьба дарит мне, быть может, единственный в жизни шанс поменять простыню. И меня захлестнула и понесла волна гражданского мужества.

— Не буду голосовать! — сказала я твердо. — Перестелите постель, поменяйте рубашку, принесите лекарства от боли в сердце — тогда, может быть, поговорим!

— Голосуйте! — снова рявкнула старшая медсестра. — Вы что, с ума сошли?

Согласитесь, довольно нелепый вопрос, обращенный к больному менингитом. На это я ей и указала.

— Поменяйте белье, — сказала я устало и закрыла глаза, давая понять, что вопрос исчерпан и аудиенция окончена.

Они еще немного постояли надо мной, потом повернулись к соседней койке. В глазах милой моей новой соседки ясно читался ужас от того невысказанного, чему она стала невольной свидетельницей: человек в Советском Союзе отказался голосовать!!!

Соседка послушно бросила свои бюллетени в урну, и ведьмы покинули поле сражения. Следует признать, что бой был мною проигран вчистую: простыни мне так и не поменяли, к тому же не сомневаюсь, что в коридоре ведьмы бросили в урну мои бюллетени. И всё-таки поражение моё не было сокрушительным: меня грело сознание, что даже в менингите

я не замарала своих рук вонючими бюллетенями и не приняла участия в этом фарсе — как не принимала его и прежде, в здоровом уме и твердой памяти.

## Ворохобов

Соседка вернулась с новостью: в коридоре стелют красный ковер, кого-то ждут. Сбегала уточнить: ждали Ворохобова, большую шишку, то ли зав отделом ЦК по медицине, то ли замминистра. Примчалась взмыленная фашистка, наша старшая медсестра: немедленно навести порядок в палате! Вещи — в тумбочку, судно — под кровать!

— Обязательно, — сказала я, — так и поступим. А в придачу, я откину одеяло — пусть гражданин начальник полюбуется на мою подушку и простыню.

И не поверите: через несколько минут явились санитары с носилками и медсестра с чистым бельем, и вот уже я лежу, как невеста, на хрустящей простыне, благоухая свежестиранной рубашкой!

Надо ли вам объяснять, что Ворохобов не приехал!

Чистая простыня оказала магическое действие, и с этого дня я уверенно пошла на поправку.

### *Восьмое марта*

Восьмое марта в нашей семье — особый день. Было бы, пожалуй, неправдой отрицать его причастность к всенародному празднику, потому что в тот далекий год, о котором пойдет речь, к двум недавно объявленным выходным дням примкнул третий — восьмое марта. Познакомившись перед тем за неделю, мы провели эти три дня вместе, и они обернулись почти сорока годами... Володя любит повторять, что его сгубила пятидневка. События тех дней я описала в единственных своих лирических стихах:

Какое, право, наслажденье  
Отметить день грехопадения,

Когда за рыжую косу  
Он полюбил меня в лесу  
И в страсти бурной, как в ознобе,  
Готов был тут же пасть в сугробе.

Но в нем прочтя свою судьбу,  
Я увела его в избу,  
Где он меня, скажу без лести,  
Весьма лишил девичьей чести,

Которой, если вспомнить строго,  
и оставалось-то немного!

С тех пор до гробовой доски  
Попала я в его тиски.  
Но так прекрасна эта клетка,  
Что я о том жалею — редко.

В этих стихах всё — чистая правда. В том году папа достал мне путевку в Дом Творчества архитекторов в Суханово. Это бывшее имение князей Волконских, спасенное архитекторами от разорения. В моей комнате даже висела табличка, что именно здесь останавливался Лев Николаевич Толстой, приезжая к Волконским в гости. В Суханово я была впервые, окрестностей не знала и, бродя на лыжах по лесу, неожиданно вышла на высокую крутую гору. Виляя коленками, по ней катили горнолыжники, а по проложенной рядом лыжне неслись вниз сломя голову сумасшедшие мальчишки. Я и в мыслях не имела следовать за этими самоубийцами, просто наслаждалась мартовским солнцем да удивлялась горнолыжникам, которых видела впервые в жизни. И тут рядом со мной вдруг возник высокий красивый человек с интеллигентным лицом; на вид ему было лет тридцать. Человек вступил со мной в беседу:

— У Вас лыжи намазаны?

— Нет.

— Тогда Вам ни в коем случае нельзя ехать с этой горы: здесь раскатывает, а внизу подтаяло и тормозит. Разобьетесь.

Я хотела-было ему объяснить, что не настолько уж я псих, чтобы так рисковать своей головой, но почему-то не стала. Человек стоял и смотрел на меня и явно искал повода продолжить диалог, и так же явно его не находил, и мне показалось, что он в конце концов махнул рукой и сейчас уедет. Высокий, красивый, с интеллигентным лицом. И тогда я встала на лыжню, закрыла от ужаса глаза, и сиганула вниз.

Все было, как он и предсказал. Вверху разнесло, внизу притормозило. Выкапывая мою голову из пробитого ею наста, Володя приговаривал нараспев:

— Я же Вас предупреждал!

Когда теперь, бывает, он упрекает меня в безрассудстве и авантюризме, я напоминаю:

— Ты все знал с первой минуты!

Версии того, что произошло дальше, у нас расходятся. Володя утверждает, что выкопав меня из наста и поставив на ноги, бросился наутек, а я помчалась за ним. Версия сомнительная и не выдерживает критики: у него был первый разряд по лыжам, а я была сильно травмирована в разных местах и едва держалась на ногах, так что если он и удирал, то стараясь, чтобы я не отстала. На самом деле он проводил меня до архитекторов, а на другой день, в воскресенье, пришел справиться, как я себя чувствую. Потом у него была рабочая неделя, за которой, как уже сказно, наступило восьмое марта. К этому моменту я твердо знала, что если он не придет, жизнь моя будет навеки погублена. Но он пришел, и целый день водил меня по лесу, а к вечеру, когда я уже совсем выбилась из сил, мы вышли к какому-то поселку.

— Скажите-ка, какая неожиданность, — сказал Володя, — моя хата!

Мы зашли. На столе в стакане стоял букетик ландышей, бутылка вина и лежала плитка шоколада. Было очевидно, что маршрут нашего сегодняшнего путешествия был Володи глубоко продуман.

Так это началось.

Через несколько лет мы поженились официально, но отмечаем, конечно, не день регистрации, а восьмое марта. К этому дню я обычно сочиняла какие-нибудь смешные стишки.

Но полтора десятилетия спустя я оказалась восьмого марта прикованной к постели по существенно менее романтическому поводу. Было безумно обидно. Чтобы не нарушать традицию, я решила сочинить стишки. Стишки получились такие.

Вы решили, что палата здесь больничная —  
Мысль простая, но не слишком симпатичная.  
А у нас внутри — банкетный зал,  
Соки, фрукты, панангин и люминал.  
Две чаровницы вас ждут уже в халатах,  
Пеньюары их в печатях и заплатах.  
Их не надо очень долго умолять -  
Сами лягут, и охотно, на кровать.  
Где найдете столько силы и азарта?!  
Проводите только здесь Восьмое Марта!

Милой моей соседке так понравились стишки, что она их немедленно под диктовку записала и прилепила пластырем снаружи на дверь. И на этот призыв к нам в палату потянулись нейрохирургические больные — с перевязанными головами, с лысыми черепами, на костылях, на ходунках. Стало душно, шумно, и весело. Малину эту разогнал дежурный врач. Он приказал снять стихи с двери, но вскоре вернулся и сказал заговорщически:

— У моей сестры день рождения. Я иду к ней после дежурства. Вы бы не могли написать ей стихи?

Я написала. Весть о моем «поэтическом даре» быстро облетела Боткинскую больницу, и вскоре ко мне потянулись с заказами врачи других отделений. В виде гонорара они заглядывали мне в ухо, горло, нос, в глаза и всюду, где положено, так что я была медицински обслужена по высшему разряду. Я же, со своей стороны, лежа в менингите, изрядно отточила свое поэтическое мастерство.

Это стало частью теста, который, с тех пор как я пришла в себя, занимал все мое время и внимание: я пыталась выяснить, что унес с собой менингит. Одна потеря обнаружилась сразу: исчезла фотографическая память, которую я раньше нещадно эксплуатировала по линии истории, географии, литературы. На их месте остался чистый лист, который мне предстояло заполнять вновь с нуля. Интересно, что совершенно не пострадали стихи, которых я знала великое множество — очевидно, в мгновенном их запоминании участвовала другая — не фотографическая, а эмоциональная память. Сохранились и профессиональные логические навыки, и, глядя в потолок, я сочиняла и решала в уме нехитрые кинетические схемы.

Из потерь самой неприятной, пожалуй, оказалась разрушение связи между знакомым лицом и именем, более того — личностью человека, которому лицо принадлежит. Из-за этой потери я постоянно попадаю в страшно неловкие ситуации. Дорогие, не обижайтесь: всё-таки у меня был — менингит!

## На поправку

Наступил день, когда Пумырзин подтянул меня к спинке кровати, посадил и отпустил. Голова моя болталась из стороны в сторону, как у кошерно зарезанной курицы, и бессильно падала на то, что когда-то было грудью; я валилась и валилась в сторону, а Пумырзин сажал меня снова, орал: «Держать голову! Держать голову!» — и предательски отпускал. Сжав зубы, я старалась изо всех сил и в конце концов несколько секунд просидела с поднятой головой. Дома по этому случаю был банкет с водкой. Друзья рассказывали потом, как, отравленные стереотипами, они вздрогнули, когда ликующая Вика сообщила им по телефону: «Маму сегодня посадили!».

Не успела я научиться по-человечески сидеть, как неугомонный Пумырзин поставил меня на ноги. За минувший месяц отношения врач — пациент переросли у нас в дружбу, дополнительно скрепленную общей любовью к хорошей поэзии. В вечера дежурств в свободную минутку Пумырзин за-

бегал ко мне в палату, и мы наперебой читали друг другу Пастернака, Ахматову, Волошина. Может, он так же, как и я, проверял таким образом, что во мне сохранилось — а может, просто уходил на короткие мгновения из мира скорби в мир поэзии. Пумырзин был молодой, красивый, здоровый и сильный, и на его фоне мое бессилие выглядело еще ужаснее. Безумно унижительно было падать на подламывающих ногах к нему в объятия — хотя при других обстоятельствах я бы, может, и не отказалась. Наша дружба стала для меня сильным стимулирующим фактором. Вскоре я прошла сама от кровати до двери, а потом и по коридору, и тут меня выписали.

Через несколько дней я уехала окончательно выздороветь в академический санаторий в Успенском. Была ранняя весна, от оттаивавшей земли шли пряные запахи, и мы стремительно возвращалась к жизни — небольшая дружная компания заглянувших в бездну, но удержавшихся на краю.

...В Боткинской больнице я провела месяца полтора, из которых большую часть лежала без движения, глядя в одну точку. И все это время, по составленному Володей расписанию, три раза в день ко мне приходили друзья — кормили, умывали, утешали. И почти ни разу никто не повторился. Конечно, приключись менингит в Америке — таких сногшибательных усилий со стороны Володи и друзей не понадобилось бы. И все-таки я часто думаю: случись это в Америке — кто бы пришел слезу пролить над ранней урной?

## АФАНАСИЙ: СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

Нельзя сказать, что Афанасий был из хорошей семьи: мы купили его за три рубля у какого-то пропойцы на Птичьем Рынке. Пропойца вертел его за хвост и хрипел:

— Купите кота, а то удушю!

Был день хоккейного матча, пропойце позарез нужны были три рубля. Он торопился и нервничал, и было очевидно, что он уже созрел и вот-вот приведет угрозу в исполнение.

Котенок был крохотный, полосатый, с мутными глазками. Как-то сразу стало ясно, что он — Афанасий, для родственников и друзей — Афоня. Он вовсе не обещал вырасти таким красавцем, каким стал в отрочестве.

В понедельник на работе я сообщила, что совершила акт беспредельного гуманизма, купив за три рубля на Птичьем Рынке помоечного кота. Мы кормили его из соски и учили пользоваться туалетом.

Месяца через три ко мне по каким-то делам забежал Володька Дубинский, мельком взглянул на мое приобретение, сказал:

— Тебя обманули! Это не помоечный кот, это — сибирский!

Афанасий действительно на глазах превращался из гадкого утенка в прекрасного лебедя. У него была густая шерсть разнообразных пастельных оттенков, пышные галифэ на ляжках и величественная походка; сосед Леня Бриль из уважения звал его Иннокентием и обращался к нему не иначе как «Товарищ Генерал».

Котенок оказался на редкость смышленным, и я даже подумывала, не сменить ли ему имя на Эйнштейн, но Володя воспротивился: во-первых, внешностью он был чистый Афанасий, а во-вторых, говорил Володя, нечего портить коту прекрасное пролетарское происхождение еврейской фамилии. Наш предыдущий котенок Мозя Кожушнер кончил трагически: прихватил от кого-то на даче стригущий лишай, я повезла его на консультацию в ветлечебницу, его забрали в



кабинет и, ничего мне не сказав и ни о чем не спросив, вынесли через несколько минут маленький взъерошенный трупик. На мой истошный вопль хладнокровно отрезали:

— Мы стригущих лишаев не лечим. Мы их уничтожаем.

Легко догадаться, что заразившуюся от Мози Вику я в поликлинику не повела.

Володя считал, что Мозю сгубило еврейское имя, которое, как известно, в Советском Союзе никому впрок не идет. В других частях света, впрочем, тоже. Надо отдать Володе должное, он возражал против этого имени с самого начала — жалел кота, а я подозревала, что ревнует. Мозя был назван в честь коллеги, который мне его подарил. Я ездила с коллегой на Саяно-Шушенскую ГЭС читать лекции о научно-техническом прогрессе, по линии общества «Знание». Привезла оттуда посвященные спутнику стишки-алиби:

А дома, кушая азу,  
Я вспомню вдруг про Абазу,  
И склоны солнечной Хакассии,  
Где я не стала Вашей пассией,

Где не на горку, и не в лес —  
Мы с Вами лазили на ГЭС,  
И, не неся любовной вахты,  
Мы просвещали кадры шахты.

В наш век технический прогресс  
Успешно побеждает секс...

Травмированные трагической судьбой котенка Мози, мы лишили Афанасия радости общения с подругами, за что я до конца его долгой жизни испытывала острый комплекс вины. Всю свою неостребованную любовь Афанасий перенес на нас с Викой. Он любил нас нежно, хотя ни в грош не ставил, зато глубоко, я бы сказала даже панически уважал Володю. Каждое утро у нас в доме повторялся некий ритуал. Володя уходил на работу раньше всех; хлопала за ним входная дверь,

и тут же раздавался тяжелый галоп Кота. Он с разбега вышибал дверь спальни, гигантским прыжком взлетал на кровать, ложился мне на грудь, обнимал лапами за шею, лизал подбородок и пел от нежности и счастья. Однажды Володя что-то забыл, вернулся и застал эту картину.

— Афанасий! — возмутился Володя, — это мое место!

Кота как ветром сдуло. Но справедливо полагая, что Володя не настолько стар, чтобы каждый раз что-нибудь забывать и возвращаться, Афанасий уже на следующее утро исправно пел у меня на груди.

Володя и Кот общались с помощью тонко разработанной знаковой системы. Однажды я заболела тяжелым гриппом, и, чтобы никого не заразить, отправилась спать в столовую. Сообразительный Кот мгновенно просек, что я сплю одна, и перенес свой утренний трюк на ночное время. Часа в три ночи он вышибал дверь столовой, прыгал мне на грудь и приставал с нежностями. Мне и без того было плохо, а тут еще этот негодяй пугал меня до полусмерти и не давал спать. Тогда Володя поставил перед закрытой дверью столовой свой кед. Кот понял намек и больше меня не беспокоил.

Афанасий и Володя любили смотреть вместе хоккей. Они садились рядышком на диване, уставившись в телевизор. Афанасий водил глазами за шайбой, а порой бросался к экрану и пытался поддеть ее лапой.

К остальным телепередачам, включая Новости, он относился равнодушно. Сидя рядом с Володей на диване, он уходил в себя и думал о чем-то своем, глядя в пространство. Иногда мысли эти были тревожные и неприятные, и он нервно подёргивал хвостом.

— Я думаю словами, — заметила как-то Вика. — А чем думает Афанасий? Мяуканьем?

В том, что Кот *думает*, ни у кого из нас сомнений не было.

У Афанасия была очень богатая артикуляция. Вечерами, когда я возвращалась с работы, он держал длинную и эмоциональную речь, рассказывая о событиях за день. Его московская жизнь протекала в замкнутом пространстве нашей квартиры и не была богата приключениями. А душа просила про-

стора. Нам приходилось внимательно следить, чтобы Кот не удрал на лестничную клетку. Дело в том, что он облюбовал себе место в подвале, под дверью архитектора, спроектировавшего сантехнику нашего дома, и справлял там большую нужду. Этим он, повидимому, хотел выразить свое отношение к дизайну нашего сортира. Архитектор энергично протестовал против такой формы критики и даже подал в товарищеский суд. «Признайте свою вину и попросите суд сохранить Вам жизнь», — напутствовал меня Юлик Даниэль. Я извинялась, била себя кулаком в грудь и носилась вслед за Котом с совком и ведром, но я не всегда бывала дома, и Кот искусно ловил момент, удирал на лестничную клетку и вихрем мчался гадить под архитектурскую дверь.

Если это не удавалось, Коту приходилось пользоваться нашей квартирной уборной. Российская цивилизация тогда еще не дошла до горшков со специальным благоухающим песком, принятых на Западе, и Кот справлял нужду в покрытую вчерашней газетой фотографическую кювету. Он был очень чистоплотен. Когда мы возвращались с работы, он первым делом требовал, чтобы ему постелили свежую газету, даже если в данный момент не планировал ею пользоваться; он выразительно смотрел мне в глаза, коротко мяукал и вел к уборной. При этом ему было не все равно, что ему подстелили. В отличие от циничных сограждан, Кот не какал на портреты в черной рамке на первой полосе газеты. Сначала мы думали, что это случайность, и повторяли эксперимент, благо жизнь предоставляла для этого достаточно возможностей. Оказалось, что Кот не делал этого принципиально: он в равной степени категорически отказывался какать на портреты Брежнева, Андропова и Черненко и орал до тех пор, пока портреты не переворачивали лицом вниз. «Какой уважительный кот!» — удивлялась наша домработница Нина Ивановна.

Поменяв Коту газету, мы шли на кухню ужинать.

Афанасий в еде был разборчив и на что попало не зарился; другим деликатесам предпочитал мороженого минтая, пока однажды случай не послал мне маленькую черырехрублевую коробочку мороженой осетрины. По дороге домой осет-

рина слегка оттаяла и благоухала из моей сумки. Когда я вошла в квартиру, с котом случилась истерика. Истошно вопя, он стал делать вокруг меня какие-то немислимые кульбиты, дергал за юбку, рвал из рук сумку и пытался разодрать ее когтями, чего раньше никогда себе не позволял, будучи воспитан в интеллигентной семье; весь наносной лоск с него разом спал. Коту достались осетровые хрящики. С той поры, встречая меня у двери, он каждый раз с вопросом и надеждой смотрел на мою сумку, но такая удача ни в его, ни в моей жизни больше не повторилась...

Хека Кот не любил. Помните, была реклама:

Каждый русский человек  
Должен кушать рыбы хек.  
Кто за хеком не бежит,  
Тот татарин или жид.

Кот на такую дешевку не поддавался и хека ел только в исключительных случаях, когда ничего другого под рукой не было.

А сосисок Кот не ел совсем: он на них охотился. Дашь ему сосиску, он начнет ее подбрасывать, ловить, гонять по полу — видимо, принимал за мышь. Это наводило меня на грустные размышления — я подозревала, что Коту виднее. Однажды Кот загнал сосиску под буфет и сутки ее караулил, распластавшись перед буфетом в напряженной охотничьей позе и нервно подергивая хвостом в ожидании, когда она выскочит. Потом потерял интерес и о сосиске забыл.

...Из поездки в Израиль в восемьдесят девятом году я привезла Афанасию банку заморских кошачьих консервов. Володя угощать Кота не стал — сказал, что консервы надо оставить на черный день, который вот-вот непременно наступит. Черный день наступил два года спустя, когда мороженый минтай куда-то уплыл, за ним последовал хек, и в нашем рыбном магазине стали продавать чудовищного вида женские трусики, которых Кот не ел. Тогда Володя открыл заветную банку. И представьте — Кот страшно заорал, стал

трясти над ней лапой, отшвырнул в сторону, выскочил из кухни и сутки туда не заходил, ожидая, чтобы выветрился запах заморского деликатеса.

— Может, консервы протухли? — предположила я.

— Да нет, хорошие, я пробовал, — ответил Володя.

...Ничто человеческое было Коту не чуждо. Воспитание и внешний лоск скрыли, но не подавили черты, обусловленные происхождением и наследственностью. Кот был вороват и имел тенденцию к пьянству. Запах валерьянки приводил его почти в такое же неистовство, как запах осетрины, но встречался чаще. Пузырьки с валерьянкой Кот доставал из самых заповедных мест, и, зажав в лапах, зубами откручивал пробку — так откручивает ханыга белую головку в углу продовольственного магазина. Напившись или даже просто нанюхавшись, Кот принимался валяться с боку на бок, после чего вскакивал и кружился в бешеном танце, пытаясь поймать свой хвост. От свойственных ему солидности и самоуважения не оставалось и следа...

Однажды, зайдя в папин кабинет, я застала совершенно булгаковскую картину. Кот сидел в папином кресле в поразительно развязной позе, облокотившись на спинку и раскинув по креслу задние лапы. В передних лапах он держал хрустальную рюмку, из которой папа ночью пил валерианку, и, закинув голову, пытался извлечь оставшиеся на дне вождеделенные капли...

...Склонностью к воровству Афанасий создал однажды совершенно критическую ситуацию. Был папин юбилей, семьдесят пять лет. Ждали кучу гостей. Где-то, по большой проекции, папа достал индейку — это был гвоздь программы. Мы с Володей целый день над ней трудились, чем-то начиняли, мазали, испекли с яблоками и оставили в теплой духовке. Войдя в очередной раз на кухню, я заметила, что дверь духовки слегка приоткрыта. Почуввав недоброе, я открыла дверцу полностью и похолодела от ужаса. Кот лежал сверху на индейке, обнимая ее лапами, словно совершал с птицей половой акт. Он был распластан между индейкой и потолком духовки; в этой позе он застрял и удрать не мог. К тому моменту, когда я его обнаружила, он отъел уже приличный кусок от индей-

киной шеи — к счастью, будучи распластан, он был ограничен в передвижениях и ел только то, что было под рукой. Я застонала от ужаса. Вот-вот должны были придти гости, надо было что-то срочно предпринимать. Отложив воспитательный процесс до лучших времен, мы с Володей осторожно извлекли Кота из ловушки. Он мгновенно слинял на шкаф в передней, оставив нам изуродованную птицу. Проанализировав размеры и форму бедствия, мы сделали небольшую пластическую операцию, с оставшегося счистили, как могли, котовую шерсть и, рискуя индейку засушить, тщательно ее пережарили. Гости потом ели и хвалили, а я так и не смогла до конца вечера оправиться от пережитого стресса. Кота мы тогда воспитывать не стали: к тому моменту, когда гости разошлись, он уже забыл о совершенном преступлении, спрыгнул со шкафа и терся у наших ног. Он бы просто не понял, за что наказан — а в таком случае наказание теряет смысл.

Несмотря на вороватость и склонность к пьянству, у Кота была тонкая душевная организация. Он был болезненно обидчив и ревнив, и мы старались его не травмировать.

...Однажды Вика нашла в нашем московском дворе сбежавшую от кого-то черепаху. Она принесла ее домой и поставила на пол в передней. Афанасий страшно возмутился. Он превратился в огромный надутый шар, взлетел на шкаф и оттуда шипел на черепаху, как кобра. Он объявил голодовку и сидел на шкафу больше суток, пока «эту гадость» не убрали из его дома, подарив друзьям. В этом доме он, и только он один, был хозяин.

... У наших соседей по лестничной клетке был бело-рыжий фокстерьер по имени Молли. Как-то мы ехали в лифте с его хозяевами. Вике было года три.

— Викуля, — сказали соседи, — что ж ты к нам никогда не заходишь? Заходи в гости.

— А вы кто? — спросила Вика. — Вы у Молли живете?

Мы всей семьей жили у Афанасия, это было прекрасное время.

Афанасий прожил долгую и, в целом, счастливую жизнь. Окруженный всеобщей любовью, он умер в девяносто пятом году в возрасте двадцати лет.

## НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ

### История Первая — Случай в Дебрецене

Я искренне уважаю всякую науку, включая теорию вероятности, но моя жизнь давала мне столько поводов в этой теории усомниться, что если бы не вышеупомянутое уважение, я бы непременно усомнилась. Я расскажу вам сейчас одну историю и не обижусь, если вы мне не поверите, потому что если бы эту историю рассказали вы мне, а не я вам, я бы вам не поверила.

Дело происходило в середине восьмидесятых годов в Дебрецене — небольшом городе в центре Европы, в Венгрии. В результате кровавой битвы с околонаучными властями, продолжавшейся три года, я в конце концов получила разрешение поработать три месяца в Университете Кошута Лайоша, где меня все эти три года терпеливо ждали. Иностранцев на нашей дебреценской кафедре в это время было двое — я и французский вьетнамец Хунг Нгуен; через какое-то время к нам присоединился профессор Плеш с супругой, прилетевший из Англии с недельным циклом лекций. Плеш был похож на английского лорда — высокий, породистый, величественный. Жена его Труди была тоже высокая и величественная. Английская королева, оценив её стати и заслуги перед обществом, пожаловала ей титул Дамы, и Труди ему вполне соответствовала.

Наш венгерский хозяин Тибор Келен пригласил своих иностранных гостей на ланч. Таким образом, за столом небольшой отдельной комнаты в столовой дебреценского Университета собралось пять человек, встретившихся впервые и ничем внешне между собой не связанных. Мне выпало сидеть рядом с Труди Плеш. Я заметила, что Труди пристально разглядывает меня, потом она сказала:

— По-моему, Вы еврейка.

Я рассмеялась:

— Вы очень наблюдательны.

Труди оживилась:

— Вы первая советская еврейка, которую я встретила в жизни! Ходите ли Вы в синагогу?

Я опять рассмеялась:

— Знаете ли, в стране, где я живу, мне надо выбирать, куда ходить: в синагогу или в Институт Химической Физики. Туда и туда ходить невозможно. Я хожу в Институт Химической Физики.

Труди:

— Вы не понимаете. Синагога — это не только религиозный институт, даже и не столько религиозный институт — это скорее клуб. У меня вся жизнь вертится вокруг синагоги, и титул Дамы был мне пожалован за мою активность в международной еврейской жизни.

Я сказала:

— Я про Вашу жизнь кое-что понимаю. У моей дочери был приятель, английский славист, он стажировался в Москве. Его родители дважды прилетали его навестить. Во второй раз они привезли кучу подарков для какого-то мальчика, которому они заочно отпраздновали бармицву, потому что он родился в один день с их племянником, а его семья была в списках отказников. Мне пришлось отыскивать для них эту семью. Ни адреса, ни телефона они не знали — ничего, кроме фамилии, которая числилась в каких-то списках. Впрочем, как потом оказалось, телефон бы всё равно не помог, потому что был у них обрезан. Мне было очень нелегко их найти.

Труди вдруг перестала жевать салат, уставилась на меня и полуспросила — полуконстатировала поражённо:

— Вас Наташа зовут?

— Да, а что?

— А Ваших друзей — Яблонски?

— Яблонски.

— Я о Вас в газете читала, — заключила Труди торжествующе.

Я насторожилась:

— В какой газете?!

— В газете Манчестерской синагоги! Ваши друзья, вернувшись из России, описали подробно всю историю, как Вы



отыскивали для них семью отказников, для которых они справляли бармицву.

Увидев выражение моего лица, Труды поспешила меня успокоить:

— Да Вы не волнуйтесь, Вас не найдут! Они написали в газете, что помогала им прелестная женщина из Московского Университета!

— Вот уж действительно, нечего беспокоиться — по таким признакам кто ж меня отыщет!

Отказников я тогда действительно каким-то чудом нашла и, проклиная всё на свете, повезла к ним английских благодетелей, представляя, как будут смущены эти люди визитом неожиданных гостей и как на следующий день меня выгонят из института химической физики. Ни того, ни другого, однако, не случилось. Отказники совершенно не удивились нашему визиту и без всякой аффектации приняли подарки — Яблонски оказались чуть ли не пятыми западными евреями, справлявшими бармицву их отпрыску. Из химфизики меня не выгнали — то ли наш визит к отказникам прозевали, то ли климат уже начал теплеть.

Труды очень возбудилась: я была первая и единственная советская еврейка, которую она встретила в жизни — и оказывается, она уже читала обо мне в уважаемом органе Манчестерской синагоги! Труды доложила это профессору Плешу. Плеш вежливо поинтересовался, кто я, из какой семьи. Я рассказала, что папа патологоанатом, учёный с мировым именем, а мама была профессор-физиолог и всю жизнь работала с Линой Штерн (имя Лины тогда было широко известно в европейских научных кругах).

Тут настал черёд профессора Плеша. Он буквально до потолка взметнулся, услышав имя Лины Штерн:

— Вы знали Лину Штерн?!

— Я её не просто знала: она была частью нашей жизни. Мама с ней работала. Папа написал о ней воспоминания.

— Мой отец был в неё влюблён, — сказал профессор Плеш. — Они были помолвлены и должны были пожениться — я мог оказаться её сыном! Но Лина расторгла помолвку и уеха-

ла в Советский Союз. Мой отец потом женился на моей матери. Кстати, он был личным врачом Эйнштейна и написал о нём воспоминания.

Мой папа писал в своих воспоминаниях, что единственный роман Лииной жизни был с английским профессором, который возражал против того, чтобы Лина работала после свадьбы; в результате она расторгла помолвку и уехала в СССР. И вдруг — вот он, так неожиданно материализовавшийся след Лииной любви!

— Мой отец следил за Лииными публикациями, — продолжал Плеш, — но они вдруг прекратились в конце сороковых годов, и мы ничего не могли о ней узнать. Расскажите, расскажите о ней!

И я рассказала профессору Плешу о Еврейском Антифашистском Комитете, о Лиином аресте и ссылке. Рассказала о том, что незадолго до ареста Лине удалось достать через живущего в Америке брата несколько ампул только что изобретённого стрептомицина, что в это время у знакомых моих родителей заболела туберкулёзным менингитом дочь, что в соответствии с Лииной теорией гемато-энцефалических барьеров, Лина с мамой начали лечить девочку инъекциями стрептомицина непосредственно в спинномозговую жидкость, что моя мама день и ночь дежурила около этой девочки и выходила её, что девочка к сожалению оглохла, но всё-таки это был первый в истории медицины случай выздоровления от туберкулёзного менингита, считавшегося раньше стопроцентно смертельной болезнью. Я рассказала, что случай этот стал широко известен в Москве и к Лине пришла Светлана Сталина с просьбой дать стрептомицин для дочки её подруги, заболевшей воспалением лёгких, но Лина отказала, сославшись на то, что стрептомицин у неё очень мало и он только для научных целей. Рассказала я и о том, что Лину вскоре арестовали — ей тогда исполнилось ровно семьдесят лет, что следовательно грязно ругал её, а она ему говорила: «Я понимаю, что Вы хотите как-то оскорбить мою маму, но зря стараетесь — я не понимаю Вашей лексики». Рассказала я и о том, что Лина — единственная из членов Еврейского Антифашистского Комитета, по каким-то

неведомым причинам не расстрелянная двенадцатого августа 1952 года, что первые дни после возвращения из ссылки она жила у нас, что ей вернули лабораторию, но у неё начал быстро прогрессировать склероз — словом, много чего я рассказала профессору Плешу, а он слушал, как заворожённый...

...Поражённые невероятными совпадениями, мы как-то забыли о нашем третьем иностранце. А ему, между прочим, тоже было, о чём рассказать. Они с сестрой бежали из северного Вьетнама в утлой лодчонке, чудом спаслись и в конце концов оказались на Западе, где добрые люди их усыновили-удочерили и дали образование. Теперь Хунг Нгуен живёт и работает в Париже, а сестра замужем в Америке под Вашингтоном.

— У меня в семье тоже есть вьетнамцы, — сказал профессор Плеш. — Мой племянник женат на вьетнамке, у неё очень похожая история.

— Конечно, похожая, — согласился Хунг. Он полез во внутренний карман пиджака, достал какую-то фотографию и протянул Плешу: — Ваш племянник женат на моей сестре...

Кстати, Хунг — единственный среди нас — с самого начала знал, что они с Плешем связаны родственными узами, но в силу восточного характера не спешил выкладывать карты на стол.

Теперь подведём итоги. В небольшом городе в центре Европы за обеденным столом случайно встречаются несколько коллег: один, с супругой — из Англии, второй, ныне живущий в Париже, — из Вьетнама, третья — из Москвы, чудом вырвавшаяся на три месяца из железных объятий советского режима. А через час, в традиции романов Агаты Кристи, выясняется, что все эти люди связаны между собой отнюдь не виртуальными, а вполне осязаемыми связями. Я знаю из своей науки, как мала вероятность тройных соударений — но вот же они, произошли, словно Земной Шар не больше футбольного мяча!

...Я начала этот рассказ с того, что не обижусь, если вы мне не поверите. Не обижусь, но огорчусь, потому что каждое слово здесь — правда.

## История Вторая — Случай в Амстердаме

Эта история произошла в восемьдесят девятом году. За несколько месяцев до описываемых событий журнал «Дружба Народов» опубликовал журнальный вариант книги моего отца, а «Юность» опубликовала мой рассказ. То и другое сразу же перевели и издали во Франции, Италии и Голландии. Французские издатели и голландская переводчица прислали мне приглашения на презентацию книги. Это было как сон. Я хотела взять с собой Вику, и мы сравнительно легко получили необходимые визы, но оказалось, что нечего даже и мечтать об авиабилетах в Париж в обозримом будущем.

— Попробуй достать через «Дом Дружбы», — посоветовала мне Татьяна Никитина — они с Сергеем как раз летели на концерт в Париж и приобрели билеты через эту контору.

Я пришла в «Дом Дружбы», представилась секретарше, назвала свою фамилию и объяснила, что мне нужно два билета в Париж для себя и для дочки, и вылететь желательно через неделю.

— Будут, — пообещала сладкая, как патока, секретарша, — зайдите послезавтра.

Я поразились вежливости секретарши и простоте решения проблемы. Но когда я, как было назначено, явилась вновь, от приветливости и вежливости секретарши не осталось и следа. Она метала громы и молнии:

— Как Вы посмели сюда придти?! Вы самозванка! Вы никто! Вы меня подвели!

Я опешила:

— Чем подвела? Почему самозванка?

— Вы не родственница Виталия Рапопорта!

— Какого Виталия Рапопорта?

— Как какого! Члена Бюро «Дома Дружбы»! (или Коллегии, или Секретариата — не помню).

— Да разве я Вам сказала, что я родственница Виталия Рапопорта?! Я о нём слыхом не слыхивала!

— Но если ко мне приходит человек и говорит, что ему нужно два билета в Париж — для себя и для дочки — может

мне придти в голову, что она не родственница члена Бюро?! Я ему позвонила сказать, что не смогла достать билеты в Париж, и взяла в Брюссель, так он на меня таких собак спустил!

От этой информации я насторожилась:

— Вы всё-таки достали нам билеты?

— Да, но я не могу отдать их Вам — они куплены по безналичному расчёту — я же думала, что Вы — родственница Виталия Рапортора. К тому же, в Париж билетов не было, и я взяла в Брюссель, чтобы вы оттуда ехали поездом. Теперь переводить билеты на наличный расчёт — целая огромная проблема. Для этого нужно специальное разрешение директора «Дома Дружбы»! Вы меня страшно, страшно подвели!

— Я получу разрешение от директора! — всколыхнулась я. — Клянусь, получу! Я же не самозванка! Я лечу на презентацию своей книги! Я сожалею о Ваших неприятностях! Я буду Вам очень, очень благодарна!

Я пришла на приём к директору «Дома Дружбы» с официальными приглашениями от французского издательства и от Сорбоннского Университета. В результате мы с Викой полетели-таки в Брюссель, а оттуда поехали поездом в Париж. Всю дорогу я ждала, что самолёт рухнет, а поезд сойдёт с рельсов — я не могла поверить, что не во сне, а наяву окажусь в Париже... На Парижском вокзале нас встречали наши издатели. В тот же вечер в маленьком кафе на Монмартре я попробовала первую в своей жизни устрицу и до сих пор храню её ракушку.

На следующий день мы отправились в гости к нашим издателям. Вошли и остолбенели на пороге: громадный зал, в который с высокого потолка сквозь стеклянную крышу льётся дневной свет, на диване в центре зала две больших рыжих собаки-колли, а на стенах нет живого места от ковров и художественных плакатов с многочисленных выставок. Я не успеваю ахнуть, как довольная эффектом Ирэн произносит:

— Я совсем забыла вам сказать. Мы купили мастерскую Сальвадора Дали...

Так начался наш первый визит в Париж.

Я получила небольшой гонорар за французское издание книжки, и после Парижа мы с Викторией отправились к друзьям

в Лондон, откуда должны были ехать дальше в Голландию к переводчице моего рассказа Элс де Грааф. Элс жила в небольшом городке на восточной границе Голландии, в четырёх часах езды от Амстердама.

Тут, собственно, и начинается то, из-за чего я затеяла вам всё это рассказывать.

Денег у нас с Викою было в обрез — едва-едва хватило на автобусные билеты из Лондона в Амстердам, где нас должна была встречать Элс де Грааф, и меня ждал небольшой гонорар за голландское издание книжки. Но произошло непредвиденное.

Чтобы дальнейшее было понятно, необходимо объяснить, что маршрут автобусного путешествия из Лондона в Амстердам слегка задевает север Франции. Пассажиров сначала везут до Дувра, там пересаживают на паром Дувр — Кале, в Кале их снова подбирает автобус, делает несколько шагов по Франции — и вы в Бельгии, потом в Голландии.

Планируя поездку и предусмотрев повторный въезд во Францию, я получила в наши советские паспорта многократные французские визы, но английская виза была у нас только на один въезд. В Дувре английский чиновник проштемпелевал наши английские визы и тем самым мы покинули Англию. Чемоданы по транспортёру уехали на паром, мы поднялись вслед за ними. Ждём, а паром всё не отходит. Вдруг английский паспортный чиновник появляется снова и — прямо к нам. Вид у него озабоченный:

— Разрешите ещё раз взглянуть на ваши паспорта!

Посмотрел и схватился за голову:

— Я так и знал! Ваши визы недействительны! Французы вас не впустят!

— Что Вы, у нас действующие многократные французские визы, они действительны ещё несколько месяцев.

— Да, — согласился чиновник, — но вы не можете въехать во Францию через Кале! У французов для советских граждан предусмотрено пять пунктов въезда - Орли, Шарль де Голль и ещё три — они перечислены у вас в визе очень мелким шрифтом. Кале среди них нет — советские обычно не въезжают во Францию из Англии!

— Да мы же не во Францию едем! Мы в Голландию! Нам по Франции и ехать-то всего полчаса! — взмолилась я, начиная понимать, что надвигается катастрофа.

— Вполне согласен с вами, но вы не знаете французов! Это такие мерзавцы! Они вас не пустят! Пойдемте со мной, пошлём им телекс и вы убедитесь сами.

Той порой среди багажа находят и сбрасывают с парома наши чемоданы. Мы сходим с парома в сопровождении английского чиновника. Паром отплывает и тает в дымке, и с ним вместе тает надежда когда-нибудь добраться до Амстердама, где на автобусной остановке ждёт нас Элс де Грааф.

От французов действительно приходит по телексу быстрый ответ: не пустим!

— Вот видите, — комментирует английский чиновник, довольный тем, что французы оправдали его ожидания — я же вам говорил, французы — страшные негодяи!

Мне не сразу удаётся охватить глазом окончательные размеры бедствия. Дело в том, что мы не только не можем въехать во Францию — мы не можем и вернуться в Англию, потому что в нашей однократной визе уже стоит штамп о нашем выезде! Нас забирают в экстерриториальный полицейский участок, и наш чиновник, смущённый тем, что во-время не заметил проблемы и проштемпелевал наши визы, приносит нам кофе с булочками, телефон и телефонную книгу. Ему приятно продемонстрировать контраст между французским и британским отношением к человеку.

— Звоните хоть по всему миру, пытайтесь разрешить вашу ситуацию, — говорит он.

Я первым делом звоню, чтобы предупредить Элс де Грааф, но её уже нет дома — она уехала встречать нас в Амстердам. Элс понапрасну проедет четыре часа и будет, бедная, метаться в наших поисках по автобусной станции — но я уже ничего не могу изменить.

Положение наше аховое. Даже если бы каким-то чудом нам удалось вырваться из западни и вернуться в Англию, денег на обратную дорогу в Лондон у нас нет. Звонить лондонским друзьям бесполезно — сразу же после нашего отъез-

да они уехали на несколько дней в лесной дом, и у меня нет их телефона. Я ничего разумного не могу придумать и от отчаяния звоню во Французское Посольство в Лондоне. На смеси плохого английского с ещё худшим французским объясняю какой-то секретарше, что произошло.

— Ничем не могу вам помочь, — отрезает высокомерная и стервозная секретарша. — Мы не можем впустить вас во Францию.

— Мне не надо во Францию! Мне туда всего на полчаса! Пожалуйста, соедините меня с Господином Послом!

— А то Господину Послу больше делать нечего, как с Вами беседовать, — отвечает секретарша, правда, в более аккуратной формулировке.

В конце концов, в ответ на мои мольбы, она как будто соглашается что-то для нас предпринять и исчезает на полчаса, оставив меня на телефоне — наверное, пьёт кофе. Наконец возвращается и сообщает издевательски:

— Господин Посол сказал, что вы действительно можете получить разрешение на въезд во Францию через Кале. Это займёт месяц.

Всё. Запас моих идей исчерпан, и я понимаю, что мы с Викой, две советских гражданки, остаёмся до конца дней в экстерриториальном полицейском участке между Англией и Францией. Впрочем, при полном отсутствии средств к существованию и возможности покинуть пределы полицейского участка, конец дней, видимо, не за горами. Это же понимает и наш полицейский чиновник. Он вдруг приносит нам два билета на паром, идущий в Бельгию, и в очередной раз демонстрирует различие между английским джентельменом и французским сукиным сыном:

— Голландские визы действительны в Бельгии. Доплывёте на пароме до Остэндэ, оттуда поедете в Амстердам на поезде. Вот вам пять фунтов на билеты от Остэндэ до Амстердама. Пойдёмте, я провожу вас на паром.

...Кстати, о голландских визах. В те годы в Голландском посольстве в Москве нашло себе приют Израильское консульство; перед входом в Голландское посольство всегда бушева-



ла огромная толпа мечтающих об отъезде евреев. Пытаясь пробиться сквозь эту не имеющую ко мне отношения толпу, я пищала:

— Пропустите пожалуйста, пропустите пожалуйста, мне в Голландию!

Высокий малый с усиками обернулся ко мне и сказал с сильным грузинским акцентом:

— Тебе?! В Голландию?! Ты на себя в зеркало-то с утра смотрела?!

В конце концов меня всё-таки пропустили в Голландское посольство, и вот мы с Викой плывём на пароме в бельгийский Остэндэ с голландской визой, чтобы там пересесть на какой-нибудь поезд, идущий в Амстердам.

Чтобы не утомлять вас, не буду описывать муки, которые мы испытали в пути. Без языка и почти без денег, с самыми приблизительными представлениями о маршруте путешествия и западной жизни, мы в конце концов к часу ночи добрались до Амстердама. Вы были когда-нибудь ночью на Амстердамском вокзале? Нет? И не ходите! Это по-настоящему страшно.

Мы с Викторией вышли из поезда, в котором были чуть ли не единственными пассажирами, и стояли в полной растерянности на платформе, а вокруг шныряли накурившиеся типы с безумными глазами, пялясь, как вампиры, на нас и наши чемоданы. И никого из приличных людей, кроме нас. И полная тьма. И какие-то бельгийские копейки в кармане, оставшиеся после покупки железнодорожных билетов. И совсем некуда идти.

Стрессовая ситуация обостряет память. Вика вдруг вспомнила, что одна девочка из её художественного училища вышла замуж за голландского слависта и живёт теперь в Амстердаме. Они с Викторией были едва знакомы, но Вика порылась в своей записной книжке и нашла её амстердамский телефон. Забрехала слабая надежда на спасение. Шёл второй час ночи, но положение наше было такое отчаянное, что мы решились позвонить. Телефон-автомат рядом, на платформе, но как позвонить, когда у нас нет ни монетки голландских денег?! Тог-

да на неверных ногах я подошла к какому-то черному детине и жестами попросила у него монетку позвонить, предлагая взамен бельгийские копейки. Детина оказался очень доброжелательным и совсем не опасным. Он посмотрел на меня с жалостью, отвёл к автомату, опустил свою монетку и сам набрал номер. И о чудо! — Марина и Ришард ещё не спали, у них был гость из Германии. Они долго не могли понять, кто мы такие и чего от них хотим, но в конце концов приехали и забрали нас с вокзала. Жили они тогда очень трудно в небольшой квартире, оба были без работы. Хозяева и не пытались скрыть, что мы незваные гости; всё же нам постелили на полу в гостиной какую-то подстилку и мы заснули как убитые.

Когда я утром проснулась, моя первая мысль была, что я всё ещё сплю и вижу сон. Ришард сидел спиной ко мне в кресле и читал свежую газету. Мне была видна страница, которую он читал. Четверть страницы занимал портрет моего папы.

— Это мой папа, — сказала я, не вставая с пола.

— Что? — не понял Ришард.

— Там, в Вашей газете, портрет — это мой папа.

Ришард явно подумал, что пустил ночевать какую-то аферистку. Он быстро закрыл ладонью заглавие статьи и подписал под фотографией — что было совершенно лишним, потому что ни слова по-голландски, включая нашу фамилию, я прочитать не могу — и спросил:

— Если это Ваш отец, как его зовут?

— Яков Львович Рапопорт. Он был арестован как «врач-вредитель» и написал об этом книгу воспоминаний. Я тоже написала свои воспоминания. Маленькую часть папиной книги и мой рассказ перевели и издали здесь в Голландии, поэтому мы с Викой сюда и приехали.

Всё переменилось в одно мгновение. Ришард вскочил и помог мне подняться с пола. На столе появились кофе и бутерброды...

Вскоре Ришард заключил с голландским издательством договор на перевод полной папиной книги и у него появилась работа.

...В той газете было напечатано интервью с папой, сделанное уже после нашего отъезда, так что мы о нём не знали.

Прошу вас обратить внимание, что газету с папиным портретом печатали в Амстердаме в ту страшную ночь, когда Ришард и Марина забирали нас с Викой с Амстердамского вокзала.

## История третья: случай в Солт Лэйк Сити

Однажды воскресным вечером, вернувшись домой после горной прогулки, я включила автоответчик и остолбенела. Записанный на ленте голос я не слышала сорок лет, но узнала мгновенно — другого такого на нашей планете нет. Мы стареем, дурнеем, теряем формы, но голос нам не изменяет. Конечно, это — Ирка Азерникова, подруга моей молочной сестры Маришки Губер — тот же тембр, те же интонации, тот же хрустальный звон. В школьные годы мы были в одной компании, потом ещё пару лет встречались, но пути разошлись, и я утратила Иркин след.

Ирка рассказала автоответчику, что прилетела в Солт Лэйк Сити по дороге на проходящий неподалёку музыкальный фестиваль, где играет её сын-скрипач. В нью-йоркском аэропорту она купила бостонскую газету «Курьер», где напечатано большое интервью со мной, из которого Ирка поняла, что я живу в Америке и более того — в Солт Лэйк Сити, куда она сейчас летит. Она поразилась этому совпадению и, поселившись в гостинице, первым делом схватила солтлэйкскую телефонную книгу, нашла там мой телефон и вот — звонит. Дальше следовал телефон и адрес её отеля.

Я ничего не могла понять: какое интервью?! Я знать не знала никакого «Курьера»!

Ларчик, конечно, открывался просто.

За несколько лет до этого биохимическая конференция в Иерусалиме совпала по времени с книжной ярмаркой в иерусалимском русском Общинном Доме. Я договорилась встретиться там с Губерманом. Губерман, сами понимаете — гене-

рал на этой свадьбе, к нему прикованы все взоры. Не успели мы обняться, как ко мне подлетела красивая молодая дама: «Откуда знаете Губермана?». Вопрос показался мне слегка бестактным, но, не давая мне опомниться, дама сообщила: «У меня тут тоже продаётся книга. Я журналистка Лиора Ган, но вы можете звать меня просто Полина Копшеева. Моя книга называется «Обнаженная натура». В ней собраны интервью, которые я делала с Любимовым, Казаковым, Губерманом — да с кем только не делала! Я их всех обнажила. Вы знакомы с Губерманом — наверняка, Вас тоже надо обнажить.

— Не надо, Полина, меня обнажать! Я вашего брата парапаци боюсь, как экологической катастрофы.

— Не хотите — не надо. Тогда просто приезжайте к обеду, моя мама очень хорошо готовит еврейские блюда. Мы родом из Кишинёва. Мама будет рада. Вот адрес и инструкции, завтра в два, ждём.

Гастрономический еврейско-кишинёвский соблазн перевесил доводы разума, и в два часа завтрашнего дня я звонила в полинину дверь. За столом — мама, папа, дочка, сама Полина и я, на столе — обещанное, без обмана. Хорошее вино и лёгкий застольный трёп дополнительно скрашивали трапезу. Когда дело подошло к десерту, Полина воскликнула радостно: «Ах, какой замечательный материал я из этого сделаю!». Оказывается, она всё записывала. Я изумилась: «Что вы, Полина, какой материал?! Если бы я знала, что Вы собираетесь это печатать, я бы и половины Вам не сказала!». — «Вот-вот, — согласилась Полина, — поэтому-то я и не хотела, чтобы Вы знали, что это — интервью!». — «Да разве так можно! — не унималась я. — Поклянитесь по крайней мере, что перед тем, как что-то печатать, пришлёте мне это по факсу и внесёте мои коррективы!» — «Клянусь!» — без колебаний соврала Полина, и мы расстались.

В Америке я думать забыла о Полине и её «интервью», благо никаких известий от неё не поступало. Но оказалось, что она опубликовала-таки этот материал в тель-авивской газете, а «Курьер» его перепечатал. Кстати, у «Курьера» его потом украл какой-то нью-йоркский «Бюллетень». Этот со-

всем уж распоясался и беззастенчиво предварил материал словами: «Вот что она *нам* рассказала...»

Интервью было чудовищным. Часть его составляли кусочки моей, тогда ещё не опубликованной книги, которые я сама оставила тельавивской газете «Вести»; другая часть была основана на нашем застольном трёпе — у меня уши горели, когда я это читала.

Но диалектика учит нас: нет худа без добра. Благодаря этому «интервью» в мою американскую жизнь вошли Ирина и Арик, сразу ставшие бесконечно близкими и нежно любимыми друзьями, как будто мы гигантским прыжком в одночасье пронеслись над минувшими сорока годами в наш сегодняшний день.

...Теперь прошу вас обратить внимание на следующее: интервью в «Курьере» было напечатано как раз в тот самый день, когда Ирка с Ариком летели из Нью Йорка в Солт Лэйк Сити; в аэропорту они купили именно «Курьер» — а могли ведь купить «Новое Русское Слово» или «Панораму» или вообще ничего не покупать, а взять с собой два детектива — и мы бы не встретились.

Цепочку этих совпадений можно было бы продолжать и продолжать, но сейчас мне хочется поговорить не о причудах судьбы, а о дорогах, которые мы выбираем сами.

## К ВОЛЬНОЙ ВОЛЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ПУТИ...

### Из Американского Альбома

*Отвечаю я цыганкам: мне-то по сердцу  
К вольной воле заповедные пути...*

*Ю. Даниэль*

### Предисловие

Эмиграция — очень тяжёлое испытание. Если кто-то скажет вам, что это не так — плюньте в его лживые глаза. Люди по-разному приходят к эмиграции и по-разному её проходят, сколько людей — столько судеб. Я ещё не готова рассказать о своём личном опыте, но обойти молчанием эту болезненную тему не хочу и потому расскажу вам об Ирине, Арике, нашем общем друге пианисте Саше Избицере и об их американской одиссее.

### Ирка

У меня была замечательная компания в школьные годы. Центрами кристаллизации были моя «молочная сестра» Марина Губер и её брат Шурик, на год старше нас. Шуркины одноклассники влюблялись в Маришкиных одноклассниц, поддерживая тем самым в мире порядок и гармонию. И хотя в компании были стабильные пары, это не мешало всем без исключения быть влюблёнными в Ирку Азерникову.

Ирка появилась в нашей компании в пятом классе — до этого она училась в хореографическом училище при Большом Театре. Танцевать она начала раньше, чем научилась ходить и говорить. Когда Ирке исполнилось пять лет, её мама — киножурналистка, знакомая в мире искусств со всем светом, спросила у Эсфирь Мессерер, что делать с ребёнком. Эсфирь посоветовала отдать девочку в хореографическое учи-

лице. На экзамен в училище пришла сама Плисецкая, которой было тогда лет двадцать.

— Подними ногу, — приказала Плисецкая.

Без всякого напряжения Ирка задрала ногу выше головы.

— У девочки лебединый шаг, — сказала Плисецкая, и Ирку приняли.

Однако ни Улановой, ни Плисецкой из этого ребёнка не вышло. Ирка принялась стремительно расти, что в те годы было балерине противопоказано. Плюс к этому однажды, несясь по лестнице, она чуть не сшибла с ног дирижёра Большого Театра Фаера. Ирка его не узнала, ей вообще было не до того, чтобы здороваться и извиняться, поскольку она опаздывала на урок. Она схлопотала тройку в четверти по поведению и мать забрала её из училища. Так Ирка оказалась в шестьсот тридцать пятой школе в одном классе с Маришкой Губер.

Вскоре у нее прорезался замечательный, хрустальный голос. Уроки хореографии тоже не прошли даром: Ирка могла в разговоре непринуждённо положить большим батманом ногу на плечо восхищённого собеседника. В наши школьные годы её красота, лёгкий весёлый нрав и чарующий голос вскружили немало буйных голов.

Но никому из них она не могла ответить взаимностью, потому что в тринадцать лет влюбилась в Владислава Геннадьевича Соколова, руководителя и дирижёра знаменитого хора и профессора московской консерватории:

— Он положит руку тебе на голову, а ты сидишь и умираешь...

Любовь к учителю всегда идёт об руку с любовью к предмету. Эта любовь привела её на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища при Консерватории, а потом и в Гнесинский Институт.

Там она встретилась с Ариком и через две недели вышла за него замуж.

— Как вы познакомились?

— Он шёл в Гнесинке по коридору и увидел мои ноги и грудь.

На третий вечер Арик сделал Ирке предложение.

— Четвёртый раз мы увиделись уже в ЗАГСе — там я впервые увидела Арика при дневном свете, — рассказывала Ирка. — Мой отчим помог нам избежать принятого тогда в загсах трёхмесячного карантина. Он мечтал, чтобы я съехала с квартиры, потому что жили мы очень тесно, а за три месяца ожидания я бы, конечно, передумала выходить замуж, как уже не раз бывало.

Те, кто знает Арика, не удивятся, что в ЗАГС он, конечно, опоздал минут на сорок. Когда все уже надумали расходиться («я пошутила», — сказала Ирка собравшимся друзьям), Арик вдруг появился — глаза безумные, одна штанина короче другой, в руках какой-то веник — цветы искал...

Так Ирка вышла замуж. На сегодняшний день это длится уже сорок лет.

В Москве Ирка пела, преподавала хоровое дирижирование, руководила хором и растила детей, сына и дочку. Вобщем, была при любимом деле. В Нью Йорке применения Иркиным талантам не нашлось, и она работает в библиотеке большого банка, что, положа руку на сердце, надо считать исключительной удачей.

## Арик

*Из нас из всех один Гальперин  
Своей жене извечно верен.*

*Но ходит слух, что до Ирины  
Любил он Рин и Галь перины...*

*Ю. Китаевич*

Его имя — Аркадий Гальперин — знали все ведущие музыканты страны. Замечательный звукорежиссёр, он записывал Рихтера и Растроповича, Когана и Спивакова, Третьякова и Баршая, Наташу Гутман, Максима Шостаковича и ведущие оркестры страны. Редкое сочетание абсолютного музыкального слуха с абсолютным вкусом сделали его желанным и востребованным в советских музыкальных кругах.



Звукорежиссёром Арик стал поневоле. Он готовил себя к исполнительской виолончельной карьере, но переломил палец, неудачно захлопнув дверь машины. Вместе с дверцей автомобиля захлопнулась дверь в Консерваторию. Арик окончил Гнесинский Институт и стал преподавать. Душа его, однако, рвалась к исполнительской деятельности. Солировать он, конечно, не мог, но мог — и мечтал — играть в оркестре. Он и играл, когда подворачивался случай.

Однажды Арикова тёща сообщила, что на телевидении идёт набор на курсы звукорежиссёров. Для человека с полым пальцем это был интересный вариант. Началась новая жизнь. Звукозапись стала настоящей страстью, и когда через полтора года в Кондрашинском оркестре освободилось место и Арику предложили подать на конкурс, он не пошёл.

Так страна потеряла виолончелиста, но приобрела выдающегося звукорежиссёра.

Несмотря на весьма сомнительную анкету, Арика приняли на работу в Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи, сокращённо — ГДРЗ.

...В конце 1977 или начале 1978 года в Большом Зале Консерватории состоялся необычный концерт. Опальный Растропович и уже уволенный из Большого Симфонического Оркестра Геннадий Рождественский исполняли виолончельный концерт опального композитора, поляка Лютославского.

— В этом концерте виолончель — личность, оркестр — общество, и оркестр всё время откровенно догоняет и старается подавить виолончель, — объяснил мне Арик.

На плёнку с записью концерта налепили красную ленту, что означало «в эфир не давать»; такие же красные ленты были на записях Баршаевского оркестра и многих, многих других.

Тогда Арик подарил плитку шоколада девушке, в чьём ведении были плёнки, попросил у неё запись концерта Лютославского — якобы послушать, переписал и отредактировал плёнку, вынес её из ГДРЗ на животе и отдал Растроповичу.

— Слава был очень доволен, очень благодарил, — радовался Арик.

Был расцвет застоя. Деятелям искусства становилось всё труднее дышать, и они один за другим покидали страну — кто добровольно, кто принудительно...

...Имея двух одарённых музыкантов-родителей, дети Ирки и Арика тоже обнаружили незаурядные музыкальные способности. Арик думал с горечью, что в Советском Союзе у них нет будущего. Красивого выпендрёжника Серёжку поклачивали в школе, объясняя, что евреям следует убраться в Израиль, и когда однажды Серёжке основательно расквасили нос, импульсивный Арик подал документы на отъезд.

Государственный Дом Радиовещания и Звукозаписи был учреждением политизированным и режимным. На следующий день после подачи документов Арика уволили с работы и больше в здание не впускали. Бухгалтер вышел под дождь на улицу, чтобы отдать ему последнюю зарплату.

...В 1978 году без языка, зато с семьёй и ста шестьюдесятью долларами в кармане, Арик приехал в Штаты.

## В Штатах

— Я понимал, что без языка будет трудно, оказалось — невозможно, — рассказывал Арик. — Меня не брали ни в одну студию, даже звукоинженером, потому что музыкантам, дирижёру и техникам надо было подавать мгновенные команды, а я не мог.

Начало было страшным. В английском Арик был на нуле, и его выгнали из школы с самого низшего уровня, потому что одноклассники, по многу лет пребывавшие на этом уровне и потому слегка поднаторевшие, жаловались, что он их задерживает. К слову сказать, через пару лет Арик их всех обогнал, но тогда, на старте, был переведен на учение в синагогу, откуда ничего полезного в смысле языка не вынес.

Жили они в отеле Сент Джордж в Бруклине — в те годы это был притон для бездомных, проституток и наркоманов.

Арик работал на разгрузке в супермаркете, потом складывал бельё в прачечной, потом устроился на фабрику часов развозить по цеху запчастей.

По радиосети в цеху часто транслировали музыкальные программы, и однажды Арик узнал свою запись конкурса Чайковского. Он замер с тележкой у стены; слёзы капали на детали часов, грозя им коррозией; музыка лилась и лилась, а он продолжал стоять у стены, не слыша окликов беспокоенного менеджера... Зато талантливого Серёжку приняли в Джульярд и дали ему полную стипендию. «Вот о чём надо всё время думать, этим всё оправдано», — убеждали Арика Ирка и немногочисленные знакомые, убеждал он сам себя — но боже, как это было трудно!

...Однако, мир не без добрых людей: в конце концов по великому благу, минуя профсоюзные рогатки, Арика устроили ночным сторожем и лифтьёром в фешенебельный небоскрёб на Парк Авеню. На том этапе это была вершина его карьеры. Ночная работа была Арику на руку: днём он ходил в школу учить английский, ночью читал американские газеты, которые по долгу службы подсовывал под двери обитателей небоскрёба. Он проработал лифтьёром два с половиной года, пока не совершился перелом в его судьбе.

Публика в небоскрёбе жила отборная. Первые этажи занимали врачебные оффисы; выше жили адвокаты, врачи, бизнесмены. В обязанности Арика входило поднимать их на лифте на нужный этаж. По дороге они расспрашивали, откуда Арик родом и чем занимался в России. Арик беседовал с ними, и к нему постепенно пришёл разговорный язык — богатый, с великолепным произношением, что неудивительно при таком абсолютном слухе. Но в глазах его застыло вечное выражение ущербности, и обитатели небоскрёба явно испытывали неловкость оттого, что человек их круга в силу превратности судьбы вынужден был открывать им дверь лифта.

На Рождество, как это принято в Америке, Арику преподнесли конвертики с деньгами и подарками. Отягощённый советской ментальностью, он оскорбился и подарков не принял, чем удивил и обидел доброжелательных американ-

цев. Но был в небоскрёбе один человек, который подарка ему не принёс. Её звали Джуди Бруннер Хаззард. Известный психиатр, автор нескольких книг, Джуди работала в большом Нью-Йоркском госпитале. У неё всегда был очень виноватый вид, когда Арик поднимал её в лифте. Смена Арика была с 11 вечера до 7 утра, и однажды ночью, когда небоскрёб уснул и в работе Арика наступило затишье, Джуди пригласила Арика зайти к ней и попросила рассказать о себе. Она слушала его с глазами, полными слёз.

— Лучшим днём моей жизни будет день, когда Вы бросите эту работу, — сказала Джуди. — Я хорошо понимаю Вас, потому что сама прошла через ад. Я — одна из многих тысяч венгерских евреев, спасённых Валленбергом.

Джуди закатала рукав и показала Арику татуировку концлагеря. В сорок четвёртом году ей было двенадцать лет. В концлагере, между двумя рядами колючей проволоки, росли какие-то жёлтые цветы; Джуди выбрала один из них и загадала, что если цветок не облетит, она не погибнет. Цветок жил, а в это время остававшиеся на свободе евреи собирали деньги, чтобы выкупить хотя бы часть евреев из концлагерей. Джуди повезло, её выкупили. После освобождения она жила в немецкой семье, потом училась в Голландии, в конце концов перебралась в Америку.

Арик и Джуди подружились. Она пыталась найти ему какие-то ходы в мир влиятельных людей в индустрии звукозаписи. Однажды Арик попал на приём к знаменитому продюсеру Максу Уилкоксу. Уилкокк порекомендовал его Томасу Шеппарду, сотруднику крупнейшей в Америке компании АрСиЭй.

— Взгляните вон на ту полку у меня за спиной, мистер Хальперн, — сказал ему Шеппард. — Там стоят Ваши записи, я их собирал. Но в Америке на студии Вы работать не сможете. Сейчас в индустрии звукозаписи происходит революция — долгоиграющие пластинки сменяются магнитными записями. Кроме того, запись классической музыки никогда не была доходным делом. Студии записывают классику, чтобы поддержать марку, а доход получают от рок-н-ролла и

буги-вуги. Вам надо стать свободным художником. Купите себе оборудование и записывайте репетиции и концерты в небольших концертных залах и церквах. Американские музыканты часто перед главным концертом в Карнеги Холле пробуют свои силы в небольшом зале. Им важно прослушать, как это звучало, так что клиенты для Вас найдутся.

— Одолжите у меня деньги на оборудование, — предложила Джуди, когда Арик сообщил ей о результатах встречи, — отдадите, когда встанете на ноги.

Арик взял у Джуди деньги, купил звукозаписывающее оборудование, начал записывать репетиции и концерты в концертных залах второго эшелона и сразу стал очень популярным. Появилось много работы — настоящей, страстно любимой работы, появились новые друзья из музыкальной среды. Появились деньги, вернулась жизнь. Отдал долг Джуди.

Это был замечательный, захватывающий дух, но недолгий взлёт.

Однажды, придя на запись, Арик обнаружил на двери зала объявление: вход с оборудованием разрешён только членам профсоюза звукоинженеров. Арик не был членом профсоюза звукоинженеров, и его не пустили. О том, чтобы стать членом профсоюза, не могло быть и речи: для этого надо было сдавать кучу экзаменов на английском языке, включая математику. Это был кокаут.

Всё грозило опять рухнуть. К счастью, музыкальная жизнь Нью Йорка не ограничивается концертными залами. Есть масса церквей и колледжей, в которых происходят бесчисленные камерные концерты прекрасных музыкантов. Арик продолжал их записывать, но это становилось всё труднее физически, и он с тревогой думал о будущем.

...Однажды, стоя в тяжёлой задумчивости у окна и глядя на Нью-Йоркский пейзаж, Арик взял карандаш и начал рисовать. Когда-то в юности он очень это любил и рисовал прекрасно, но никогда не думал сделать это своей профессией. Идея пришла внезапно. Арик нашёл свою нишу в дизайне зданий, которая неплохо его кормит; можно смело сказать, что он приложил свою руку к лицу сегодняшнего Нью

Йорка. Новая профессия пришлась по вкусу, он опять восстал из пепла.

И всё-таки настоящая его страсть — музыка и звукозапись. К счастью, этому суждено было снова войти в его жизнь. Однажды на новогодней вечеринке у друзей он встретил Сашу Избицера.

О Саше мой следующий рассказ. Но сначала несколько слов о «Русском Самоваре».

### «Русский Самовар»

*По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух...*

*А. Блок*

— Поехали в «Самовар», — предложили однажды Ирка с Ариком, когда я у них гостила. — Там сегодня играет Саша Избицер. Не пожалейшь.

— Что за «Самовар»?

— Поехали, увидишь.

Мы поехали. Ресторан «Русский Самовар» действительно оказался местом непростым. Расположен он в самом сердце театрального Нью-Йорка, около Бродвея. После спектаклей сюда не зарастает народная тропа.

В небольшой зал ресторана ведёт длинный узкий коридор, по стенам которого развешаны портреты почётных посетителей с их автографами: Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Эрнст Неизвестный... Здесь бывают Ростропович и Вишневецкая, Евтушенко и Башмет, Барбра Страйзанд, Ванесса Редгрейв и Лайза Минелли... Гостей приветствует невысокий коренастый господин в жгуче чёрной бороде — флибустьер, поразительно смахивающий на булгаковского Арчибальда Арчибальдовича, каким я его себе представляю. Это Роман Каплан, совладелец «Самовара». Второй совладелец — Михаил Барышников — сюда тоже захаживает. «Самовар» был любимым местом и Иосифа Бродского, третьего совладельца ресторана.

...Там, где коридор переходит в зал, стоит белый рояль. В тот первый вечер мы приехали в «Самовар» рано, за роялем ещё никого не было. Занятая автографами на стенах, я не заметила, как появился пианист, и опомнилась при звуках Лунной сонаты. Почему-то меня совсем не поразило, что в ресторане играют Лунную сонату — она очень органично звучала в этих стенах — а поразило меня высочайшее мастерство исполнения, достойное концертного зала. За роялем сидел невысокий худой человек; молодое лицо контрастировало с почти полностью лысым черепом; мягкий овал, но резко очерченные складки, грустные еврейские глаза — Саша Избицер. После «Лунной» он запел Вертинского; потом романсы и старые советские песни. Он пел, глядя на нас — пел для нас, и Ирка иногда ему подпевала, срывая аплодисменты зала. В перерыве Саша подсел к нам за столик, и мы познакомились.

Надо сказать, что я не единственная, кто был сражён Сашиной игрой и пением. Я оказалась в весьма достойной компании. Ростропович как-то праздновал в «Самоваре» свой день рождения и услышал Сашину игру. Он пригласил Сашу в Париж играть на крестинах Славы-внука.

Саша рассказывал, что дочери Ростроповича поставили перед ним задачу — «спровоцировать» их маму на пение. Г.П.Вишневецкая, замкнутая в обществе, обычно отвергала все просьбы опении, от кого бы они ни исходили». Задача, таким образом, оказалась не из лёгких, но Саша с ней справился и Галина Павловна под его аккомпанемент исполнила целую программу из старинных русских романсов и цыганских песен.

«Блистательный петербуржец, один из лучших наследников русской музыкальной школы», — написал о нём Евтушенко.

...Когда мы ехали домой, я всю дорогу приставала к Ирке и Арику с расспросами о Саше. Кое-что я узнала от них, многое он потом рассказал мне сам.

## Саша

*Ночи на свист соловьиный  
промаывать.*

*Б. Пастернак*

*...Человек из первой десятки  
пианистов мира, только ещё  
без номера...*

*Е. Евтушенко*

Когда-то Саше-школьнику подарили на день рождения пластинки с записью «Руслана и Людмилы». Он дослушал их «до дыр», они и сейчас с ним в Америке:

— Они издают такой звук, будто на них жарится яичница.

Потрясённый «Русланом и Людмилой», Саша тотчас сочинил в уме сценическое действие оперы во всех подробностях. Тогда он ещё не ведал о существовании профессии оперного режиссера и в Ленинградскую Консерваторию поступил сначала по классу фортепьяно в класс профессора Н.Е.Перельмана; проучившись год, к фортепьянному добавил вождеденный оперно-режиссёрский факультет. Четыре года он благополучно учился на обоих. Но наступили трудные времена, в Консерватории поменялось начальство, и новые начальники учёбу Саши одновременно на двух факультетах сочли недопустимой роскошью. Ходатайства профессоров не помогли, пришлось выбирать, и Саша выбрал фортепьяно. Вскоре, однако, у него произошёл второй серьёзный конфликт с консерваторскими властями — на этот раз на почве распределения — и он вернулся домой в Донецк, не получив фортепьянного диплома... Неожиданно пришла телеграмма от заведующего кафедрой оперно-режиссёрского факультета, профессора Романа Иринарховича Тихомирова, который предлагал Саше поехать в Ташкент, поставить там дипломный спектакль и защитить экстерном оперный диплом.

Дипломный спектакль пришлось ставить по музыкальной комедии-сказке совсем ещё юной Дины Рубиной. Строп-



тивный Саша с ней (пьесой) и с ней (Диной) немало намучался (не сомневаюсь в полной взаимности с Дининой стороны), но пьесу всё-таки поставил. Всё, казалось, налаживается, спектакль прошёл с разумным успехом. На торжества по поводу премьеры приехала из Донецка Сашина мама. Но банкет состоялся без Сашиного участия: пока мама, остановившаяся у родственников, гладила его выходную рубашку, неожиданные и неприглашённые гости — представители военкомата — забирали Сашу на военную службу. Они отвезли его аэропорт, оттуда — в аэропорт, посадили в самолет и отправили в Сибирь. Ему повезло — могли послать и в Афганистан, тогда как раз шла та самая война.

В армии Саша имел шанс приобрести полезные профессии каменщика и бетонщика, на случай, если после укладки кирпичей не сможет играть на фортепьяно. К счастью, вскоре выяснилось, что он — единственный во всей части — мог грамотно писать и печатать по-русски, и его забрали в штаб. По сравнению с укладкой кирпичей это был санаторий.

...Как-то он по пятому разу мыл пол в казарме (в этой сфере у него не было высокой квалификации и сержанта всё не устраивал результат); был включён телевизор, и Саша вдруг услышал родной голос — это его учитель по истории театра, Исаак Давидович Гликман, читал письмо Шостаковича памяти Солертинского. Это был голос из другого мира, из другой, ставшей нереальной, жизни... На следующее утро Саша написал письмо Гликману в Ленинград, возникла переписка, положившая начало близкой и многолетней дружбе Саши с его бывшим профессором.

...К тому времени, когда Саша вернулся из армии, атмосфера в Консерватории изменилась и бывшие начальники были смещены со своих высоких постов. Саша получил сразу оба диплома — пианиста и оперного режиссёра. Вскоре, пройдя конкурс, он начал работать в Малом Оперном театре в Ленинграде. Параллельно играл в филармонии сольные и ансамблевые концерты, ставил музыкальные капустники — один из них журнал «Театр» назвал самым интересным событием театрального сезона в Ленинграде.

— Что ж ты уехал?

— Знаешь, всё в комплекте. Я жил в коммуналке. Когда у меня бывали сольные концерты, готовиться приходилось ночами, потому что работа в Оперном не оставляла другого времени. Соседи, конечно, в восторг не приходили... За сольный концерт я получал сорок четыре рубля... На Невском у Гостиного Двора раздавали фашистские листовки... Плюс ещё дирижер Валентин Васильевич Кожин (светлая ему память!), который взял меня в Малый Оперный и благодаря настойчивости которого я стал, наконец, «выездным», остался во Франции — после этого в театре началась чехарда с дирижерами. Были и другие причины. Но главное — то, что я стал задыхаться, мне надо было резко поменять образ жизни. В девяносто втором году Малый Оперный приехал в Нью-Йорк. У меня здесь родственники. Я поехал к ним, они мне сказали: наш дом — твой дом, и я остался в Америке.

Надо было искать работу, и замечательный художник Гриша Брускин посоветовал мне пойти в «Самовар» и попробовать там. Не называя Каплану его имени, я зашел «с улицы». Роман Каплан меня послушал, я ему понравился. Он дал мне в «Самоваре» сначала один день, теперь их четыре. Я, конечно, в ресторанах раньше никогда не играл, но мне совсем не пришлось себя ломать. В «Самоваре» нередко возникает такая атмосфера, как в моей петербургской комнате, когда у меня собирались друзья и мы пели ночи напролёт.

Еще мне очень помог приехавший с театром на гастроли замечательный бас из Литвы Владимир Прудников; он рассказал, что в Нью-Йорке живёт его учитель Генрих Годович Перельштейн, Гарри, и дал мне его телефон. Для литовской культуры имя Перельштейна — человека трагической судьбы, ярко талантливого и редкого по доброте и отзывчивости — легендарно, почти свято. Несколько лет назад его не стало, и это тяжелейшая утрата для меня. А тогда я поехал к Гарри, он послушал меня минуты три и принялся звонить друзьям. Они организовали мне концерты в нескольких домах, в результате у меня появились ученики и хоть какие-то деньги. Какое-то время я ещё прирабатывал концертмейстером, в том

числе в Американском Балетном Театре и в балетной группе имени Джоффри, но когда понял, что для жизни мне достаточно учеников и «Самовара», оставил балет.

...Как-то, оказавшись с Сашей в одной компании, Арик услышал его игру. Он был изумлён. Ирка тогда очень болела, но от Сашиной игры совершенно воспряла и они всю ночь упоённо пели вместе. Арик тогда сказал ему: «Я буду тебя записывать — ты только навещайся к нам и пой с Ирккой! Это для неё важнее всех лекарств».

— Когда Арик записал меня в первый раз и я прослушал запись, я пришёл в ужас — как далеко я ушёл от профессионализма при многолетней борьбе за выживание... Я возобновил серьезные занятия на рояле. Естественно, мне необходимо было «постороннее ухо», музыкант, которому бы я доверял. Им оказался превосходный фортепьянный педагог Те-мури Ахобадзе. Но если я сохранился или возродился как пианист — я навсегда благодарен Арику, это его заслуга».

Судьбоносная встреча с Ариком стала поворотным моментом в Сашиной жизни. У него появился первый профессионально записанный компактный диск.

«Когда я прослушал первый компактный диск Избицера — фортепьянные транскрипции Листа, я ахнул — я понял, что среди нас ходит ещё мало кем узанный гений, правда, признанный многими великими профессионалами, включая Ростроповича, и, в конце концов, обречённый на мировой успех... Его первый диск — шедевр исполнительского мастерства, ненавязчивого, но проникающего в самые глубины сердца слушателя...». Это написал Евтушенко.

За первым диском последовал второй — сонаты Бетховена. Я была в Нью Йорке, когда Арик их записывал, и наблюдала мучительную борьбу между двумя высокими профессионалами. Они чуть не расстались. Но вот результат: «Я слушал генеральную репетицию в квартире Избицера... Временами Бетховен в его исполнении чуть ли не акварелен... Сила исполнения была такова, что стены раздвинулись, как будто мы оказались в Московской Консерватории или в Линкольн

Центре... Я раньше мучался тем, что дарить своим друзьям. Я уже дарю и буду дарить записи Избицера. Я верю в звезду этого пианиста» — это опять Евтушенко.

Благодаря блестящим записям Арика, у Саши появились концерты в Америке и Европе. Он, наконец, играет с большими оркестрами в больших залах, но не забывает и «Самовар».

С другой стороны, благодаря Саше, у Арика открылось второе дыхание в его настоящей неугасающей страсти — звукозаписи.

И благодаря им обоим, я не чувствую себя такой одинокой в Американской Юте, в несусветной дали от всего, что мне дорого. Работая, я вставляю в компьютерный дисковод Сашин диск и ловлю в звуках его музыки дыхание родных мне людей — а что в мире может быть важнее этого?

## Постскрипtum

В одном из своих интервью Саша рассказал о музыкальных вкусах владельцев и посетителей «Русского Самовара». Мне показалось это достойным более широкой огласки. С Сашиного разрешения я делюсь с вами этой информацией.

— Бродский любил, когда я играл классику, и ценил её больше всего. Но он также просил меня сыграть «Прощание славянки» и «Что стоишь, качаясь...» — это были его любимые песни.

Анатолий Рыбаков предпочитал романсы. Ему нравились романсы Вертинского. За неделю до смерти он зашёл в ресторан, сказав: «Я зашёл специально послушать Вас...».

Жерар Депардье просил меня несколько раз исполнить «Выхожу один я на дорогу...». (Вспоминая о том вечере, Саша рассказал мне, что в середине ужина Депардье внезапно, выйдя из-за столика, превосходно спел и станцевал номер из «Скрипача на крыше» — песню Тевье-молочника «Если бы я был богачом»).

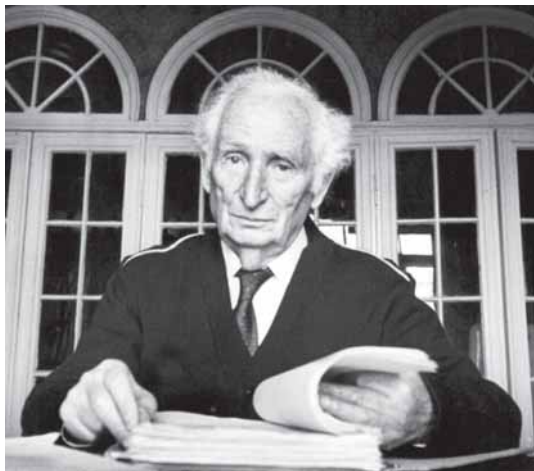
Марсель Марсо, естественно, просил играть французские ностальгические песни, репертуар Ив Монтана.

Евтушенко любит оперетты, у его особая страсть к Кальману. Как-то я записал для него целую кассету из оперетт Кальмана.

Михаил Барышников никогда ничего особенного играть не просит — просто ему нравится всё, что я играю. Я имею наглость это сказать.

Я счастлив, если своей музыкой я провоцирую посетителей открыть рот. Душа запела — и Хворостовский встал и запел. Башмет часто ходит в ресторан, и мы с ним играем в четыре руки. Или с Гергиевым. Великая Чечилия Бартоли как-то пела под мой аккомпанемент. Все были счастливы — и я первый.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ



1989 год. Папе 91 год. Его книга «На рубеже двух эпох — дело врачей пятьдесят третьего года», написанная в 1972 году, только что опубликована издательством «Книга». Папа счастлив. Всего несколько лет назад — кому бы могло придти в голову, что такая книга может быть опубликована в СССР?! Эта публикация вызвала настоящий шквал. Журналисты, конодокументалисты, телевизионщики со всего света не вылезали из нашего дома.



Папа с родителями, старшей сестрой Верой и братом Зоей (папа в первом ряду, лысый, зажатый между родителями). 1903 или 1904 год, Симферополь. Деда в начале двадцатых годов зарезали в Феодисии бандиты, бабушку и папиного брата Зою в начале Второй Мировой Войны убили в Симферополе фашисты. Тетя Вера и папа дожили до глубокой старости.



Мама в юности (стоит во втором ряду) с сестрой Инной (сидит справа), братом Гришей, и их приемной матерью тетей Соней (в центре). Витебск, тысяча девятьсот десятые годы.

Мама родилась в еврейском местечке Ружаны, недалеко от Витебска. Ее мать умерла в молодости, оставив четверых детей. Их забрала к себе в Витебск родственница, тетя Соня Яхнина: своих детей у неё не было. Тетя Соня и ее муж дядя Кизя принадлежала к в Витебской аристократии; приемным детям они дали блестящее медицинское образование. Мама училась в Москве и стала крупным физиологом, тетя Инна — популярным в Ленинграде зубным врачом, дядя Гриша и дядя Руня (младший, на фотографии его нет) были известными Ленинградскими хирургами.

### **Тетя Инна**

В каждой семье есть какая-нибудь семейная тайна. В нашей семье такой тайной был возраст тети Инны. К этому вопросу тетя Инна относилась очень болезненно. Считалось, что тетя Инна мамина младшая сестра, и мама всячески поддерживала эту версию. Фотография, на которой гимназистка-мама стоит над грудастой созревшей Инной выдает истинное положение вещей. Мама эту фотографию никогда никому не показывала — я нашла ее уже после маминной смерти.

Тетя Инна жила в Ленинграде одна, замужем никогда не была, мама ее жалела и нежно любила. Мама вообще была очень привязана к своим родным.

Каждый год тетя Инна приезжала на все лето к нам на дачу. Она страдала сердечными приступами, и несколько раз за лето приходилось вызывать к ней Скорую Помощь. Врач «Скорой» первым делом интересовался, сколько Инне лет. Удивляя не впервые приезжавшего к ней врача,

тетя Инна с каждым годом убавляла свой прошлогодний возраст на год, а то и на два. «Если дело пойдет таким темпом, — волновался папа, — скоро придется покупать Инне пеленки и коляску!»

Я долгое время считала Тетю Инну старой девой, пока вдруг не выяснилось, что у нее есть поклонник дядя Боря, да какой! — коммерческий директор Европейской Гостиницы в Ленинграде! К разнообразным праздникам он дарил тете Инне необыкновенно красивые коробки шоколада. Шоколад тетя Инна очень любила и съедала сама в Ленинграде, а коробки, действительно редкостные, привозила нам на дачу показать и потом увозила обратно: она их коллекционировала. Я в детстве находила такой оборот дел весьма бестактным, а тети Иннин приезд на дачу — катастрофой, но мама всегда ее очень ждала и к приезду тщательно готовилась.

Тетя Инна была болезненно брезглива — непонятно, как это сочеталось с ее профессией дантиста. Никто даже и подумать не смел пройти рядом с ее кроватью. Папа однажды забылся и присел на ее постель. Разразился страшный скандал. «Ничего, Инна, ничего, — успокаивал ее папа, — в самом крайнем случае сделаем аборт!».

Может быть, из-за своей брезгливости тетя Инна терпеть не могла животных. Однажды папа принес на ладошке крохотный шелковый черный комочек карликового пуделя, нашу будущую Топси; она была еще слепая и такая маленькая, что нельзя было разобрать, где у нее головка, где хвостик. «Яша, — сказала Инна строго, — немедленно посадите собаку на цепь!».

Перед каждой едой Инна регулярно спрашивала папу: «Яша, Вы вымыли руки?». Я росла, кончила школу и Университет, вышла замуж, родила Вику, а вечный вопрос «Яша, Вы вымыли руки?» продолжал три раза в день звучать у нас на даче и означал связь времен.

Иннины «мо» оставались в наших семейных анналах, мы и сейчас ими пользуемся по разным подходящим случаям.

Но вот о чем я думаю: как смогла тетя Инна в блокадном Ленинграде, в городе, где не было ни воды, ни тепла, ни света, а только бомбы и трупы, всю войну преданно лечить гнившие и выпадавшие зубы изнуренным ленинградцам?





Папа и мама — молодожены.  
1924 год.

Семейная легенда рассказывает, что папа женился на маме «по ошибке». Было это в двадцать четвертом году. Папа за год до этого окончил Московский Медицинский Университет и был уже молодым профессором, а мама — выпускницей. приятели обещали познакомить папу на выпускном вечере с красивой девушкой по имени Бэтти Эпштейн.

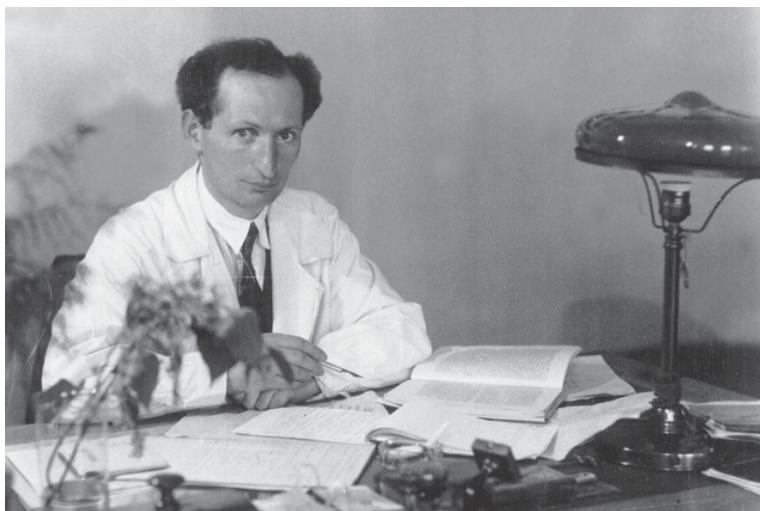
Папа увидел танцующую маму, спросил у соседа, кто это, ему ответили — Эпштейн. Папа сразу влюбился. приятели заметили его ошибку: «Что ты делаешь, это же не та Эпштейн! Эта — Соня, а тебе нужна Бетти!», — но было поздно. Папа категорически заявил, что это именно та Эпштейн, и вскоре они с мамой поженились. Бетти Эпштейн потом бывала у нас в гостях и всегда сетовала на папину «ошибку».

Первые совместные годы мамы и папы были очень трудными: они не имели своего угла и скитались по коммуналкам. Плюс к этому в приданое к маме папа приобрел старушку Розальвовну.

Розальвовна была когда-то директором маминной гимназии в Витебске; до революции она много бывала в Париже и в гимназии преподавала французский язык. В хаосе Октябрьского переворота она совершенно потеряла голову и пыталась покончить с собой. Моя мама была идеалом доброты и сочувствия. Она взяла Розальвовну к себе, и остаток жизни Розальвовна провела в нашей семье, долгое время отделенная только ширмой от кровати моих молодых родителей. Сколько я ее помню, она всегда кричала, стонала и жаловалась, что умирает, но папа смеялся, что она забыла, как это делается. Папа подшучивал над ней, тяготился ее обществом, но терпел и не роптал. Умерла Розальвовна глубокой старушкой в конце сороковых годов.

Когда я родилась, Розальвовна говорила со мной только по-французски, и я в детстве одинаково хорошо владела обоими языками. После смерти Розальвовны, к сожалению, стремительно все забыла.

Кроме Розальвовны, с нами часто жила тетя Анна Яхнина, мамина двоюродная тетя. Я ее очень любила. В молодости тетя Анна примкнула к эсерам. Она была врач-эпидемиолог, работала на сыпнотифозных и холерных эпидемиях, постоянно моталась между Поволжьем и Средней Азией, и каким-то чудом уцелела в тридцать седьмом и позже. За заслуги по борьбе с эпидемиями тетя Анна похоронена на Новодевичьем кладбище.



*Папа — молодой, но уже известный ученый.*



*Мама — молодая сотрудница Лины Соломоновны Штерн.*



*Не имея своего угла, мама с папой позволили себе завести мою сестру Лялю только через четыре года после свадьбы.*



*Папа мечтал о сыне, и через десять лет после Лялиного появления на свет мои родители повторили попытку, но родилась я... Папа был огорчён, но быстро смирился с этой неудачей.*



Мы с сестрой Лялей, перед войной. Папа был в это время Проректором 2-го Медицинского Института. Когда началась война, он организовал эвакуацию института из Москвы и ушел добровольцем на фронт, а мы с мамой уехали в Омск. Уехали мы огромным табором: моя сестра Ляля, я, Розальвовна, тетя Анна Яхнина и куча моих ленинградских кузенов и кузин по маминной линии, с матерями (их отцы — мамыны братья тоже ушли добровольцами на фронт, нахально нарушая тем самым статистику общества «Память», согласно которой евреи отсиживались в тылу).

### **В Свердловске у Вонсовских. Бадика**

По дороге в Омск весь этот табор свалился в Свердловске на голову дальним родственникам по папиной линии, Шубиным-Вонсовским. Сергей Васильевич Вонсовский (все дети, вклю-

чая меня, почему-то звали его Бадика) был крупный физик. В тридцать седьмом году его ближайшего друга, физика Шубина, арестовали, оставив сиротами трех маленьких детей и тяжело больную жену. Сергей Васильевич на ней женился и вырастил шубинских детей. Я хорошо помню его по несчастным встречам в Москве. Бадика стал впоследствии Президентом Уральского Филиала Академии Наук СССР, и это редкий, быть может даже уникальный случай, когда при советской власти столь высокий пост занимал такой замечательный человек.

...А тогда, в сорок втором, мы всем табором какое-то время жили у него в Свердловске — разумеется, без прописки. По квартирам часто ходила милиция проверять, не живут ли в квартире посторонние. Пускать посторонних было категорически запрещено, но все равно почти у всех в Свердловске жили бежавшие из Москвы или оккупированных территорий родственники и друзья. Днём взрослые нелегалы куда-то уходили, а меня оставляли. Я все это хорошо запомнила, потому что, когда приходила милиция, меня прятали в уборной, не зажигая света, чтобы инспектор не подумал, что там кто-то есть. Когда мама бывала дома, прятали с мамой, а чаще совсем одну. В уборной было холодно, сыро, и страшно, к тому же пахло так, как только и может пахнуть единственный туалет в густонаселенной квартире. Милицейская форма потом долго ассоциировалась у меня с этим запахом.

...Жить без прописки было опасно и для хозяев, и для нас, и мы уехали в Омск.

### **В Омске**

В Омске было очень голодно, и семьям фронтовиков выделили участки то ли за Омкой, то ли за Иртышом — там сажали картошку. Мама с моей сестрой Лялей время от времени ездили ее окучивать. Однажды поздней осенью мама вернулась из этой поездки, закрывая лицо большим платком. Я заглянула под платок и заорала от ужаса: лица у мамы не было, вместо него с обнажен-

ных костей свисали ключья окровавленной кожи и мяса: машина, на которой мама ехала, перевернулась на замерзшей реке, мама выпала и проехала лицом по шершавому, как наждак, льду. Ляля отвела маму в госпиталь, там ей наложили много швов. А картошку нашу, нашу надежду, над которой мама и Ляля трудились все лето, кто-то выкопал...

...Я часто ходила в мамин госпиталь читать раненым стихи Твардовского. Раненые меня очень любили — я олицетворяла для них оставленных дома детей. Один раненый написал мне замечательное письмо, а в конверт насыпал сахарный песок — по тем временам неслыханную роскошь. Мама сказала, что письмо надо сохранить, раненого поблагодарить, а сахар вернуть — ему он нужнее. Мне было четыре года. Я предложила: «Давай лучше так: раненого поблагодарим, письмо вернем, а сахар съедем». Мама не разрешила, и я отнесла сахар обратно, но раненый не взял.

Однажды папа прислал нам с фронта с каким-то раненым две пачки печенья. Мама растёрла печенье в порошок и каждый вечер перед сном давала мне одну чайную ложку. Я засыпала и просыпалась счастливая — я знала, что вечером меня ждёт райское угощение...

...Набитая соломой кукла, которую вы видите на фотографии, была единственной куклой в моей жизни. Штопанная — перештопанная мамой, она прошла через все мое детство.



Папа-подполковник. 1942 год. Папа был Главным Патологоанатомом Карельского и Северного фронтов, был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной Войны. В конце 1944 года был контужен и незадолго до окончания войны вернулся в Москву. Папа своими орденами очень дорожил — он, как и многие, платил за них кровью, а сейчас их можно купить за гроши у фарцовщиков на любой барахолке мира...





Этот редчайший снимок — вскрытие погибшего бойца прямо на поле боя -иллюстрация к разделу медицины «фронтовая патология». Папа (рядом с медсестрой, в центре) очень дорожил этим снимком и хотел отдать его в Музей Истории Медицины.



Лина Штерн. На обороте фотографии надпись: «На добрую память моей дорогой Софии Яковлевне. Лина Штерн. 8 апреля 1958 года». Снимок сделан за тридцать лет до этого, в Швейцарии.

Лина считала себя дурнушкой, замуж никогда не выходила и целиком отдала себя науке, достигнув в ней необычайных высот. На самом деле, судя по этой фотографии, Лина была вполне привлекательна, при этом дьявольски умна и обладала великолепным чувством юмора. В Оксфорде в нее был влюблен один английский профессор (впоследствии он стал личным врачом Эйнштейна и написал о нем воспоминания). Лина была с ним помолвлена, но расторгла помолвку, потому что жених настаивал, чтобы после свадьбы она прекратила работу и посвятила себя семье.

Расторгнув помолвку, Лина уехала в Советский Союз, чтобы участвовать в создании самого справедливого в мире общества. «Куда ты едешь? — говорили ей друзья. — Тебя там ограбят, посадят в тюрьму и сошлют в Сибирь». Друзья ошиблись лишь в деталях. Первые годы в Советском Союзе Лина очень успешно работала и стала первой советской женщиной-академиком; Сталин даже презентовал ей дачу в поселке академиков в Мозжинке, но в сорок восьмом году Лину арестовали как члена Еврейского Антифашистского Комитета, продержали какое-то время на Лубянке и сослали в Казахстан. Ей было тогда семьдесят лет. По каким-то соображениям Лина не была расстреляна 12 августа 1952 года вместе с другими членами Еврейского Антифашистского Комитета — Сталин лично вычеркнул ее имя из списка осужденных на казнь.



На этом снимке — Лина с моими родителями у нас в квартире в день ее возвращения из ссылки третьего июня 1953 года, ровно через два месяца после папиного освобождения из тюрьмы. Линина квартира была опечатана все пять лет ее отсутствия; у нее были там ковры и меховые шубы, и когда сняли печати, оказалось, что в квартиру невозможно войти из-за стоящих там плотной завесой туч моли. Пока Ленину квартиру чистили, она жила у нас. В эти дни она много рассказывала моим родителям о своем пребывании на Лубянке; она так и не поняла, в чем ее обвиняли. Следователь ругал ее матерно. Лина говорила ему: «Вы хотите как-то оскорбить мою маму, но зря стараетесь — я Вашей лексики не понимаю». Ее память об этих событиях стала очень быстро увядать и вскоре стерлась совсем — именно с этого начался ее склероз; папа называл это, по Павлову, «охранительным торможением».



*Губеры, Андрей Александрович и Раиса Борисовна. Андрей Александрович был Главный Научный Хранитель Музея Изобразительных Искусств им. Пушкина. С тетей Раяей моя мама сидела за одной партией в Витебской гимназии. Тетя Рая кормила меня грудью, когда после родов моя мама заболела тифом. Это была моя «молочная семья». «Я вскормил тебя грудью своей жены!» — постоянно напоминал мне Андрей Александрович, намекая, что я должна соответствовать оказанной мне чести.*

*Губеры были самыми близкими друзьями нашей семьи. Рискуя свободой и жизнью, они спасали нас, когда папу посадили.*





Губеры, Марина и Шурик. В детстве мы были неразлучны. Когда папу арестовали, четырнадцатилетний Шурик стал «связным» между нами и Губерами; он передавал нам еду. По большей части, мы встречались недалеко от его дома на улице Москвина, куда я приезжала с Сокола невероятно замысловатыми путями, каждый раз меняя маршрут.

Однажды Шурик пришел на эту встречу со своим другом, ироничным стройным мальчиком со стальными глазами, с таинственным, как заморские острова, именем Ежик Амбатьелло. Я взглянула ему в глаза и забыла, как меня зовут. Французы называют это «ку'д амур» — удар любви. Мне было четырнадцать лет. Я исхитрилась влюбиться, когда папа сидел в Лефортово...



*Тетя Юля (Юлия Яковлевна) Мошковская не побоялась привести меня к себе домой и накормить, когда папа сидел в Лефортово.*

*До Революции тетя Юля училась во Фрайбургском Университете, была специалисткой по истории средневековой Германии. В Германии она полюбила молодого немецкого профессора и родила сына. С маленьким Юрой (Юргеном?) она приехала в Россию навестить родителей, но тут началась первая мировая война и все, что за ней последовало, и она уже не смогла выехать обратно. Связь со своим немецким мужем она полностью утратила: в те годы даже простая переписка с ним могла обернуться трагедией. Впоследствии Тетя Юля вышла замуж на друга моих родителей, крупного советского гельминтолога Шабса Давидовича Мошковского.*

*Незадолго до своей скоропостижной смерти тетя Юля наткнулась в немецком литературном журнале на рассказ «Юлия». Автор рассказа, по профессии историк, писал о любви молодого немецкого ученого к юной россиянке, растворившейся вместе с их новорожденным сыном в бескрайних просторах революционной России. Писал о том, что всю жизнь искал ее и так и не нашел — ни в ком. Тетя Юля пришла ко мне с этим рассказом; она читала мне его по-русски и мы обе плакали.*

*Тети Юлин сын Юра стал Юрием Шабсаевичем Мошковским (не немец, конечно, но тоже не сахар). В паспорте у него стояло место рождения — Германия, и на вопрос в анкете, бывал ли он за рубежом, отвечал он положительно, а по поводу цели поездки писал: «для рождения».*



На этом редком снимке вы видите многих будущих «врачей-убийц» незадолго до «дела врачей». На даче, на 42 км по Казанской дороге, они празднуют день рождения Бориса Борисовича Когана (сидит спиной к нам в центре). В левом верхнем углу, в профиль — главный «убийца», Мирон Семенович Вовси, во время войны — Главный Терапевт Советской Армии, гениальный врач и великолепный организатор, обеспечивший всю терапевтическую службу фронта. Ниже — Лина Штерн; справа, совершенно лысый — профессор Зеленин, автор «капель Зеленина». Папы на снимке нет: он фотографирует.

Эту фотографию отобрали при обыске. Она фигурировала в «деле врачей» как свидетельство готовящегося заговора.



«Врач-вредитель» номер один Мирон Семенович Вовси.



*Жена Мирона Семеновича Вовси, Вера Львовна, пыталась сделать из меня человека и учила вышивать. Ее арестовали вместе с Мироном Семеновичем, она сидела на Лубянке. Когда в газетах появились сообщения о болезни Сталина, люди Берии пытались выяснить у арестованных врачей (естественно, не сообщая, кто пациент), может ли такой больной выжить. Следователь Веры Львовны сказал ей, что у него заболел дядя и перечислил симптомы. «Если Вы ждете наследства от Вашего дяди, — сказала Вера Львовна, — считайте, что Ваше дело в шляпе!»*

*Моему папе следователь тоже перечислил симптомы и спросил, кого бы папа порекомендовал пригласить к такому больному. Папа скрупулезно перечислил фамилии арестованных врачей, каждый раз прибавляя: «но он у вас». «А такого-то?» — спросил следователь. «Ну, к своему родственнику я бы его не позвал», — ответил папа.*

*«Может ли такой больной выжить?» — настаивал следователь. Папа понял, что происходит что-то экстраординарное, и ответил: «Нет, необходимо умереть». Он потом часто цитировал этот свой провидческий прогноз.*

В личное дело Форма № 19

тюрьма ГУГБ НКВД

Копия квитанции № 8149

Принято, от <sup>для</sup> заключенного Раненерн  
Млоб Львович  
инициалы

Деньги в сумме Руб. 100  
сто рублей

Деньги принял Ав  
(подпись)

Указанная в квитанции сумма Руб. 100 коп.  
записана правильно.

Квитанцию получил на руки В.Виницкий  
(подпись слатчина)

Т. шк. Воровского. II.10972 ст

Вскоре после смерти Сталина нам позвонил человек из МГБ, сообщил, что папа жив и что мы можем возобновить передачи (передачи были прерваны из-за папиного упорного отказа давать ложные показания; папу перевели на «особый режим», который не предусматривал передач, но мы, конечно, об этом не знали и думали, что папы уже нет в живых). После смерти Сталина папу немедленно сняли с «особого режима». Эта квитанция, можно сказать, историческая — это наша первая передача папе после перерыва.

СССР  
МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С П Р А В К А

3 апреля 1958 г.

№ 84  
г. МОСКВА

Выдана гражданину РАПОПОРТУ Якову Львовичу, 1898 года рождения, в том, что он с 8 февраля 1958 года по 8 апреля 1958 года находился под следствием в бывшем Министерстве Госбезопасности СССР.

В соответствии со ст.4-й п. 5 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР следствие по делу РАПОПОРТА Я.Л. прекращено.

РАПОПОРТ Я.Л. из-под стражи освобожден с полной реабилитацией.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД СССР



А. Кузнецов  
/А. Кузнецов/

Просто справка



*Папа вернулся!*



*Снова за работой. 1953 год.*





Мой день рождения, двадцать шестое августа, знаменовал закрытие дачного сезона и обычно сопровождался большим праздничным концертом. Снимок сделан в день моего двенадцатилетия, за год до папиного ареста. В составе дачного хора я только что исполнила песню о Сталине. Родители мои страдали молча и ничего мне не объясняли. Через год события «Дела врачей» открыли мне глаза на мир.



Родители пытались отвлечь меня от пламенной любви к Вождю и приобщить к науке.



Дружеские шаржи к одному из папиных юбилеев.



Папа и Катя, девяносто четвертый год. Папа познакомился с Катей на кладбище — моя мама и Катин первый муж похоронены в соседних могилах. Папа и Катя прожили вместе около двадцати пяти счастливых лет.

Фотография сделана американским миллиардером Джимом Соренсоном. Папа поразил меня тем, что в свои девяносто пять лет довольно свободно и со свойственным ему юмором общался с Джимом по-английски, хотя никогда не бывал ни в одной англоязычной стране, да и профессиональную литературу уже какое-то время не читал из-за катаракты.





Алёша Блюменфельд и наш общий друг Эрик Бабицкий, впоследствии погибший на Алтае (читайте о них в рассказе «Первые уроки»).

Путешествуем по Крыму, 1962 или 63-й год.

Эрик был замечательный профессиональный художник, у меня сохранилось несколько подаренных им рисунков. В том году, когда были сделаны эти фотографии, мы с Алёшей и Эриком целый месяц бродили с палаткой по восточному Крыму. Питались в основном мидиями и рыбёшкой, если Алёше удавалось не промахнуться из его подводного ружья. Вели путевые записки: Эрик рисовал, я подписывала в стихах. Вечерами, пока не стемнеет, листали странички этого альбома, вспоминали обрисованные и описанные там события, пили вино и были счастливы. В таком расслабленном и диком виде вышли на Южный Берег — а там цивилизация, на берегу продают чебуреки. Мои оголодавшие спутники на все сохранившиеся у нас копейки купили вина и чебуреков. Я чебуреков не люблю, так что им досталась и моя порция. Через пару часов они стали постоянно куда-то исчезать из поля зрения, то один, то другой, то оба сразу. К вечеру раскинули где-то в укромном месте палатку и я попросила достать альбом — хотела записать последние впечатления. Смущённый и грустный Эрик вынул...одну обложку.

— Понимаешь, у этого гада чебуреки были, видно, издохлой кошки...



*Сейчас Виктор Александрович Кабанов — химик номер один нашей страны, Академик-Секретарь Отделения Общей и Технической Химии Российской Академии. А в том далеком году, когда я под его руководством делала на Химфаке диплом, он только-только защитил кандидатскую диссертацию и оттачивал на мне свое педагогическое мастерство. Мы с Витей были знакомы с детства, потому что его мама Матильда Яковлевна Брайнина работала с моим папой. В школьные годы я была помешана на химии, и Витя — тогда студент второго курса — привел меня за руку в Университетский химический кружок. Витя был дьявольски умен, талантлив, обаятелен и красив — совершенно убийственное сочетание качеств. Может, если б не это, я выбрала бы себе в жизни другую профессию?*



*В Расторгуевском лесу. Мы с Володей познакомились здесь же накануне того дня, когда был сделан одним моим другом этот снимок.*



*Володя несколько дней до изнеможения водил меня на лыжах по лесу, прежде чем привести в свою Расторгуевскую хату. После этого события развивались очень стремительно. Подробности читайте в главке о менингите.*



*Овчарка Руслан, со своей стороны, одобрила Володин выбор.*



Афанасий



Вика накануне отъезда в Израиль, 1990 год. Когда в Советском Союзе кончились краски, ничто уже не могло удержать Вику на Родине. В бытность Вики в художественном училище, девочки практиковали такую стратегию добывания красок: шли в ларек при Союзе Художников, протягивали какому-нибудь маститому Члену Союза мятую пятерку и клянчили: «Дяденька! Купите нам три тюбика охры, два изумрудной зелени... и так далее». «Дяденька» обычно не отказывал. Но времена изменились, и теперь уже «дяденька» шел в Союз Художников с письменным заявлением: дескать, пишу портрет Вождя, нужен тюбик серой на кепку, два тюбика охры и белил на лысину... При таких обстоятельствах, краски для тех, кто не был членом Союза Художников, оказались вне пределов досягаемости.

...В 1989 году мы с Викой впервые приехали в Америку — пока в гости. В Нью Йорке заглянули в магазин художественных принадлежностей. Огромный, несколько этажей... Краски всех мыслимых и немыслимых оттенков, мастей, фирм, и народов... У Вики был настоящий шок.

...В Америке Вика сдала экзамены и была принята в три прекрасных художественных школы — Нью Йоркскую Академию Художеств, Бостонский Университет и куда-то ещё; все предложили ей

большие стипендии. Тут бы ей и остаться, но был месяц май, а занятия начинались в сентябре, и жить в промежутке было негде и не на что. Вика вернулась со мной в Москву... Тем, кто помнит это время, дальнейшее понятно. Чтобы поехать в Америку учиться, нужна была выездная виза; чтобы получить визу, требовалось направление от Министерства Культуры. Вика туда пошла. «Кто ты такая, чтобы ехать учиться в Америку, — сказали ей в Министерстве Культуры. — Мы что, тебя туда посылали? Нет? Не посылали? Ну и иди...»

В нашей семье никто не умеет пробивать бюрократические стены. Учиться в Америку Вика не поехала, но и оставаться в этой стране ни минуты не хотела и подала заявление на отъезд в Израиль. Овир заявления не одобрил: дело в том, что Вика оформляла два спектакля в Тюменском Кукольном Театре, о чем в ее трудовой книжке была сделана неосторожная запись. Прописана в Тюмени Вика не была и, стало быть, два раза по две недели находилась в Тюмени без полицейского надзора. «Пока мы не убедимся, что, живя в Тюмени, Вы не совершали уголовно наказуемых деяний, отпустить Вас из страны не можем», — сказали Вике в Овире. «Как вы можете убедиться, что я их НЕ совершала? — удивилась Вика. — Если б я их СОВЕРШАЛА, вы могли бы в этом убедиться. Но как убедиться в том, что я их НЕ совершала?». «Да, это очень сложно», — согласились в Овире, и полгода никак не могли решить эту животрепещущую проблему, пока я не пригрозила объявить голодовку на их пороге, пригласив друзей из вражьих «голосов» и «Аргументов и Фактов». Овир сдался, так и не получив подтверждения об отсутствии у Вики уголовного прошлого.

...Девятого марта девяностого года Вика улетела в Израиль.



*Вика и Миша в Иерусалиме. 1991 год.*

Миша работал в охране. Его забрасывали в пустыню с палаткой охранять разные объекты, Вика его сопровождала. Один из их рассказов об этом периоде жизни мне очень понравился. Они сторожили что-то важное двумя палатками. Во второй палатке жил молодой бедуин по имени Нур. Нур был очень любознательный, приглашал их пить чай и забрасывал вопросами.

- На каком языке говорят в Европе, — спрашивал Нур.

- На Европейском, — докладывал Мишка.

- Почему люди думают, что Земля круглая, — спрашивал Нур (пустыня в этих местах такая плоская, что, действительно, трудно было понять, почему люди имеют такой странный взгляд на вещи).

- Что больше, Израиль или Советский Союз? — спрашивал Нур. На этот вопрос Вика и Мишка отвечали без запинки.

Сидя около палатки, Вика делала эскизы иллюстраций к книге израильской прозы и поэзии для детей (она потом вышла в издательстве «Аллия»). Нур был совершенно индифферентен к ее занятию — но только до того момента, пока Вика не стала рисовать верблюда. Тут Нур очень разволновался, все подходил смотреть рисунок и спрашивал, скоро ли она кончит. Наконец Вика объявила, что дело сделано и пошла отдохнуть в палатку, оставив рисунок снаружи. Когда она вышла, верблюд был полностью перерисован Нуром. В том, что было так дорого его сердцу, он не мог стерпеть Викиных отклонений от фотореализма. Вике пришлось рисовать нового верблюда. К сожалению, рисунок Нура не сохранился...

*За мир!*

*Вика в Иерусалиме. 1992 год. ...Диалектика учит, что все отрицательное имеет свою положительную сторону. Это утверждение справедливо и по отношению к Войне в Заливе: Вике и Мише пришлось вытащить кольца из носов, потому что на них не налезали противогазы.*

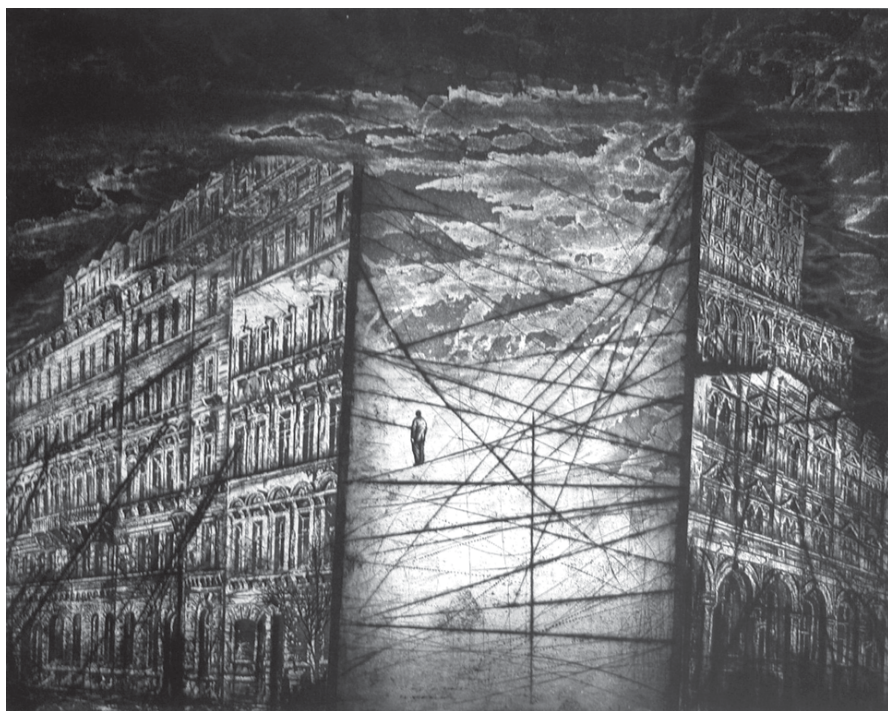


Свою первую мастерскую степень в Америке Вика получила по театральному дизайну. Эту икону она нарисовала и вырезала для спектакля «Вишневый Сад» в Солт-Лэйкском Драматическом Театре. На конкурсе работ выпускников театральных факультетов Америки, она была первой по западным штатам и второй по стране. Однако, получив мастерскую степень по театру, Вика тотчас переключилась на гравюру. Сейчас она делает офорты небывало огромного размера, и фотографии, представленные ниже, дают лишь слабое представление об оригинале. Её работы получают много наград и их покупают американские музеи.





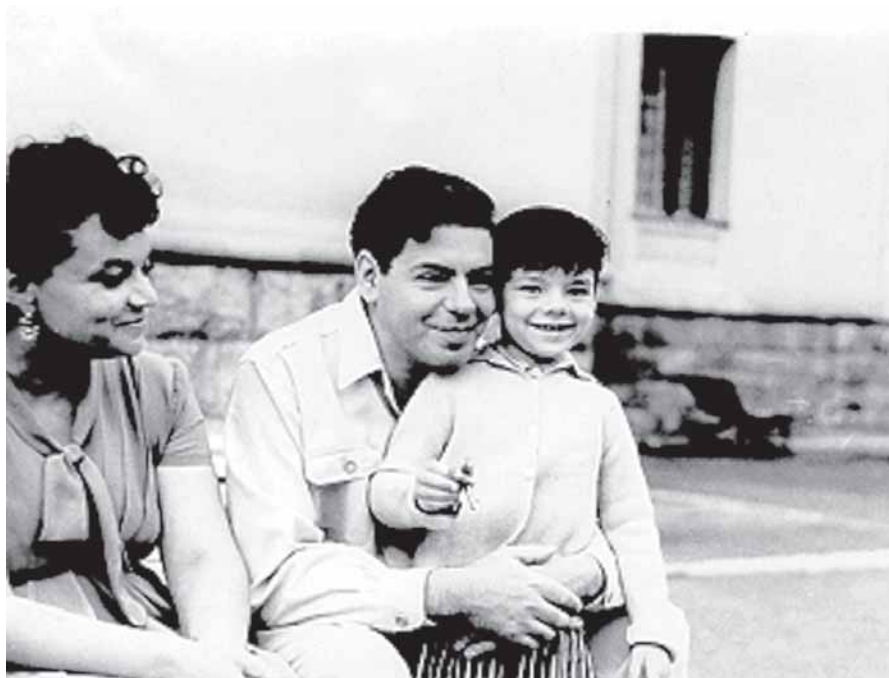












*Мои родители познакомились с Райкиными, по-моему, на каком-то курорте. Косте было тогда, похоже, лет пять. Знакомство продолжалось, хотя за мимолетностью встречи и дальностью расстояния в тесную дружбу не перерасло.*



*Американскому миллиардеру Джиму Соренсону пока еще нравится Ленинград. Завтра персонал гостиницы «Астория» украдет у него паспорт и визу. Подробности драматических событий, сопровождавших нашу с Джимом поездку в Россию, читайте в главке «Визит Джима».*



# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

**МИШКА**  
**Повесть.**

(основано на реальной истории)

*Времена не выбирают –  
В них живут и умирают...*

*А. Кушнер*

### Предисловие

Это — рассказ о неожиданной встрече бывших супругов, каждый из которых в течение почти трёх десятилетий считал другого погибшим. Из одной совместной жизни двадцатый век вылепил две, предварительно изуродовав и изодрав в клочья первую. Две новых жизни стартовали из общего корня, но пошли резко различающимися путями.

... Друзья зовут её Мишка. Сейчас ей за девяносто, она в Германии и тяжело больна, но в семидесятые-восемидесятые годы, когда все мы ещё жили в Москве, встречались и

дружили, Мишка несла такой мощный заряд энергии, что мудрая природа, вероятно, специально озаботилась, создав её такой миниатюрной, чтобы её масса не превышала критическую.

Перед Мишкиной энергией и обаянием пассивали художники, писатели, актёры, режиссёры и даже крепкие, на совесть сработанные администраторы. Крохотная, изящная, всегда со вкусом одетая и аккуратно причёсанная, за один вечер она исхитрялась побывать в трёх разных, далеко друг от друга отстоящих, но интереснейших точках Москвы, навёрстывая упущенное за те украденные из её жизни два десятилетия, когда доступная ей территория была отгорожена от мира колючей проволокой.

За Мишкой тянулась легенда, которую я долго принимала за чистую монету — да и вы, зная Мишку, поверили бы любой, самой невероятной романтической истории. Но когда Мишка рассказала мне, как всё было на самом деле, правда оказалась стократ поразительнее, романтичнее и изощрённее плода самой необузданной фантазии.

## Пролог

Машина неслась по автобану. Мелькали немецкие надписи, сливаясь в один бессмысленный текст. Пожилой человек за рулём сосредоточенно смотрел на дорогу. Казалось, он целиком поглощён ею, но его спутница знала, что водитель глубоко ушёл в себя, и тревожилась. Время от времени он бросал на неё потрясённый и недоверчивый взгляд, словно ставил под сомнение самый факт её существования. Неожиданно он свернул с автобана на небольшую боковую дорогу, остановил машину, взял спутницу за плечи, развернул к себе, заглянул в глаза и произнёс охрипшим от волнения голосом: «Рассказывай!»

## Призрак бродит по Европе...

*Не обещайте деве юной  
Любови вечной на Земле...*

**Б. Окуджава**

В начале тридцатых годов теперь уже прошлого века, Полицайпрезидиум города Берлина зарегистрировал брак молодых коммунистов — немца Курта Мюллера и латышской еврейки, которую все называли Мишка, так не подходило ей длинное и извилистое, как тропа в джунглях, имя Вильгельмина. Тоненькая, изящная, искрящаяся радостью, невеста была прелестна в строгом светлом платье, с букетиком полевых цветов в руках. Это отметила и элегантная молодая дама, по виду — француженка, прохаживавшаяся около двери Полицайпрезидиума в ожидании выхода молодых. По всей видимости, она не была ни с кем знакома: ни сами молодые, ни их немногочисленные гости не обратили на неё внимания — вышли и укатили в небольшой уютный ресторанчик.

Дама сделала несколько шагов им вслед, потом свернула в переулок, и здесь мы с ней расстанемся, чтобы встретиться вновь в назначенный судьбой час — примерно через пятьдесят лет.

...Наскоро пожелав молодым безоблачного семейного счастья, свадебные гости переключились на политику. Призрак коммунизма тогда вовсю надувал щёки в Европе и сеял ветры, которыми носило по миру молодых, энергичных, искренне преданных идее людей. Один такой ветер в 1931 году занёс нашу молодую пару в Москву, где склонный к лидерству Курт, бывший в Германии Председателем Коммунистического Союза Молодёжи, стал Секретарём Коммунистического Интернационала Молодёжи, сокращённо — КИМа. Мишка работала в большом Коминтерне секретарём Георгия Димитрова.

Порывистый, горячий, романтический Курт в СССР пришёлся не ко двору: вскоре у него стали возникать разногласия со Сталиным, который обвинял Курта в «левом уклоне». Дело кончилось тем, что Сталин снял Курта с руководящего поста и направил на перевоспитание в низовую партийную



организацию большого горьковского завода, в среду рядового пролетариата. Гордый Курт вернулся в Германию, где как раз шёл 1934 год.

То, что застал Курт в Германии, совершенно его поразило, привело в недоумение и ужас. Вместо цивилизованных и утончённых соотечественников по улицам маршировали, изрыгая человеконенавистнические лозунги, тупорылые лавочники, шикарным жестом выбрасывая вперёд украшенную свастикой руку. И это нация, давшая миру Бетховена, Шиллера, Гейне и Гёте?! Наконец, Маркса?!

Возвращение Курта из СССР не прошло незамеченным. Он столкнулся на улице с бывшим соседом по парте, ныне преуспевающим эсэсовцем. Крайние левые взгляды Курта были хорошо известны однокашникам. Бывший друг сомневался недолго, и вскоре Курта арестовали.

В гестаповских застенках он держался стойко, никого из соратников по партии не выдал, и был приговорён гестапо к шести годам одиночки. «До сорокового», — подсчитала Мишка, и стала ещё энергичнее трудиться в Коминтерне на благо Мировой Революции. Большую часть времени она теперь проводила в СССР, продолжая работать секретарём Георгия Димитрова и курьером Коминтерна.

Мишкин час пробил двумя годами позже: она была арестована в Москве вместе с другими членами Третьего Интернационала.

Так двадцатый век распорядился с семьёй молодых коммунистов Мюллеров: его — в гестаповские застенки, её — в большевистские...

«До сорокового» у Курта не получилось: когда началась война, ему добавили срок и перевели в фашистский концлагерь Заксенхаузен, откуда в сорок пятом году его освободили англичане.

Выйдя из лагеря, Курт тотчас начал искать Мишку. Все его попытки получить хоть крупицу достоверной информации наталкивались на глухую стену. На Западе ходили смутные слухи о трагической судьбе Третьего Интернационала. Курт

хотел верить в чудо и ждал, что Мишка каким-нибудь неведомым путём материализуется из его сновидений. Но чудо всё не совершалось, и в конце концов Курт пришёл к горькому выводу, что Мишка, повидимому, погибла.

...Но Мишка была жива. Арест задул слабую и призрачную, но всё-таки тлевшую ещё надежду когда-нибудь снова встретиться с Куртом. Германия и Москва, работа и сама жизнь — всё ушло в прошлое. Начались арестантские будни.

### Среди «жён изменников Родины»

*Сильнее и чище нельзя причаститься  
К великому чувству по имени класс...*

*В. Маяковский*

В отличие от Курта, Мишка сидела не в одиночке, а в общей камере, куда непрерывным потоком текли «жёны изменников Родины». Она совершенно не понимала, что происходит в стране, и считала, что её-то арестовали по ошибке, но вокруг сидят настоящие враги, знавшие о преступной деятельности своих мужей и во всём им потакавшие. Мишка вглядывалась в их лица — молодые и старые, красивые и дурнушки, городские и деревенские — метла НКВД мела чисто. В битком набитой тюремной камере она дичилась и ни с кем не общалась, сама себя заключив в одиночку.

Но однажды на соседней койке оказалась прелестаная молодая женщина с таким приветливым, интеллигентным и несчастным лицом, что Мишка не выдержала. Они разговорились. Соседку звали Нюся Бухарина.

— Бухарина? Как — Бухарина? Жена Николая Ивановича?! И сам Бухарин?! Арестованы?! — поразилась Мишка: они с Куртом Бухарина чрезвычайно уважали.

Это был момент прозрения. Мишка вновь оглядела камеру. Лица, лица — молодые и старые, красивые и дурнушки, городские и деревенские... Враги???

Прозрение спасло Мишку, потому что теперь у неё появились друзья. Дружбы вспыхивали и гасли, убиваемые многочисленными пересылками. Но с Нюсей Бухариной Мишке везло – они шли одним и тем же этапом.

...Мишка получила восемь лет строгого режима и отправилась на север, в Усть-Вымь Лаг. Эту крохотную, худенькую, едва заметную под обширной телогрейкой юную даму поставили валить тайгу. Легко предугадать, чем бы всё это кончилось, но тут, на лесоповале, Мишка встретила Наума.

## Наум

*Их брали в час зачатия,  
А некоторых — ранее...  
В.Высоцкий*

*Не везёт мне в смерти —  
повезёт в любви...*

*Б. Окуджава*

Науму Славуцкому не было и двадцати лет, когда его арестовали. Он в это время служил в солдатах. Молодой солдат был наивен и любознателен. На политзанятии в армии он задал какой-то неудачно сформулированный вопрос о троцкизме, а ответом стало четыре года лагерей. Наума арестовали и отправили на север, в Усть-Вымь Лаг.

Наум был невысокого роста, коренастый, хорошо сложенный, сообразительный и сильный. Несмотря на молодость, его назначили на лесоповале начальником участка. Вскоре он получил следующее повышение — стал нормировщиком в Управлении лагеря, и когда его срок кончился, остался работать в лагере вольнонаёмным.

Однажды Наум поехал в «командировку» по лагерным пунктам проверять работу нормировщиков-зеков. Первой проверяемой на его пути оказалась... Мишка. Это была его судьба. «Проверка» Мишки Наумом затянулась больше чем на полвека...

Изнурённая лагерем, Мишка подумывала о самоубийстве, если её срок продлится хоть на день дольше десяти лет. Наум, работая в лагерном управлении, поддерживал Мишку морально и материально и спас ей жизнь.

...Мишкин срок окончился в сорок четвёртом году, но никто и не думал её освобождать. И тут произошло чудо: на Мишкин след напал оставшийся почему-то на свободе видный деятель болгарской коммунистической партии Георгий Димитров, чьим секретарём Мишка работала когда-то в Коминтерне. По ходатайству Димитрова, всё ещё занимавшего высокую ступеньку в коммунистической иерархии, в сорок шестом году, ровно через десять лет после ареста, Мишку не то чтобы освободили, но расконвоировали. Она должна была каждый день отмечаться в комендатуре, но ей разрешалось жить за пределами колючей проволоки.

Вместо немецкого паспорта, отобранного при аресте, Мишке выдали другой, типично советский, с «минусом тридцать девять». Это не только температура по Цельсию в Усть Вымь Лаге и его окрестностях — это паспорт без права проживания в тридцати девяти городах нашей необъятной Родины.

...Минуло двенадцать лет с тех пор, как Мишка последний раз что-либо слышала о Курте. Наводить справки было опасно и безнадёжно, к тому же Мишка была уверена, что Курта нет в живых — было мало шансов, что он уцелел в нацистской мясорубке. И Мишка соединилась с Наумом, вышла за него замуж и взяла его фамилию. Они поселились в северной избе неподалеку от лагеря и продолжали там работать — теперь вольнонаёмными.

... Однажды лютой зимой сорок восьмого года Мишка сильно простудилась и не пошла на работу. Внезапно её охватило сильнейшее беспокойство. Она металась по избе, чувствуя, что необходимо что-то срочно предпринять, и в конце концов начала лиходарочно, торопясь и промахиваясь, тыкать в розетку шнур от чёрной тарелки репродуктора. Дрожали руки. Включив, наконец, радио Мишка услышала:

— А его заместитель Курт Мюллер заявил...

Что заявил Курт Мюллер, ни потрясённая Мишка, ни мы с вами так никогда и не узнаем. Курт жив! — вот то нео-

жиданное, немыслимое, невероятное, что принесла в далёкий северный лагерь потрёпанная чёрная тарелка, щедро расплескав по дороге сообщения о постоянно растущем благосостоянии советского народа... Курт жив, и не только жив, а видимо занимает крупный пост — иначе почему бы советскому радио цитировать его заявление?!

Так оно и было: Курт в это время состоял Заместителем Генерального Секретаря Компартии Западной Германии и был членом Бундестага.

Таким образом, Мишка оказалась двоемужецей. Никакой возможности связаться с Куртом у неё, разумеется, не было, да и безопаснее было перечеркнуть и забыть прошлую жизнь. Это было тем легче, что Курт опять как в воду канул. Никаких упоминаний о нём Мишка больше никогда по советскому радио не слышала.

А произошло вот что.

## Курт

*От окна и до порога —  
Вот и вся моя дорога...*

*С. Галкин*

Как вы помните, в начале сорок пятого года Курта освободили из нацистского концлагеря англичане. Он провёл в заключении больше десяти лет, вышел оттуда ещё более пламенным коммунистом, чем сел, и вошёл в правительство Аденауэра как представитель компартии. Занимая высокий пост, Курт снова оказался в поле зрения советского генералиссимуса. А Сталин никогда ничего не забывал и никого не прощал.

...В пятьдесят первом году в Восточном Берлине состоялся съезд Коммунистической Партии Восточной Германии. По указанию Сталина восточные коммунисты пригласили на съезд своего западного товарища по партии. Здесь его похитили восточногерманские спецслужбы. На защиту сво-

его исчезнувшего члена грудью стал Бундестаг, и под аккомпанемент нарастающего политического скандала восточные немцы переправили Курта в Москву, где его заключили в страшную Владимирскую тюрьму. Изодранный в иезуитстве вождь поместил Курта в одну камеру с пленными фашистскими генералами. Вдумайтесь: сначала он десять лет сидел в тюрьме и лагере у фашистов, теперь по режиссёрской находке Сталина сидел с ними в одной камере у коммунистов. Советская система непринуждённо сводила в одну клетку охотников и дичь.

Так, впервые за два десятилетия, Курт и Мишка оказались по одну сторону железного занавеса и у них даже появился шанс встретиться на каком-нибудь из островов пресловутого Архипелага, но ни у одного из них не возникло по этому поводу никаких предчувствий...

## Московская сага

*Я вернулся в мой город,  
знакомый до слёз...*

*О. Мандельштам*

...Наступил пятьдесят шестой год с его необыкновенными сюрпризами. Реабилитированные Мишка и Наум вернулись в Москву и поселились в маленькой квартирке на Профсоюзной улице. Курт в это время был ещё во Владимирской тюрьме, в какой-то сотне километров от них.

...Очаровательная, энергичная, прекрасная рассказчица, Мишка мгновенно завоевала Москву. Избранные ею писатели, художники, актёры сразу и навсегда становились её друзьями. Она подружилась с Любимовым и Смеховым, познакомилась с администратором Большого Театра, с директором Консерватории, с организаторами вечеров в Доме Кино и Доме Литераторов. Вскоре их маленькая квартирка на Профсоюзной превратилась в нечто вроде культурного центра бывших политкаторжан. Мишка уверено вела свой ко-

раблик по бурлящим потокам хрущёвской оттепели и деятельно помогала бывшим солагерникам войти в новую жизнь. По её инициативе, во всех элитных и крайне дефицитных точках Москвы оставляли теперь бронь для бывших политзаключённых.

...Той порой, Хрущёв и Аденауэр договорились о возвращении немецких военнопленных. Тот факт, что Курт сидел в одной камере с фашистскими генералами, неожиданно сыграл положительную роль в его судьбе: его по ошибке включили в список военнопленных и прямо из Владимирской тюрьмы отправили в Германию. Они с Мишкой не встретились и ничего не узнали друг о друге.

...То, чего за десять лет не добились от Курта гестаповцы, играючи достигли коммунисты: вернувшись в Германию, Курт немедленно вышел из Компартии.

...Однажды в Москву приехал Генрих Бёльль. В середине шестидесятых он был ещё в почёте у советских властей и считался прогрессивным немецким писателем. Кто-то привёл Бёля к Мишке и она рассказала ему свою историю.

— Курт *жив*, я знаком с ним, — сказал потрясённый Бёльль. — Он сидел в тюрьме, сначала у нацистов, потом у вас. Он уверен, что ты погибла, и совсем недавно женился.

...Вскоре после отъезда Бёля Мишка получила первую открытку от Курта, первую слабую весточку после тридцати лет разлуки. Умудрённый опытом советской тюрьмы, Курт понимал, что у открытки больше шансов дойти до адресата, чем у запечатанного письма. Текст был лаконичным.

«Если хочешь побольше узнать обо мне, — писал Курт, — отыщи в Москве человека по имени Василий Васильевич Парин».

— Мой маленький Курт как был, так и остался неисправимым романтиком, — комментировала Мишка. Легко сказать — отыщи в Москве человека по фамилии Парин! Иголку в стоге сена...

Но тут, как уже не раз бывало, начались чудеса.

— У нас в поликлинике работала детский врач по фамилии Парина, Нина Дмитриевна Парина, — сказала одна Миш-

кина приятельница. Она недавно уволилась. Я с ней близко знакома не была, но попробую узнать её координаты — может, она родственница твоему Парину.

И уже на следующий день у Мишки в руках был номер телефона и адрес Василия Васильевича Парина.

Мишка догадывалась, что имя Парина связано с пребыванием Курта во Владимирской тюрьме. Звонить она не стала — по телефону о таких вещах в шестидесятые годы не говорили — а просто поехала по указанному ей адресу на Беговую улицу.

На звонок откликнулся мальчик лет четырнадцати. Он приоткрыл маленькую щёлку — Мишке показалось, что на двери цепочка:

— Вам кого?

— Простите, могу я видеть Василия Васильевича Парина?

— Папы нет дома.

— Когда он будет?

— Через час.

Часа полтора Мишка меряла шагами Беговую улицу, потом позвонила снова. На этот раз в щёлку глянул настороженный глаз мальчика постарше:

— Папа дома не принимает.

«Дома н е принимает. Кто же он? Врач? Адвокат?» — растерялась Мишка. Вслух она сказала:

— Я по личному делу. Мне очень надо его видеть.

В этот момент в коридоре появился высокий величественный человек с интеллигентным и значительным лицом. Он распахнул дверь — никакой цепочки на ней не оказалось. Глядя на Мишку отчуждённо, настороженно, и, как ей показалось, высокомерно, он спросил:

— Чем могу служить?

Из-за его спины выглядывали любопытные носы давешних Мишкиных собеседников. Мишка не знала, что известно детям о прошлом их отца и не хотела создавать проблем.

— Могу я поговорить с Вами наедине?

Господин холодно пожал плечами и провёл Мишку в кабинет. Таких огромных, великолепных, отделанных деревом



кабинетов она не встречала никогда в жизни. В бараках и северных избах такие были не в моде. Мишка окончательно растерялась: «Наверное, я ошиблась, и это совершенно не тот Парин».

Величественный господин повторил нетерпеливо:

— Так чем могу служить?

С трудом ворочая пересохшим языком, Мишка спросила неуверенно:

— Скажите, Вам что-нибудь говорит имя Курт Мюллер?

— Мишка?!

Как будто два солнца вспыхнули в глазах этого недо-ступного человека.

Схватив её на руки, Парин кружился по кабинету в каком-то диковинном вальсе, рискуя смести дорогую мебель, и припевал:

— Мишка! Мишка! Мишка! Как же я тебя сразу не узнал! Сколько дней и ночей Курт о тебе — всё только о тебе, о тебе! Я так ясно представлял себе тебя — и вот надо же — не узнал! Ты совсем не изменилась, — неожиданно заключил Парин, увидевший Мишку впервые. — Курт думал, что ты погибла. Какое счастье, что ты жива! Ну, рассказывай!

— Нет, сначала рассказывайте Вы!

Конечно, это был *тот* Парин. Он провёл много лет в одной камере с Куртом и пленными немецкими генералами. С последними ни он, ни Курт не общались, но между собой крепко подружились. У них было много, очень много времени для беседы...

...Несколько часов Парин рассказывал Мишке о Курте — о гестаповской одиночке, о фашистском концлагере, о том, как, освободившись, Курт всё искал и искал Мишку, в конце концов в глубоком отчаянии решил, что Мишка погибла, но так и не смирился с этой мыслью... Рассказал о том, как Курта пригласили в ГДР и выкрали оттуда, о долгих годах во Владимирском Централе... словом, обо всём.

Потом Мишка рассказывала Парину свою историю, ведя его день за днём, шаг за шагом от Коминтерна к тюрьме, от

тюрьмы к пересылкам, от пересылок к лагерю... наконец к Науму.

— Мишка, скажи, чем я могу быть тебе полезен, — умолял её Парин, — я многое могу!

— Мне ничего не надо, — твёрдо ответила Мишка и, несмотря на настойчивые просьбы Парина, не назвала ему ни телефона, ни адреса, ни своей новой фамилии.

Она понимала, что Парин занимает очень высокий пост, его кабинет и квартира говорили сами за себя. Мишка решила, что Парину небезопасно с ней общаться и не оставила ему никаких координат.

...Относительно положения Парина в тогдашней советской иерархии Мишка не ошиблась: Академик Василий Васильевич Парин был в это время директором Института Медико-Биологических Проблем, который в народе называли Институтом Космической Медицины. В годы войны Парин занимал пост заместителя Наркома Здравоохранения СССР. Он был организатором и первым Академиком—Секретарём Медицинской Академии.

Во Владимирскую тюрьму Парин попал в сорок восьмом году в связи с делом Ключевой и Роскина.

## **Академик Парин, «дело» Ключевой и Роскина и вакцина КР**

Толпа естествоиспытателей  
На тайны жизни пялит взоры,  
А жизнь их шлёт к ... матери  
Сквозь их могучие приборы.

*И. Губерман*

...В конце сороковых годов медицинский мир Москвы потрясла сенсация: двое учёных — микробиолог Нина Георгиевна Ключева и гистолог Григорий Иосифович Роскин сообщили о разработке ими препарата, излечивающего различ-

ные виды рака. Они дали своему препарату название КР, в дальнейшем он фигурировал в фармакопее под названием «круцин» или «трипаноза».<sup>1</sup>

Клюева и Роскин были известными и уважаемыми учёными; их сообщение было принято с полным доверием и произвело оглушающее впечатление. Свой метод лечения рака они называли биотерапией и опубликовали в монографии «Биотерапия злокачественных опухолей».

Разработанный ими препарат КР был изготовлен на основе трипаносомы – паразита, вызывающего тяжёлые заболевания человека. Особенно опасны два вида трипаносом: родезийская трипаносома, вызывающая сонную болезнь, и трипаносома Круци Шагаса, вызывающая болезнь Шагаса.

Трипаносома паразитирует и развивается в кишечнике поцелуйного клопа. Своё название клоп получил из-за манеры кусать жертву в губы на границе кожи и слизистой оболочки. При укусе поцелуйного клопа паразитирующая в нём трипаносома переходит в организм человека, разносится кровью в разные органы и разрушает клетки, давшие ей приют.

Этот факт и послужил отправной точкой в логических построениях Клюевой и Роскина. Учёные обнаружили, что трипаносомы, попадая в кровь больных раком мышей, избирательно накапливаются в опухоли, размножаются там и разрушают раковые клетки. В экспериментах Клюевой и Роскина свойством накапливаться в опухоли и разрушать её обладали не только живые, но и убитые паразиты.

Начиная с конца двадцатых годов, ученые проводили свои опыты на белых мышках, больных раком молочной железы. Результаты этих экспериментов оказались настолько поразительными, что Клюева и Роскин сочли своевременным перенести их в медицинскую практику. Их первые пациенты страдали запущенным раком в самых разных лока-

---

<sup>1</sup> События, о которых вы сейчас читаете, известны мне из воспоминаний моего отца, бывшего их участником (его мемуары о «деле» Клюевой и Роскина опубликованы в первом номере журнала «Наука и Жизнь» за 1988 год, страницы 101 – 111).

лизациях: груди, гортани, кожи, пищевода, шейки матки, языка, губы — всего в эксперименте участвовало 57 больных. К моменту опубликования монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» в 1946 году, у 27 из 57 больных лечение было по разным причинам прекращено, у 26 — продолжалось.

Клинические испытания препарата Клюева и Роскин организовали сами; при многообразии включённых в испытания форм рака и отсутствии формальной ответственности лиц, проводивших испытания, результаты этого эксперимента не поддавались никакой статистической обработке. Всё же ученые сочли их положительными.

...Постепенно шумиха и ажиотаж вокруг препарата КР вышли за пределы медицинского мира. Вопросом препарата КР заинтересовались в советских правительственных верхах, понимая его как козырную карту в крупной политической игре. Американцы только что подарили союзникам по недавней войне целую технологическую линию промышленного изготовления пенициллина. В поисках ответного жеста, высокое начальство поручило Академику-Секретарю Медицинской Академии Василию Васильевичу Парину, летевшему в Америку для обмена информацией и опытом, сделать американцам доклад о препарате КР и подарить опытный образец.

Но пока Парин ездил по Штатам и выступал, ветер переменялся. А он не знал и действовал в соответствии с полученными от ЦК и Наркомздрава ценными указаниями. В конце поездки он очень торжественно доложил американцам об успехах советской онкологии. На следующий день Посол СССР в США спросил его об этом. Парин сказал, что выполнил поручение. Посол сказал: «Кажется, вы поторопились. Ну, ничего, ничего.»

Забегая вперёд, сообщу, что к публикации она там принята не была ввиду низкого уровня клинических испытаний.

...Авторов препарата и академика Парина вызвали «на ковёр» в Кремль. Заседание было такой важности, что на нём от начала до конца присутствовал сам Сталин. Исключительная ценность открытия под сомнение не ставилась — по-

казывая на рукопись книги, Сталин изрёк: «Бесценный труд!». Обсуждение касалось выяснения обстоятельств, при которых рукопись попала в США ещё до того, как с ней ознакомились руководители партии и правительства. Авторы обвинили в космополитизме, тщеславии и преклонении перед Западом, но, не рискуя их арестовать и тем самым прервать дальнейшую разработку бесценного препарата, ограничились знаменитым «судом чести» над провинившимися учёными.

«Суд чести» проходил в театре «Эстрады» и собрал больше любопытных, чем самые горячие спектакли этого театра. Театральная постановка «Закон чести» тоже, кстати, не заставила себя ждать — там действовал гнусный шпион и предатель и две заблудших овечки. Прототипами заблудших овечек были, конечно, Ключева и Роскин, прототипом шпиона и предателя — академик Парин...

На упомянутом выше заседании в Кремле Сталин неожиданно обратился к Роскину с вопросом:

— Вы Парину доверяете?

— Доверяю, — ответил Роскин.

Сталин обратился с тем же вопросом к Ключевой.

— Доверяю, — ответила Ключева.

— А я нэ даверяю, — резюмировал Сталин, и судьба академика Парина была решена.

Его арестовали в сорок седьмом году. Трёхмесячная поездка в Америку «для продолжения взаимного обмена научной информацией» стоила ему семи лет режимной тюрьмы (в кавычки взята мной цитата из подписанного Сталиным Постановления Совета Министров Союза ССР о командировании академика Парина в США).

Во Владимирской тюрьме академик Парин подвергался страшным унижениям и пыткам. Его шантажировали судьбой детей (их у него было четверо — три сына и дочь), били, сажали в карцер и, едва живого, ставшего инвалидом, бросали обратно в камеру, где, как мы знаем, он сидел вместе с пленными фашистскими генералами и Куртом Мюллером. Курт сыграл огромную роль в том, что Парин выжил и не сломался в постигшей его катастрофе...

...Здесь уместно сообщить, что организованные впоследствии партией и правительством широкие клинические испытания, результаты которых, как патологоанатом, контролировал мой отец, не подтвердили эффективности препарата КР. Из-за иного метаболизма и существенно меньшего объёма опухоли по отношению к общему объёму тела, препараты, эффективные при экспериментах на мышах, сравнительно часто оказываются бессильными в поражённом опухолью организме человека.

Папу вызвали в Кремль к Ворошилову, где ему пришлось объяснять «первому красному офицеру» принципы морфологического исследования опухолей и обосновывать свои выводы об отсутствии эффективности препарата КР при лечении опухолей человека. Папины выводы подтвердили и другие приглашенные правительством эксперты, и разработка препарата КР была прекращена.

В конечном итоге, передача американским коллегам материалов о препарате КР никакого ущерба Советскому Союзу не нанесла, разве что потерпела крах надежда авторов КР и академика Парина на приоритет советской науки в лечении рака... Впрочем, исследования в области биотерапии опухолей продолжают по сегодняшний день, и все исследователи, работающие в духе вполне разумных идей Ключевой и Роскина, цитируют их как основоположников этого направления.

## **Мишка и Курт в тисках эпистолярного жанра**

*Я к Вам пишу – чего же боле,  
Что я могу ещё сказать...*

*А. Пушкин*

...Переписка Мишки с Куртом текла вяло. Понимая, что вся корреспонденция перлюстрируется, они писали друг другу ничего не значащие открытки к праздникам. Между их последним в жизни свиданием и первой открыткой про-

текла вечность, и какая! Трагический опыт лагерей, укравших у них на двоих четыре десятилетия, новые семьи, новая жизнь — им было, о чём поговорить и чем поделиться, но не было никакой надежды когда-нибудь для этого встретиться. Выйдя замуж за Наума, Мишка приняла советское гражданство и была, разумеется, невыездной. Со своей стороны Курт, обогащённый энергичным опытом Владимирского Централя, и думать не мог о том, чтобы ещё раз ступить ногой на советскую землю. Так и текла их жизнь — у каждого своя, в параллельных, непересекающихся мирах. Пока однажды в семьдесят пятом году Мишка не получила странную открытку...

Однажды — это те краски, которыми жизнь расцвечивает серую «карту будня». У каждой судьбы своя палитра — кому ярче, кому тусклее, кому многоцветие, кому гризайль. Мишке выпал полный спектр.

## День Победы

*Дела давно минувших дней...*

*А. Пушкин*

Итак, однажды Мишка получила странную открытку из Парижа. Открытка была написана по-французски и подписана М. Работэ.

— Она так написана, что я не могу понять, лицо какого пола её писало, — пожаловалась Мишка.

Неизвестный Мишкин корреспондент (или корреспондентка) писал о том, что прилетит в Москву, потому что приглашён на Парад на Красной Площади в честь тридцатилетия Победы. Желательно, чтобы Мишка в этот день была дома и ждала телефонного звонка, потому что им необходимо встретиться.

Фамилия Работэ была как будто Мишке знакома, из какого-то очень далёкого, утратившего реальность прошлого, но вспомнить деталей Мишка не могла.

В День Победы она осталась дома. Спустя полчаса после окончания парада на Красной Площади, раздался телефонный звонок.

— Мишка, это Мария Работэ, — сказал по-французски чуть хрипловатый женский голос. — Через час я жду тебя около гостиницы «Националь».

— Хорошо, но как мы узнаем друг друга?

— О, не беспокойся, я тебя узнаю.

Показалось ли Мишке или на самом деле в её голосе прозвучали нотки горького сарказма?

Через час заинтригованная Мишка подходила к гостинице «Националь». Навстречу ей вышла незнакомая элегантная пожилая дама. Мишка могла поклясться, что никогда её раньше не встречала. Но вы-то, мои читатели, вы конечно уже узнали в этой статной даме молодую француженку, поджидавшую выхода Мишкиной свадебной процессии из дверей Берлинского Полицайпрезидиума.

— Мишка, я Мария Работэ, — представилась дама. — Пойдём в мой номер, поговорим.

Они поднялись в номер. Мария удивила Мишку неожиданной осведомлённостью о её прошлой жизни. Мишка совершенно не понимала, кто эта дама, но спросить напрямую стеснялась, полагая, что и ей в ответ положено было знать всё о Марии; та же явно наслаждалась Мишкиным замешательством. Неловкость затягивалась, и наконец Мишка приняла Соломоново решение: надо пригласить Марию домой и поручить Науму разгадку этой тайны. Мария с Наумом безусловно никогда не встречались и ему будет не зазорно задать ей пару наводящих вопросов.

Мария, казалось, только этого и ждала и мгновенно согласилась ехать к Мишке. Дома за чаем смущённый Наум довольно неуклюже принялся за свою миссию, но ситуацию не прояснил. Наконец, Мария решила, что достаточно их помистифицировала.

— Ладно, — сказала она Мишке, — пойдём поговорим наедине.



## Рассказ Марии Работэ

*Ах только бы кони не сбились бы с круга,  
Бубенчик не смолк под дугой.  
Две странницы вечных – любовь и разлука  
Не ходят одна без другой.*

*Б. Окуджава*

...Много лет назад, ещё до первого замужества, на одной из коммунистических сходов в Париже Мишка невзначай покорила сердце молодого французского коммуниста Огюста Работэ. Любовь к Мишке обрушилась на него, как лавина, стала наваждением. Он посылал ей цветы со всех концов планеты — из Европы и Азии, из Северной и Южной Америки — отовсюду, куда забрасывала его коммунистическая судьба... Огюст был женат на красивой и любящей женщине, но ради Мишки готов был всё порушить. Мишка его не поощряла — не хотела строить своё счастье на чужом несчастье, к тому же у неё уже намечался роман с Куртом.

— Я знала, что Огюст безумно в тебя влюблён, — рассказывала Мишке Мария. — Я как-то прочитала его дневник — да боже мой, при чём тут дневник! Разве может что-то скрыться от сердца любящей женщины?! Мы с тобой не были знакомы и ты меня не замечала, а я тайком ходила за тобой по пятам, изучала твою походку, манеру одеваться, говорить. Я пыталась понять, что в тебе так сразило Огюста...

Знаешь, кто был самым счастливым человеком в день твоей свадьбы с Куртом? Думаешь, ты? Нет, дорогая — это была я. Я поехала за тобой в Берлин, я сопровождала вас до двери Полицийпрезидиума и ждала вашего выхода, а потом отпраздновала твою свадьбу в шикарном ресторане.

Огюст очень страдал, когда ты вышла замуж. Я не подавала вида, что замечаю это и знаю причину.

Потом вы с Куртом уехали в СССР. Я надеялась, что дистанция и время помогут Огюсту справиться с его недугом, но он всё время следил за тобой, за твоими передвижениями и

перепитиями судьбы. Мы были в курсе, что Курт поругался со Сталиным, вернулся в Германию и был арестован гестапо, а ты оставалась в Москве. Потом и ты исчезла. Огюст непрерывно искал твой след, но нашёл его только в конце пятидесятих годов, когда ты вернулась из советского концлагеря.

Вскоре после твоего исчезновения в конце тридцатых годов началась война. Огюст, конечно, отправился в Испанию. Он попал в плен к франкистам и был приговорён к смерти, но накануне казни бежал. Ему удалось достать подложные документы, с которыми он вернулся во Францию. Когда сюда пришли немцы, Огюст стал одним из организаторов Сопротивления, и я всегда была рядом с ним. Эта совместная работа и постоянная опасность, жизнь на краю, очень нас сблизили. Я была счастлива.

Потом он был снова арестован, на этот раз немецкими фашистами, но из-за его фальшивых документов они не докапались, что это — Огюст Работэ, приговорённый к смерти франкистами и бежавший из франкистской тюрьмы. Огюст оказался в немецком концлагере. Я старалась, как могла, его заменить, и стала руководительницей французского женского Сопротивления.

Когда кончилась война, меня выбрали в Сенат. Огюст мною очень гордился. Это были наши самые счастливые годы.

Но однажды мне позвонил его врач и попросил зайти.

— У Огюста рак печени, — сказал врач. — Сделать ничего нельзя. Ему осталось жить несколько месяцев. Ему я ничего не сказал. Постарайся увезти его в деревню, пусть отдыхает, дышит свежим воздухом. У него будут боли, и тебе придётся делать ему уколы. Вот тебе ампулы, моя медсестра тебя научит. Но наступит день, когда уколы не помогут. На этот случай — вот тебе одна последняя ампула. Никому другому я бы её не дал. Но тебе я доверяю, потому что уверен, что ты не воспользуешься ею без самой крайней необходимости. У Огюста будут страшные мучения — постарайся их ему облегчить.

Я притворилась, что плохо себя чувствую и нуждаюсь в отдыхе. Мы уехали в деревню. Вскоре у Огюста начались боли, и он обо всём догадался, но мы никогда об этом не

говорили. Это был заговор молчания, мучительный для нас обоих, и тем не менее мы молчали — очень страшно было облечь в слова то, что на нас надвигалось.

Он страшно похудел. Я стала делать ему уколы. И наступил день, когда укол не помог. Огюст лежал на кровати и от боли царапал и рвал руками простыню. Я сказала:

— Сейчас. Я сделаю тебе ещё один укол.

— Не надо, — сказал Огюст. — Я столько раз смотрел в глаза смерти, что хорошо знаю эту даму в лицо. Я справлюсь сам. Лучше сбегай в подвал, принеси вина.

И нам вдруг стало очень легко. Не надо было больше притворяться. Я принесла бутылку вина, мы выпили и о многом важном поговорили. Он очень старался подготовить меня к будущей жизни без него. Потом Огюст сказал:

— Мария. Я должен тебе сказать ещё одну вещь. Я всю жизнь любил другую женщину.

Я сказала:

— Я знаю.

Он поразился:

— Ты знаешь?!

— Конечно. Неужели ты думаешь, что можно что-то скрыть от женщины, которая любит?!

— Мария, у меня к тебе просьба. Найди Мишку. Она в Москве, её фамилия теперь Славуцкая. Расскажи ей обо мне. Пусть моя жизнь оставит хоть какой-то след в её жизни.

Я обещала. К утру Огюст умер.

Прошло несколько месяцев, и вдруг я получаю приглашение на Парад Тридцатилетия Победы в Москву. Раньше меня никогда не приглашали, и я в Москве не была, а тут вдруг пригласили как руководительницу французского женского Сопротивления. Это было как знак ОТТУДА, словно Огюст напоминал мне о моём обещании найти тебя. Мне помогли найти твой адрес и телефон — и вот я здесь.

На следующий день Мария уехала. Вскоре после её отъезда Мишка получила вторую открытку из Парижа. «Какая я

глупая, — писала Мария. — Как же я не пригласила тебя к себе! Представь, как счастлив бы был Огюст, если б ты приехала сюда, походила по тем же половицам, подышала тем же воздухом!

«Что ты, Мария, — отвечала ей Мишка. — Ты забыла, где я живу. Кто ж меня пустит!»

«Разве я не руководительница женского сопротивления?!» — возразила ей на это Мария.

И через месяц в Мишкиной квартире раздался телефонный звонок:

— С Вами говорят из канцелярии Леонида Ильича Брежнева. Вам оформлен паспорт для поездки во Францию. Зайдите в городской ОВИР его получить.

— Ваш паспорт действителен только на Францию. Не вздумайте заезжать в другие страны, — наставлял Мишку чиновник ОВИРа.

— Учту, — сказала Мишка.

## На мглистый берег юности...

*Я уплывал всё дальше, дальше, без оглядки,  
На мглистый берег юности моей...*

*Н. Рубцов*

*Как заливают камыши волненья после шторма,  
Ушли на дно его души её черты и формы...*

*Б. Пастернак*

Поезд в Париж идёт через Кёльн и стоит там минут пятнадцать. Мишка позвонила Бёлю:

— Неожиданно еду в Париж. Через Кёльн. Приходите на платформу повидаться!

— Конечно, — обрадовался Бель, пришёл к поезду и похитил Мишку. На глазах поражённых попутчиков, преодолев отчаянное Мишкино сопротивление, он вынес её из поезда на руках и крепко держал в объятиях, пока поезд не ушёл.

Бёль привёз Мишку в свой загородный дом. Они выпили по бокалу вина.

— Тебе приготовлена вот эта комната, — показал Бёль Мишке. — Последним человеком, который спал в этой постели, был Александр Исаевич Солженицын. Видишь тот сарай без крыши? Крышу проломили репортёры год назад, когда я встретил в аэропорту изгнанного из страны Солженицына и привёз его к себе домой. Репортёры со всего мира тогда как с цепи сорвались. Я сарай не ремонтирую, пусть стоит, как памятник этому событию.

— Спи Мишка, завтра тебе предстоит трудный день, — неожиданно заключил Бёль и вышел.

И на следующее утро... Вы, конечно, уже догадались... На следующее утро, связав в тугой узел минувшие сорок лет, в Мишкину комнату в доме Бёля вошёл её первый муж Курт Мюллер.

То-есть сначала в комнату вплыл огромный букет Мишкиных любимых полевых цветов, за завесой которых обнаружился Курт.

— Мишка, что ты испытала? Пожалуйста, расскажи, что ты испытала в эту минуту? — приставала я.

— Ничего, — ответила Мишка... — Слишком много лет, слишком разная жизнь. Чужой...

Курт привёз Мишку к себе. На пороге дома их ждала красивая моложавая женщина — теперешняя жена Курта. Она приняла Мишку, как родную, обняла, расцеловала. Курт смотрел на жену с нежностью и благодарностью — он был явно счастлив во втором браке. Но вот вошли в дом — и Мишка застыла на пороге. Со стен на неё смотрели фотографии её молодости — молодая, красивая Мишка смеялась и махала рукой Курту в Париже, в Берлине, в Москве. Мишка совершенно забыла о существовании этих фотографий, забыла о том, какой была в молодости — у неё ничего не сохранилось от тех далёких лет ни на бумаге, ни в душе. У Курта сохранилось. Их разметало по концлагерям в самом разгаре молодой любви. Для романтического Курта время и испыта-

ния нисколько не пригасили эту любовь, а наоборот, окрасили особыми, нежно-пастельными красками.

— Убери фотографии, — сказала Мишка Курту. — Подумай, как тяжело это Хельге. Выглядит так, словно я всегда с вами, словно в доме всегда трое — она, ты и моя тень.

— Не надо ничего убирать, Мишка — сказала Хельга. — Это ничего не изменит. Ты всё равно всегда с нами — и я научилась тебя принимать и любить...

Машина неслась по автобану. Мелькали немецкие надписи, сливаясь в один бессмысленный текст. Пожилой человек за рулём сосредоточенно смотрел на дорогу. Казалось, он целиком поглощён ею, но его спутница знала, что водитель глубоко ушёл в себя, и тревожилась. Время от времени он бросал на неё недоверчивый взгляд, словно ставил под сомнение самый факт её существования. Глядя со стороны на молчаливую пожилую пару, невозможно было догадаться, что серебрянный Мерседес мчал их сейчас в Париж на встречу с их украденной молодостью. Много было выпито вина и пролито слёз на этом необычном пути...

## Как нам всем повезло

*Ваше благородие, госпожа удача...*

**Б. Окуджава**

*Ходить бывает склизко*

*По камушкам иным...*

**А.К. Толстой**

...Овировский чиновник бился в истерике, увидев разнообразные пограничные штампы в Мишкином загранпаспорте. «Вы нарушили наши инструкции!!! Вы больше никогда никуда не поедете!».

— Это мы ещё посмотрим, — хладнокровно парировала Мишка, в моральном облике которой начало отчётливо проступать тлетворное влияние Запада, и благодаря наличию

магического загранпаспорта, стала раз-два в году выезжать в Европу — в Германию или во Францию.

Из своих поездок Мишка привозила книги — как вы догадываетесь, не из тех, что можно было приобрести в книжных магазинах Брежневских и Андроповских времён. Книги привозил Мишке и Бёль и его наезжавшие в Россию знакомые, и вскоре у неё образовалась уникальная по тем временам библиотека «тамиздата».

К этому времени Бёль, думаю не без помощи Мишки, хорошо разобрался в советской системе и образе жизни и создал «Фонд Помощи Советским Узникам Совести», в который вложил все деньги от своих русскоязычных изданий. Распорядительницей «Фонда Бёля» он назначил Мишку. Естественно, в результате этих действий Генрих Бёль совершенно утратил расположение советских властей.

Теперь я подошла к событиям, в которых принимала непосредственное участие сама. При воспоминании о них меня до сегодняшнего дня бросает в дрожь и холодеет всё внутри.

Случается, что поступки, совершаемые из самых лучших побуждений, оборачиваются большим несчастьем для их вольных или невольных участников. В случае, который я собираюсь рассказать, этого не произошло по чистой случайности или, вернее, по счастливому стечению обстоятельств. Одно из них состояло в том, что я заболела тяжёлой ангиной, второе — что к власти пришёл Михаил Сергеевич Горбачёв. Вот как развивались события

...Отбыв срок в Сибири, в начале восьмидесятых годов в Москву нелегально писатель и поэт Игорь Губерман. Он не должен был приближаться к столице ближе чем на сто километров, но однако приблизился: ему нужны были хорошее общество и хорошая библиотека. Он тогда носился с мыслью написать книгу о женских лагерях, для которой начал собрать материал. И я решила — что может быть лучше, чем свести его с Мишкой! Она прошла через все круги этого ада, знала массу историй и замечательно их рассказывала — для Губермана это был бы клад почище пещеры Алладина.

Надо сразу сказать, что Мишка желанием знакомиться с Губерманом не горела — я её едва уговорила. Позже я поняла, что, распорядясь Фондом Бёля и помогая советским политзаключённым, Мишка не хотела усугублять свою и без того непростую ситуацию контактами с нелегальным «уголовником». Я старательно рассыпала перед ней бисер губермановских четверостиший, расписывала, какую он напишет замечательную книгу и как такая книга нужна народу, наконец — просто какое счастье общаться с таким замечательно остроумным и талантливym человеком. Я пела, как Лорелей, и в конце концов я её уломала. Дважды мы назначали и отменяли встречу. Один раз Мишка, незадолго до этого перенесшая тяжёлую операцию, плохо себя чувствовала, второй — в преддверии какого-то пролетарского праздника власти усугубили охоту на Губермана, и он залёт на дно. Наконец, всё как будто бы сошлось, и мы в третий раз назначили встречу. Но накануне вечером у меня поднялась высокая температура и заболело горло — была эпидемия гриппа. Конечно, не могло быть и речи не о том, чтобы я ехала к и без того тяжело больной Мишке, рискуя её заразить. Но отправить Губермана одного и добровольно отказаться от счастья присутствовать на этой встрече? Это было выше моих сил. Я представляла, каким соловьём будет рассыпаться Губерман, соблазняя Мишку, какие замечательные рассказы услышит от соблазнённой Мишки — а я буду в это время лежать в постели с распухшим носом и градусником подмышкой и понимать, что жизнь не удалась?! Нет, нет и нет! И я обзвонила участников и в третий раз отложила встречу. А вечером следующего дня к моему одру явилась связанная от Мишки сообщить, что в тот самый час, когда у Мишки должны были быть мы с Губерманом, вместо нас явилось КГБ с ордером на обыск. Перевернули всю квартиру, отобрали около двухсот книг. Составили протокол, открыли на Мишку «Дело». Мишка просила передать: «Не вздумай привозить Губермана, да и сама лучше со мной не контактируй — это опасно, я теперь зачумлённая, тебя выгонят с работы»...



Я похолодела. Представляете, какая конфетка была бы для КГБ, если бы в это время у Мишки оказались мы с Губерманом?! Для Мишки — контакт с нелегально проживающим в Москве уголовником, для Губермана — верный новый срок. Для меня — страшнее всяких увольнений — сомнение на лицах не слишком знакомых со мной людей: не правда ли, странно, что она привела Губермана к Вильгельмине Славуцкой как раз в тот час, когда туда пришло КГБ?

Я лежала в постели, вознося молитвы благодарности моему ангелу-хранителю, что так вовремя наградил меня тяжёлой ангиной.

Было начало восемьдесят шестого года. Семидесятипятилетнюю Мишку, только что перенесшую тяжёлые операции, начали таскать на допросы в КГБ. Мишка ждала ареста, настроение было самое подавленное, подскочило давление. Наши уверения, что не те сейчас времена, что её арест невозможен, что во всём мире с лёгкой руки Бёля поднимется страшный скандал — не помогали. У Мишки был свой опыт, настойчиво шептавший обратное.

Приближалось лето, которое Мишка с Наумом всегда проводили в Прибалтике. Наум заручился справками от Мишкиных врачей, показал их следователю и получил разрешение на поездку в Прибалтику по указанному им адресу. Они уехали, и всё на время затихло. И вдруг в газете «Советская Россия» — был такой вонючий печатный орган — появляется огромная разгромная статья. В ней почти открытым текстом сообщается читателю, что Мишка — немецкая шпиока, что к ней в квартиру под видом дипломатов или журналистов ходят иностранные шпионы — приходят с чемоданчиком, набитым антисоветской литературой, уходят с чемоданчиком, набитым секретными сведениями...это была катастрофа. После такой статьи Мишку надо было ставить к стенке. Понимая, что в Прибалтике эта статья тоже не прошла незамеченной, мы с Викой прыгнули в машину и помчались к Мишке. Мы застали их с Наумом очень подавленными; у Мишки было очень высокое давление, она с трудом говорила.

— Ты зачем приехала, — набросилась на меня Мишка, — уезжай немедленно, пока тебя здесь не видели, я зачумлённая, никто не должен со мной встречаться, за мной каждую минуту могут придти — может, уже сегодня ночью...

Мы с Викой убеждали её в ответ, что весь мир поднимется на её защиту, что Бёль не даст её в обиду, и что скорей всего ничего не случится, потому что властям это ни к чему. Умница Вика пыталась шутить, и к вечеру Мишка немного успокоилась, понизилось давление. С этим результатом на следующий день мы уехали.

И вдруг всё стихло. Прекратились допросы, закрыли «Дело», и даже вернули часть книг. Началась Перестройка.

## Эпилог

Через несколько лет после описанных выше событий Мишка с Наумом переехали в Германию и поселились в Кёльне. Им предоставили небольшую квартирку в специальном доме, где им обеспечен постоянный, очень хороший уход и медицинский контроль.

Курт умер в Бонне через несколько лет после Мишкиного переезда.

В Германии Мишка с Наумом зажили наконец спокойно и комфортно, окруженные замечательными друзьями. Навестив их, я вспомнила слова Иешуа, сказанные в адрес Мастера:

— Он не заслужил света. Он заслужил покой.

## Примечание автора

Я сохранила реальные имена героев, потому что ручаюсь за достоверность основной канвы этого повествования, хотя в отдельных мелких деталях и датах я могла ошибиться. Например, недавно я узнала, что предал Курта фашистам не ээсовец, а соратник по коммунистической партии — штрих

не меняющий дела, однако заслуживающий быть отмеченным... За документальным материалом о Мишке, Науме и Курте отсылаю читателя к недавно опубликованной статье Натальи Кюн и Галины Карасёвой «Мишка – дитя и свидетель своего времени» в номере 37 сетевого журнала «Заметки по еврейской истории», в разделе «Евреи в Германии».

## СЕМЬЯ КАНЕЛЬ

### Предисловие

В нашем семейном архиве сохранилась фотография, которую я долго принимала за открытку: необычайно красивая, похожая на кинозвезду девушка, одетая по моде тридцатых годов, рядом со спортивного вида молодым человеком, на фоне крымского пейзажа. Оказалось, что это ближайший друг моих родителей Надежда Вениаминовна канель (для друзей — Диночка) с её первым мужем. Я никогда не спрашивала Диночку, почему она с ним рассталась — достаточно было взглянуть на ее второго мужа, Адольфа Сломянского. В великолепном хоре, собиравшемся за столом моих родителей, Адольф был одним из солистов. Талантливый инженер — создатель советских тепловозов, живой и остроумный рассказчик, глубокий знаток музыки, живописи, истории, Адольф хорошо пел и был замечательно красив.

В моей жизни они появились в начале хрущевской оттепели, когда Диночку освободили из тюрьмы.

В тридцатые годы Диночкина мать Александра Юлиановна Канель была главным врачом Кремлевской больницы. Как дочь своей мамы, Диночка потом отбывала два тюремных срока: с тридцать девятого по сорок пятый и с сорок восьмого по пятьдесят третий.

По непонятной прихоти власть предержащих, Адольфа не арестовали, и все Диночкины тюремные сроки он преданно ее ждал и заботился об оставшихся в живых осколках ее необычной семьи.

Адольф умер в середине восьмидесятых годов. Давно нет в живых и остальных друзей моих родителей. Оставались только мой папа и Диночка — «последние из могикан».

Когда в марте 1996 года умер мой отец, Диночка нешла в себе сил пойти на его похороны. Но в этот вечер она приехала к нам домой и рассказала мне свою историю. Я знала ее и раньше от родителей, но как-то отрывочно, лос-

кутно. В этот вечер Диночка связала для меня все концы в одну целостную, чудовищно страшную ткань. Вот что она рассказала.

## Как погибла Надежда Аллилуева

Девятого ноября тридцать второго года, вернувшись вечером с работы, Александра Юлиановна Канель сказала дочерям, Диночке и Ляле:

— Минувшей ночью Аллилуева покончила с собой.

Утром девятого ноября Александра Юлиановна, как обычно, отправилась на обход: она лечила многих кремлевских жен.

Ее первой пациенткой в этот день была жена Молотова, Полина Жемчужина. Молотова и Жемчужину Александра Юлиановна застала очень взволнованными. Со слов Александры Юлиановны, Молотов якобы сказал ей:

— Сегодня ночью Аллилуева покончила с собой.

Через много лет, в камере Новосибирской пересыльной тюрьмы, Диночка услышала иную версию того, что сообщил тем утром Молотов ее матери. Рассказала ей об этом латышка по фамилии Аустрин. Латышка эта сначала сидела на Лубянке, в одной камере с женой Уборевича и с Диночкиной сестрой Лялей. Уборевич рассказала латышке подробности гибели Аллилуевой и попросила запомнить этот рассказ, а когда выйдет из тюрьмы — записать и сохранить. У латышки был небольшой срок, и она выполнила данное Уборевич обещание: выйдя из тюрьмы, она записала рассказ Уборевич и спрятала у себя в саду, под Ригой.

Вот что рассказала Диночке латышка в сорок девятом году в Новосибирской пересыльной тюрьме.

Восьмого ноября тридцать второго года на квартире у Ворошилова в Кремле был вечер, посвященный Ноябрьским праздникам. На этом вечере Сталин был с Аллилуевой очень груб, бросил в нее то ли хлебным мякишем, то ли вишневым косточкой, а потом побежал вдогонку за женой Уборевича. У

жены Уборевича была на шляпке вуаль, Сталин догнал ее и сорвал эту вуаль.

Аллилуевой, обиделась и ушла. С ней пошла Жемчужина, и минут сорок они гуляли по Кремлю. Аллилуева страшно жаловалась, что Сталин очень по-хамски себя ведет.

Минут через сорок после ухода Ачлилуевой с банкета ушел Сталин. А еще через двадцать минут он позвонил Уборевич и сказал:

— Приходите сейчас же ко мне.

Придя к Сталину, Уборевич увидела, что Аллилуева лежит на полу и у нее рана в виске. В левом виске! Аллилуева левшой не была. Как-то трудно себе представить, что человек будет стрелять себе в левый висок, держа пистолет в правой руке...

Сталин говорит:

— Уберите ее. Положите ее на постель.

Уборевич перенесла Аллилуеву на постель, кое-как прикрыла волосами рану в виске и ушла.

Рассказ латышки впоследствии подтвердила Анна Сергеевна Розенталь, кремлевский врач и подруга Александры Юлиановны. Розенталь лечила Светлану Сталину и была очень дружна с Молотовым и Жемчужиной. Когда Диночка вышла из тюрьмы, Розенталь рассказала ей, что Сталин Аллилуеву убил, и Александра Юлиановна знала это от Молотова и Жемчужиной.

...Сталин вызвал к себе Молотова и Жемчужину и рассказал им о самоубийстве Аллилуевой, а они утром сообщили это Диночкиной маме.

Возможно, Молотов сказал ей так:

— Сегодня ночью Сталин убил Аллилуеву. Но надо говорить, что она покончила с собой.

Александра Юлиановна спросила: •

— Можно всем говорить, что она покончила с собой?

Молотов сказал:

— Да, конечно.

Именно эту версию, вернувшись домой вечером девятого ноября, сообщила дочерям Александра Юлиановна Канель.

Александра Юлиановна вскоре скоропостижно умерла, а Диночку, Лялю, Лялиного мужа Северина Вейнберга, Уборевич и еще многих, имевших отношение к этой истории, арестовали в конце тридцатых. Все погибли. Чудом уцелела только Диночка.

## Александра Юлиановна Канель

Узнав от Молотовых о гибели Аллилуевой, Александра Юлиановна поехала к другой своей пациентке, Ольге Давыдовне Каменевой. Каменев в это время был уже в ссылке. Когда Каменева сослали, Ольгу Давыдовну выселили из Кремля, и она жила на Неглинной улице. Александра Юлиановна рассказала ей, что Аллилуева ночью покончила с собой, и та тотчас написала об этом открытку Льву Борисовичу Каменеву в ссылку.

От Каменевой Александра Юлиановна поехала в Кремлевскую больницу. За несколько часов, минувших после гибели Аллилуевой, Сталин изобрел новую версию смерти своей жены, и в два часа дня в кабинет к Александре Юлиановне явились два врача, Абросов и Погосянц. Это были врачи ЦК при Кремлевской больнице, вроде контролеров.

— Подпишите протокол, что Аллилуева умерла от аппендицита.

Александра Юлиановна изумилась:

— Как я могу подписать такой протокол, если я Аллилуеву не видела?!

Александра Юлиановна наотрез отказалась подписывать протокол.

Тогда названные «врачи» предложили подписать этот протокол двум другим выдающимся кремлевским врачам, Д. Д. Плетневу и Л. Г. Левину. Оба отказались. Сталин потом всем им страшно отомстил. Александра Юлиановна внезапно умерла, а Плетнев и Левин были арестованы и погибли в тюрьме\*.

---

\*Подробности о гибели Плетнева можно найти в книге моего отца Якова Львовича Рапопорта «На рубеже двух эпох — дело врачей 1953 года», издательство «Книга», 1988, с. 16–17.

Конечно, в Кремлевке нашлись более услужливые врачи, и по официальной версии Аллилуева умерла от аппендицита.

Зимой тридцать пятого года Александру Юлиановну освободили от обязанностей главного врача Кремлевской больницы. Главным врачом был назначен профессор-невропатолог Кроль. Александра Юлиановна осталась в Кремлевке диспансерным врачом. У нее было десять диспансерных больных: Жемчужина, Каменева, Калинина, Постышева, Мария Ильинична Ульянова, Крупская, кто-то еще — всего десять человек. Она их принимала в поликлинике и навещала дома.

...Пятого февраля тридцать шестого года у Диночки и Адольфа были гости: Николай Николаевич Вильям-Вильмонт (переводчик с немецкого и поэт) и сестра Ляля с мужем, Серверинном Вейнбергом. Они, особенно Вильмонт, потом помогли Диночке восстановить события этого вечера.

Александра Юлиановна была простужена, у нее был насморк, температура тридцать восемь — в общем, ничего особенного, она даже сидела со всеми за столом. В это время вдруг приезжает из Горького младший сын Ольги Давыдовны Каменевой, пятнадцатилетний Юра Каменев. Ольгу Давыдовну Каменеву арестовали в тридцать пятом году, несколько дней было следствие, потом ее выслали в Горький. Жила она в Горьком вполне сносно, даже работала.

Юра Каменев пришел часов в семь вечера и сказал, что ему надо поговорить с Александрой Юлиановной наедине. Александра Юлиановна вышла с Юрой в кабинет и провела там минут десять, не больше. Когда она вышла из кабинета, у нее был ужасный вид, на ней просто лица не было. Юра сразу ушел. Диночка спросила:

— Мама, что с тобой? Что случилось?

Она ответила:

— Мне очень жаль Ольгу Давыдовну. Она в ссылке, одна. Диночка возразила:

— Ну что ты так огорчаешься? Она же там работает, и с ней Юра. Почему ты так взволнована?

Александра Юлиановна произнесла странную фразу:

— Ольга Давыдовна. Многострадальный Иов.



А утром Диночка нашла маму без сознания. Пришли врачи, сделали пункцию, сказали, что у нее будто бы стрептококковый менингит. Через два дня она умерла, не приходя в сознание. Это случилось восьмого февраля тридцать шестого года.

Была ли смерть Александры Юлиановны как-то связана с визитом Юры Каменева? Об этом Диночка узнала спустя пять лет в Орловской тюрьме, оказавшись совершенно случайно в одной камере с матерью Юры, Ольгой Давыдовной Каменевой.

Диночку привезли в Орловскую тюрьму четырнадцатого июня сорок первого года и поместили в камеру с очень милой женщиной, Тамарой Грин. У обеих был срок пять лет. Они просидели вместе июнь, июль, август, а в сентябре к Орлу подошли немцы, стали слышны выстрелы.

Когда началась война, заключенным сразу же перестали давать газеты, чтобы они, не дай Бог, о войне не узнали. Норму хлеба им тоже урезали сразу: раньше давали семьсот грамм, теперь двести, стало очень голодно. А в начале сентября в окно Диночкиной камеры попала шальная пуля, и заключенных перевели в нижний этаж. Диночка входит в нижнюю камеру и видит там Ольгу Давыдовну Каменеву и еще какую-то женщину, у обеих срок двадцать пять лет. Ольга Давыдовна необычайно обрадовалась Диночке, она ведь очень хорошо относилась к Александре Юлиановне. А Диночка с Лялей ее не любила, потому что она отнимала у их матери массу времени.

Теперь, спустя пять лет после смерти Александры Юлиановны, в камере Орловской тюрьмы Ольга Каменева рассказывала Диночке:

— Для меня очень дорога память о твоей маме. Я специально послала Юру из Горького предупредить Александру Юлиановну, что когда меня в Москве арестовали, то на следствии все время спрашивали только о ней. Спрашивали, почему и как она мне рассказала, что Аллилуева покончила с собой, откуда она это узнала и почему я сейчас же написала об этом открытку Льву Борисовичу в ссылку. Только об этом и спрашивали, только этим и интересовались.

— Возможно, — сказала Диночка, — что из Юриного сообщения мама поняла, что она обречена. У нее в это время была простуда, и, наверное, от этого стресса у нее нарушился гематоэнцефалический барьер, стрептококки проникли в мозг и сделался менингит. Так я объясняю ее внезапную смерть. На прямое убийство это все-таки не похоже.

## Лагерь смерти в Кремлевской больнице

— Теперь я понимаю, — рассказывала Диночка, — что мама видела, какие ужасы тогда творились в Кремлевской больнице, только ничего нам не говорила.

Например, в тридцать втором году убили Курского. У Курского был какой-то конфликт со Сталиным. В двадцать восьмом году Курского отправили послом в Италию. Тогда опальных обычно назначали послами. Курский\* прожил в Италии несколько лет и был очень доволен жизнью, но в тридцать втором году его вызвали в Москву. В Москве ему говорят:

— Вам надо лечь в больницу, подлечиться.

Он удивился:

— Зачем? Я прекрасно себя чувствую!

Ему говорят:

— Нет, вам необходимо обследоваться и подлечиться (у Курского, кажется, был диабет). После этого вам дадут очень важное задание.

Его положили в Кремлевскую больницу, и через два дня он там скончался.

К Александре Юлиановне примчалась вдова Курского, Анна Сергеевна. Александра Юлиановна знала Курских с восемнадцатого года, она их лечила. Вдова Курского стала кричать:

---

\*Курский Дмитрий Иванович: с 1918 по 1928 год — нарком юстиции и председатель Ревизионной комиссии партии большевиков; с 1928 по 1932 год — полпред в Италии.

— Вы убили моего мужа! Он был совершенно здоров! Вы его убили!

Александра Юлиановна тогда сказала Диночке, что была страшно возмущена ее визитом. Но она, видимо, поняла, что Курского действительно убили в больнице. Диночка видела, что мать была в очень подавленном состоянии, и попробовала с ней поговорить.

— Мама, если тебе так трудно, уходи оттуда! Тебе же как раз шестьдесят лет, ты можешь выйти на пенсию.

Александра Юлиановна ответила:

— Нет, меня никто оттуда не выпустит. Я оттуда уйти никуда не могу.

Но Диночке, конечно, не могло тогда прийти в голову, что в Кремлевской больнице вот так запросто убивали.

Наверное, это была установившаяся практика, потому что Курского убили в тридцать втором году, а Фрунзе погиб еще в двадцать пятом.

Об убийстве Фрунзе теперь многое известно.

Несмотря на протест Александры Юлиановны Канель, главного врача Кремлевской больницы, дружившей с Фрунзе, на протесты его лечащих врачей и знаменитого хирурга Розанова, постановление о необходимости операции Фрунзе по настоянию Сталина вынесло Политбюро.

Поскольку Розанов был против операции и не хотел ее делать, из Ленинграда специально вызвали хирурга Грекова. Оперировали Греков с Розановым, ассистировал им Мартынов.

По-видимому, врач-анестезиолог Очкин во время операции отравил Фрунзе наркозом, хлороформом.

Когда на следующий день после операции Фрунзе умирал, навестить его пришли Сталин с Ворошиловым. Сталин написал ему записку: «Дорогой! Мы пришли тебя навестить, но врачи нас не пустили. Мы к тебе еще придем, поправляйся скорее!» — или что-то в этом роде. Фрунзе с улыбкой читал эту записку и через пять минут после этого умер.

Все врачи, присутствовавшие на этой операции, были потом убиты в разные и довольно поздние сроки: Сталин обычно долго выжидал.

Греков, здоровый человек, неожиданно умер в тридцать шестом году, а Розанов, тоже совершенно здоровый, внезапно скончался в тридцать седьмом. Неожиданно умер Мартынов.

Диночку теперь часто уверяют, что Александру Юлиановну Сталин тоже убил. До тридцать седьмого года он ведь в большинстве случаев убивал просто так, без комедии суда.

Подробную статью о гибели Фрунзе \* и судьбах ее участников, написанную на основании архивных материалов, недавно опубликовал Виктор Давидович Тополянский, врач-психиатр психосоматического отделения Боткинской больницы, в интереснейшей книге «Вожди в законе» (издательство «Права человека», 1996 год). Тополянский пишет, что Александра Юлиановна Канель тоже, по-видимому, была убита за активный протест против операции Фрунзе. Потом арестовали ее дочерей; одна дочь погибла, другая чудом уцелела.

Поводов убить Александру Юлиановну и ее дочерей у Сталина было значительно больше, чем предполагает Тополянский. Сталин ненавидел Александру Юлиановну за отказ подписать протокол о смерти Аллилуевой от аппендицита и за дружбу с Жемчужиной. Но была ли она убита по указанию Сталина или действительно умерла от менингита, мы уже никогда не узнаем.

## Ляля

Дочери Александры Юлиановны Диночка и Ляля были арестованы в тридцать девятом году. Ляле в это время было тридцать четыре года, Диночке — тридцать пять. К моменту ареста Ляля работала в Институте эндокринологии у Шерешевского, защитила диссертацию, а Диночка работала на кафедре микробиологии в 1-м Медицинском институте. Обе

---

\*Подробности о гибели Фрунзе можно найти также в книге моего отца «На рубеже двух эпох — дело врачей 1953 года». А в литературную форму эту историю облек Борис Пильняк в «Повести о непогашенной луне», за что и поплатился головой.

были очень красивы, обаятельны и любимы. У Ляли было двое детей — тринадцатилетний Юра и полуторагодовалый Саша, а Диночка была беременна.

Ляля и ее муж Северин Вейнберг близко дружили с Молотовым и Жемчужиной. После смерти Александры Юлиановны Молотов устроил им поездку за границу. Вейнберги поехали по так называемому безвалютному паспорту: валюты им не дали, потому что они имели за границей родственников, которые могли их содержать. У Северина в Париже был брат, в Палестине сестра. Это потом сыграло свою роль на следствии.

Ляля и Северин провели в Париже и Палестине два месяца.

А в мае тридцать девятого, по инициативе Берии, Лялю и Диночку арестовали. Сестрам предъявили обвинение, что их мать была шпионкой, агентом сразу трех разведок: французской сюртэ, польской дефензивы и английской интеллидженс сервис. Основания для этого обвинения были следующие. В Польше у Александры Юлиановны жила сестра. Во Францию она ездила с Калининой: у Калининой была саркома на слизистой, ее облучали в Париже, и Александра Юлиановна ее сопровождала. В Англии Александра Юлиановна не бывала, так что английскую разведку приплели, по-видимому, потому что Палестина в то время принадлежала Англии.

Диночку и Лялю обвинили в том, что когда Ляля ездила в Париж, она получила там деньги за шпионскую деятельность Александры Юлиановны, на эти деньги купила Диночке подарки, и Диночка якобы об этом знала.

Еще там было обвинение, что Александра Юлиановна хлопотала и освободила нескольких человек, которые якобы были неправильно раскулачены. Следователь утверждал, что все они были настоящие кулаки. Председателем Комиссии по неправильному раскулачиванию был назначен некто Кутузов, с которым Александра Юлиановна была дружна, и с его помощью ей действительно удалось спасти несколько человек. Но это обвинение было, конечно, пустяком по сравнению со шпионажем.

Лялю держали месяц в страшной Сухановской тюрьме, переделанной из монастыря. О чудовищных пытках в Сухановской тюрьме много написано. Через месяц у Ляли хлынула горлом кровь. Может быть, у нее был скрытый туберкулез, который в тюрьме обострился, может быть, она его там и приобрела. Когда началось кровохарканье, Лялю срочно перевезли во внутреннюю тюрьму Лубянки. Там она оказалась в одной камере с Алей Эфрон, дочерью Марины Цветаевой. Так случилось, что с Алей Эфрон сначала сидела Диночка. Они провели вместе почти полгода, с момента ареста Али и Сергея Эфрона в сентябре тридцать девятого года до января сорокового. Потом Диночку перевели в Бутырскую тюрьму, а Алю Эфрон — в другую камеру на Лубянке, куда впоследствии поместили и Лялю.

В сорок шестом году ненадолго освобожденная из тюрьмы Диночка встретила в Москве с Алей Эфрон и узнала от нее о последних месяцах Лялиной жизни. Ляля провела во внутренней тюрьме Лубянки два года, пока длилось ее следствие, вплоть до расстрела в сорок первом году.

На следующий день после перевода на Лубянку Лялю вызвал на допрос Берия. Берия тогда охотился за Жемчужиной.

Ляля рассказала Але Эфрон, что, когда ее привели на допрос к Берии, она сразу почувствовала, что Берия ее гипнотизирует: все, что он говорит, она сейчас же повторяет. Он ей говорит:

— Жемчужина была шпионкой, и вы это знали.

И Ляля это подтверждает.

— Ваша мать была шпионкой, и вы это знали.

Ляля и это подтверждает.

Через несколько дней Берия вызвал Жемчужину и Лялю на очную ставку. Жемчужина бросилась к ней и говорит:

— Ляля, неужели ты сказала, что я была шпионкой?!

А Ляля хочет сказать — нет, меня заставили так сказать, но Берия в упор смотрит на нее, и она говорит:

— Да, ты шпионка.

Жемчужина закричала:

— Ляля, ты с ума сошла!

И Лялю увели.

А Жемчужину тогда не арестовали, это случилось только через десять лет.

Когда кончалось Диночкино следствие, ей дали читать Лялины показания. Ляля там все признает — что Жемчужина была шпионкой, что мать их была шпионкой, что она, Ляля, получила в Париже деньги за мамину шпионскую деятельность и что сестра ее Дина об этом знала — словом, абсолютно все...

Диночка теперь точно знает, когда Лялю расстреляли. Это произошло в октябре сорок первого года, когда немцы подходили к Москве. Как Диночке потом рассказывали, какое-то время Ляля была в одной камере с Уборевич и Тухачевской. В это же время там в тюрьме был муж Марины Цветаевой и отец Али, Сергей Яковлевич Эфрон. И вот недавно в газете «Труд» был опубликован найденный в архиве приказ Сталина от октября сорок первого года. Обращается Сталин к заместителю министра внутренних дел Кабулову: приведите в исполнение приговор... смертная казнь... Первым номером стоит Сергей Яковлевич Эфрон, пятым — Юлия Вениаминовна Канель (Ляля), одиннадцатым и двенадцатым — Уборевич и Тухачевская. Так что все они даже попали в один список. И в октябре сорок первого года Ляля была расстреляна. Немцы как раз подходили к Москве. Может быть, если бы не война, их бы не расстреляли... Их долго держали.

В пятидесятых годах Диночке с Адольфом дали справку, что Ляля умерла в январе сорок второго года от сердечной недостаточности...

Так погибла Ляля. А Диночку спасла случайность.

## Диночка «Счастливая случайность»

Когда Диночку арестовали, у нее была уже довольно большая беременность. В тюрьме ей сказали: надо делать аборт. Диночка ответила:

— Не хочу!

Но тюремные власти продолжали настаивать на аборте. Диночке в камеру посадили стукачку, молодую девчонку-комсомолочку, она непрерывно долбила — вам надо делать аборт, вы не сможете здесь родить, здесь невозможно родить. А у Диночки до этого уже были неудачные роды, ребенок погиб. В конце концов она вынуждена была согласиться, и ее отвезли в больницу Бутырской тюрьмы. Пришел врач-гинеколог из какой-то другой больницы. Диночка сказала врачу:

— У меня большой срок, я не хочу без наркоза!

Гинеколог начал готовиться к операции, но наркоза что-то не было видно. Диночка спрашивает:

— А наркоз?

Гинеколог отвечает:

— Наркоза никакого не будет.

Диночка запротестовала:

— Я без наркоза не дамся!

Она не хотела терять ребенка и все еще на что-то надеялась. Гинеколог сказал тюремным властям:

— Раз больная не хочет, я не буду делать аборт.

Но бутырский врач приказывает:

— Нет, делайте, начинайте!

И гинеколог начал операцию. Это была адская боль. Диночка стала истошно кричать, она кричала прямо-таки диким голосом. Врач сказал:

— Вы мне мешаете работать. Перестаньте кричать, я не могу как следует работать из-за вашего крика.

Но Диночка продолжала кричать и кричала до самого конца. Потом ее увезли в палату, и через пять дней доставили обратно во внутреннюю тюрьму Лубянки. А еще через день ее вызвали на допрос к следователю и сразу же начали бить по пяткам резиновой палкой. Бил не сам следователь, бил специально приглашенный для этого профессионал, молодой человек лет двадцати по фамилии Зубов. Он бил Диночку этой палкой минут пять или десять, и Диночка почувствовала, что не может выдержать. Она закричала:



— Я все вам расскажу, только перестаньте бить!

Они прекратили побои, и Диночка сказала:

— Я все вам расскажу, но не сейчас, сейчас я не могу, мне очень плохо.

Следователь говорит:

— Нет, говорите немедленно, сейчас же.

— Не могу, мне очень плохо.

Диночке действительно было очень плохо: от побоев у нее открылось страшное маточное кровотечение. Следователь отправил ее в камеру. Там Диночка потеряла сознание. В одной камере с ней в это время сидела немецкая коммунистка, она стала звать на помощь. Диночку отвезли обратно в Бутырскую больницу, вызвали того же врача, который делал аборт, он сделал чистку. На этот раз Диночка ничего не чувствовала, была без сознания. После чистки она пролежала неделю в Бутырской больнице, потом ее снова перевезли на Лубянку, в ту же камеру, к той же немке. Немка бесконечно обрадовалась:

— Боже мой, я была уверена, что вас уже нет в живых! Вы были такая бледная, вы совершенно умирали. Какое счастье, что вы живы!

Как это ни парадоксально, но кровотечение не погубило Диночку, а спасло ей жизнь. За ту неделю, что Диночка пролежала в Бутырской больнице, в ее деле что-то кардинально изменилось. Диночку перестали вызывать на допросы.

А произошло вот что: за эту неделю Советский Союз вступил в союз с Гитлером, Молотов был назначен Министром Иностранных Дел и Жемчужину тогда решили не арестовывать (ее арестуют в сорок девятом). Поскольку Жемчужину решили не арестовывать, исчезла необходимость выколачивать из заключенных показания о том, что она шпионка. Это спасло Диночке жизнь. Ее били «всего» два раза, и не успели выколотить признание в шпионаже, так что в ее деле шпионажа не было. Был самый легкий, почти невесомый пункт — недонесение об антисоветской деятельности близких. Диночка не сомневается, что если бы она подписала шпионаж, ее бы расстреляли, как Лялю.

Когда кончалось Диночкино следствие, ее вызвал заместитель Берии, Меркулов. Меркулов начал читать ей бумагу, что у них в доме велись антисоветские разговоры, что мать ее была в преступной связи как с правой, так и с левой оппозицией. Потому что среди тех, кого Александра Юлиановна лечила, были Каменев — левая оппозиция, и Станислав Коссиор — тоже левая оппозиция, а правой оппозицией были Леплевский, Цурюпа, Лешава. В тридцать девятом все они были уже репрессированы.

И тут Диночка совершила ошибку, которая могла стоить ей жизни. Она прервала Меркулова и сказала:

— Между прочим, это все неправильно. Я подписала это под давлением, потому что меня избивали.

И смотрит, как Меркулов будет реагировать. Он как будто бы взял трубку телефона. А Диночкин следователь, еврей по фамилии Визель, довольно красивый брюнет невысокого роста, похожий на Наполеона, — шипит:

— Если ты хочешь переделать протокол, ты мне такое подпишешь, что будет гораздо хуже!

Наступает молчание, проходит какое-то время, Меркулов кладет трубку и говорит:

— Можете уходить.

И Диночка поняла, что совершила страшную ошибку. Она вернулась в камеру в жутком состоянии. В это время с ней в камере сидела Аля Эфрон. Диночка ей рассказала, что отказалась от показаний. Аля сказала:

— Какое мужество.

Но Диночка всем существом чувствовала, что это было не мужество, а глупость. Она в отчаянии металась по камере:

— Что мне теперь делать?

С ними в камере сидела еще одна женщина, Ася Михайловна Сырцова. Ее муж Сырцов когда-то был председателем Совета Министров РСФСР, к этому моменту он был уже расстрелян. Сырцова знала Диночкину маму. Она посоветовала Диночке:

— Немедленно напишите следователю, что вы признаете ваш протокол правильным, а то будет гораздо хуже.

Диночка послушалась ее совета и попросила, чтобы ее вызвал следователь. Диночка сказала ему:

— Я сейчас признаю свои показания, но в суд я не хочу, я буду опять отказываться.

Следователь сказал:

— У вас будет Особое Совещание.

В мае сорок первого года Диночку вызвали на Особое Совещание и дали ей пункт двенадцатый — недонесение об антисоветской деятельности близких, пять лет тюрьмы. Диночка сначала была очень огорчена, что ей предстоит тюрьма, а не лагерь, но потом оказалось, что ей опять повезло: тюрьма в это время была значительно лучше лагеря. Сначала Диночка была в Бутырке, а четырнадцатого июня сорок первого года ее отправили в Орловскую тюрьму отбывать наказание.

Когда в сорок четвертом кончился Диночкин срок, была война. Ее освободили, но перевезли в лагерь в Кемерово, где она работала вольнонаемным врачом. Потом ее перевели в лагерь для военнопленных.

Вот там она наверняка бы погибла от голода и холода, если бы за ней не приехал верный Адольф. Ему удалось выхлопотать, чтобы Диночке дали отпуск, и она уехала с ним на месяц в Москву. Там она заболела воспалением легких, ее лечил Мирон Семенович Вовси \* в Боткинской больнице. Оттуда Диночку направили на военную комиссию и дали три месяца инвалидности. В это время война уже кончилась, ее демобилизовали, и она оставалась в Москве вплоть до нового ареста в сорок девятом году.

В пятьдесят четвертом году Диночка была на суде над Абакумовым в Ленинграде. Суд над Абакумовым был направлен против Берии. И снова выплыло дело Жемчужиной. Диночка выступала на суде как свидетельница. Генеральный прокурор Руденко сказал, что Берия в тридцать девятом году

---

\*Вовси, Мирон Семенович — выдающийся советский врач, главный терапевт Советской Армии, объявленный впоследствии в «деле врачей» 1953 года руководителем шпионской клики и главным «врачом-вредителем».

арестовал двадцать пять человек, которые должны были огорить Жемчужину. Из этих двадцати пяти осталась в живых одна Надежда Вениаминовна Канель, то есть Диночка, остальные погибли. Юлия Канель была расстреляна, муж ее был расстрелян, сестра и брат Жемчужиной были арестованы и умерли в тюрьме, какая-то приемная сестра Жемчужиной была расстреляна. В общем, двадцать четыре человека погибли.

В сорок девятом году по делу Жемчужиной арестовали новых двадцать пять человек, в том числе и Диночку. Из этих новых двадцати пяти человек остались в живых четверо: кроме Диночки, еще писательница Галина Серебрякова (ее арестовали потому, что у Жемчужиной нашли книгу с ее автографом), управделами Жемчужиной Мельник и муж племянницы Жемчужиной. На суде над Абакумовым все они выступали свидетелями.

В пятидесятых годах Диночка подала на реабилитацию, и их с Лялей реабилитировали...

# ВСПОМИНАЙТЕ МЕНЯ, Я ВАМ ВСЕМ ПО СТРОКЕ ПОДАРИЮ...

## Записки о Юлии Даниэле

*Да будет ведомо всем  
Кто я есть.  
Рост сто семьдесят семь.  
Вес шестьдесят шесть.  
Юлий Даниэль*

### Предисловие

Возможно, там была магнитная аномалия, потому что меня туда постоянно затягивало. Из зловонной мертвечины брежневского болота — сюда, в миниатюрную московскую кухню, где даже густо пропитанный никотином воздух кажется живительным кислородом. В этот особый замкнутый мир, в этот маленький космический корабль, летящий по своей причудливой орбите, бесконечно далекой от столбовой дороги кроважадной эпохи. Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе? — бросьте, какая разница! Здесь идет свое летоисчисление. Здесь живут Даниэли — прозаик и поэт Юлий Даниэль и его жена, художница и искусствовед Ирина Уварова.

Юлий Даниэль был человеком особенным. Он обладал уникальным даром делать счастливыми всех вокруг — близких, друзей, собак, котов и женщин, которые любили его когда-то или любили сейчас. И все, кто любил Юлия, любили друг друга. К вечеру на крохотной Даниэлевой кухне становилось накурено, душно и тесно — сюда не зарастала народная тропа. Вокруг Юлия существовало братство, вроде масонской ложи, и Юлий был его паролем.

«Одноделец» Даниэля, Андрей Донатович Синявский — человек громкой, часто скандальной славы, хорошо знако-

мый интеллектуалам всего мира по книгам, статьям, лекциям, выступлениям и интервью. В отличие от него, Юлий был человеком домашним, «камерным». Большую часть жизни он проводил на диване — лежа работал, лежа читал; из дому выходил редко, ходить вообще не любил — болели ноги с поврежденными на войне и в лагере сосудами. На мои попытки вытащить его зимой хоть ненадолго из прокуренной комнаты в заснеженный, сверкающий перхушковский рай неизменно откликался: «Что вы, друг мой! Там же свежий воздух!» — и не шел. Я заметила, что свежий воздух вообще отталкивает бывших лагерников. Губерман как-то пояснил, закашлявшись: «Свежий воздух попал мне в дыхательное горло».

Талантливый поэт, великолепный мастер короткого рассказа и замечательный переводчик стихов, Юлий никогда не называл себя ни поэтом, ни писателем. Он говорил: «Нет, мой друг, я — литератор», — и сердился, когда я оговаривалась. А какой был рассказчик! С Ириной они составляли неповторимый дуэт, и, купаясь в волнах юмора, насмешки, шутки, иронии, гротеска самой высокой пробы, я ликовала, принимая этот посланный судьбой драгоценный подарок.

Преподнесла мне этот подарок дочь Виктория.

В двенадцатилетнем возрасте она тайком сдала экзамены и поступила в художественную школу. Я не на шутку разволновалась. Занятия искусством три раза в неделю не могли не пойти в ущерб приоритетным направлениям — химии, физике, математике, с которыми и так было не без проблем. Серьезный выбор профессии в двенадцать лет?!

— У нас в доме, в третьем подъезде, живет художница, Ирина Павловна Уварова. Покажи ей Викины рисунки, посоветуйся, — подсказали друзья, зная, что, как нормальная еврейская мама, я сохраняю Викины шедевры.

Я узнала Ирнин телефон, договорилась о встрече и в назначенный час стояла с ворохом Викиных почеркушек на пороге пятьдесят второй квартиры. Начиналась самая яркая глава моей жизни.

## В гнезде опасных государственных преступников

Дверь открыл невысокий худощавый сутуловатый человек. Я мгновенно поняла, что уже встречалась с ним однажды — такие лица на забываются. В семьдесят седьмом году, прогуливаясь по двору на сломанной ноге, я увидела на лавочке незнакомого человека с удивительным и прекрасным лицом. Кооперативный дом наш был построен в начале пятидесятых годов медицинской профессурой. Дом большой — пять подъездов и сто четырнадцать квартир, но мы — мое поколение — в нем выросли и знали наперечет всех его обитателей, если не по именам, то в лицо. Этого человека я видела впервые. Он качал коляску и очень нежно, серьезно и уважительно приговаривал орущей малютке:

— Потерпи еще минут пятнадцать, дружок! Я, между нами, тоже не прочь подкрепиться. Но нам с тобой раньше трех возвращаться не велено. Я бы и пошел, но нам влетит...

На коленях у незнакомца лежала тоненькая, в детском издании, книжечка — «Рассказы о Ленине» Зоценко. Я поразилась. Странно не вязался весь облик этого человека с рассказами о Ленине, пусть даже и Зоценко. А у меня дома на полке стояла редкостная по тем временам драгоценность — зоценковская «Голубая Книга».

Слегка поколебавшись, я подковыляла к незнакомцу:

— Здравствуйте. Я живу в этом доме. У меня есть «Голубая Книга», тоже Зоценко. Но совершенно другой — куда лучше. Хотите, я вам вынесу почитать?

Незнакомец глянул на меня изумленно и ледяным тоном отрезал:

— Спасибо. Не надо. Меня эта книга вполне устраивает.

И вот теперь мне предстояло обнаружить, что почитать Зоценко я рекомендовала Юлию Даниэлю...

Незнакомец тоже меня узнал, в первый момент удивился, потом спросил дружелюбно-насмешливо:

— Принесли почитать «Голубую Книгу»?

— Да нет, на этот раз принесла другие шедевры. Их не читают, а разглядывают и восхищаются.

— Ну что ж, пойдём попробуем.

Надо признаться, от Викиного искусства Ирина с Юликом в восторг не пришли. — Девочка способная, — сказала Ирина вежливо. — Но путь тернистый. Выбирать его должен только тот, у кого вопрос о выборе вообще не стоит. По-моему, это не тот случай\*.

Меня усадили пить чай. Было очевидно, что перед моим приходом хозяева навели обо мне кое-какие справки. Они заинтересованно расспрашивали о папе, о маме, о нашей жизни во время папиного ареста, а я все еще не знала, с кем разговариваю. Тут зазвонил телефон.

— Юлик, это Наташа Горбаневская из Парижа, — позвала Ирина.

Известную диссидентку Горбаневскую тогда с энтузиазмом проклинали во всех средствах массовой информации.

Я почувствовала себя страшно неловко. Как я не ко времени! Как должно быть неприятно хозяевам, что совершенно чужой человек стал свидетелем такого звонка. Но они ничуть не обеспокоились и непринужденно по очереди болтали с Парижем.

— Извините, — сказал Юлик, вернувшись, — мы вас бросили. Наташа звонила из Парижа. Там сейчас, знаете ли, собралась такая компания... Синявский, Некрасов, Галич, Максимов, Гинзбург, Горбаневская...

От неожиданности и смущения я ляпнула:

— Вы с ними знакомы?!

Юлик глянул на меня изумленно. Ирина бросилась мне на помощь:

— Извините, я вас не познакомила. Это мой муж, Юлий Даниэль.

Юлий Даниэль!!! Я не могла поверить своим ушам и своему счастью. Когда Юлия арестовали и судили, я в муках рожала Викторю и ни в каких акциях протеста не уча-

---

\*Тут Ирина ошиблась. Это оказался как раз тот случай, что Ирина и признала всего через несколько лет.



ствовала. И вот теперь у меня появился шанс сказать Юлию, какую важную роль процесс Даниэля-Синявского сыграл в моей жизни, какие камеры внутренней тюрьмы распахнул, какие погнутые стержни распрямил... Ничего этого я не сказала, потому что в доме Даниэлей разговаривали в совсем другой тональности, и бурливший во мне текст на эту музыку не ложился. Но, видимо, все это легко читалось на моей физиономии, потому что Юлик предложил:

— Приходите завтра утром пить кофе, поболтаем, — и я зашла от радости.

С этого дня началось мое служебное грехопадение. Утром обычно звонили Юлик или Ирина и предлагали забежать. Я забегала и застревала. Мы пили кофе, болтали.

Официально это называлось «писать дома докторскую». Сжав волю в кулак, я вырывала себя из Даниэлевой кухни и отправлялась на работу, с сочувствием поглядывая на прохожих, не пивших по утрам кофе с Даниэлями...

«Конспи'ация, конспи'ация, и еще раз конспи'ация» в семье Даниэлей была поставлена довольно слабо. Едва со мной познакомившись, почти еще меня не зная, они вручили мне ключ от своей начиненной самиздатом квартиры и попросили доставать почту во время их отъезда, а если захочу — приходить сюда работать или читать. Я была на седьмом небе: вот какие люди мне доверяют! У Даниэлей была замечательная библиотека. Большинство книг в ней было с посвящениями авторов.

Искандер, например, писал Юлику так:

Сердце радоваться радо  
За тебя — ты все успел,  
Что успеть в России надо:  
Воевал, писал, сидел!

Ему вторил Давид Самойлов:

Милый Юлик, сколько пулек  
Просвистало — ни одна  
Нас с тобой не миновала —  
Вот об этом «Времена».

Я стала часто бывать у Даниэлей, но поначалу страшно зажималась в их присутствии, понимая масштаб собеседников и не умея разгадать, чем заслужила их дружбу. Проницательный Юлик, конечно, это видел.

Однажды, лютым зимним днем, я увидела в окно Юлия, вышедшего во двор в легкой летней рубашонке с короткими рукавами (Даниэли тогда жили в другом подъезде). Он отправился в нашу сторону. Вскоре хлопнула дверь лифта и раздался звонок в дверь.

— У вас нет молотка?

Я ужаснулась:

— Вы с ума сошли! Мороз же! Вы что, в своем подъезде не могли попросить молоток?

Юлий обиделся:

— Я что же, по-вашему, похож на человека, который станет у кого попало просить молоток, который ему, кстати, совершенно не нужен?

И мне стало с ним легко и весело.

Когда мы подружились, Юлик с удовольствием изображал в лицах сцену нашей первой, «зоценковской» встречи, каждый раз расцветивая ее новыми убийственными подробностями, которые тут же на месте выдумывал.

— Почему вы меня тогда так решительно отшили? — спросила я однажды.

— Милый друг, от меня же тогда все шарахались, как от чумы. Заговорить со мной на улице по доброй воле мог только стукач.

— Так я же понятия не имела, кто вы такой!

— А если б имела, подошла бы? — прищурился Юлик.

— Наверное нет, постеснялась бы. Ела бы вас глазами издали. Но уж если, то почитать предложила бы не Зоценко, а Маркса-Энгельса и Ленина-Сталина. Вам бы, я слышала, не повредило...

Освободившись из лагеря, Юлий жил один в ссылке в Калуге. Друзья окружили его великой любовью, приезжали из Москвы каждый день, иногда по нескольку человек, праздновали с ним его освобождение. А он работал на заводе,

вставал в шесть утра. Был похож на тень. Праздник освобождения грозил окончиться трагически.

Однажды навестить Юлика приехала Ирина, знакомая с ним по долагерным временам.

— Ты себе не представляешь, на кого он был похож, — рассказывала Ирина. — Если бы я его не увезла, он бы погиб.

Когда окончился срок ссылки, Юлик переехал к Ирине в Москву. Они поженились. Необыкновенно одаренная, красивая, наделенная какой-то магической силой, Ирина — из тех избранных, кто «беседует с Богами». Трудно описать словами степень их близости — они были единым существом с общей системой кровообращения.

У Ирины был редкий дар принимать и любить всех, кто любил Юлия.

Однажды, на минутку забежав к Даниэлям, я увидела на кухне небольшую женщину с изможденным лицом, которое показалось мне знакомым.

— Это наша рыжая Наташка, — представила меня Ирина. — А это Лара. Вы, кажется, встречались.

И тут меня как током пронзило: это же Лариса Богораз, первая жена Юлика! Мы не то чтобы встречались, но я видела ее однажды в Доме ученых на традиционной ежегодной встрече ученых с представителями КГБ. Служители режима приходили пощекотать нервы служителям науки, поиграть с ними, как кошки с мышками, а главное — пострацать. Из любопытства я пошла на одну из таких встреч. Было это в брежневское время, в шестьдесят шестом году, вскоре после процесса Синявского-Даниэля. Представитель Лубянки бойко врал о положительных переменах в нашем процветающем обществе. Предупреждал об отпоре, которое общество обязано дать гнусным отщепенцам, пытающимся эти перемены опорочить. Его прервал женский голос, откуда-то из первых рядов:

— Юлий Даниэль — инвалид войны с тяжелым ранением обеих рук. У него язва желудка. Почему вы поставили его в лагере на тяжелейшую физическую работу, посто-

янно держите в ШИЗО и порвали ему горло принудительным кормлением, когда он объявил голодовку? (Для непосвященных: ШИЗО — это штрафной изолятор, страшное место, откуда самые здоровые и крепкие выходят ка леками.)

Страж государственной безопасности явно растерялся:

— Это клевета! Откуда вам это известно?

— Я его жена. Я только что оттуда.

В этот диалог ворвался вопль из ложи дирекции:

— Безобразие! Кто ее сюда пустил! Дежурных уволю! Убрать ее из зала немедленно!

Она ушла сама.

Так я впервые увидела и услышала Ларису Богораз. Я бросилась из зала вслед за ней, но пока пробиралась между рядами, она исчезла. Исчезла на долгие годы, потому что вскоре Лара вышла на Красную площадь протестовать против советского вторжения в Чехословакию. Вслед за этим, натурально, отправилась в ссылку, оставив в полном сиротстве шестнадцатилетнего сына Саньку. Занятную анкету получил в наследство от родителей этот ребенок: отец — Даниэль, мать — Богораз.

В лагере Юлий подружился с Анатолием Марченко, автором книги «Мои показания». Срок Марченко кончался раньше срока Юлия, и Юлий попросил Марченко навестить Лару. Марченко выполнил просьбу, в результате чего возникла новая семья — Марченко-Богораз и родился сын Павел Марченко. Вскоре, однако, Марченко опять арестовали. Проведя большую часть жизни по лагерям, в ШИЗО и голодовках, он не отличался атлетическим здоровьем, и время от времени возникали слухи о его смерти (последний из них, к сожалению, подтвердился). Незадолго до этого Ирине позвонил незнакомый человек:

— Есть сведения, что Марченко умер в лагере. Он ваш родственник?

— Нет, — ответила Ирина. — А впрочем... у нас общий пасынок (речь, конечно, шла о Саньке Даниэле, но ведь не сразу и сообразишь!).

В тот раз слух о смерти Марченко оказался ложным — к несчастью, ненадолго...

Лара часто бывала у Ирины и Юлика, они очень дружили.

Из близких друзей Юликовой юности мне хочется рассказать о двух — Мише Бурасе и Алене Закс. С Бурасом Юлика разлучила война. На фронт они ушли прямо из школы. Бурас на фронте угодил в штрафной батальон: врезал комбату за антисемитскую выходку. Юлик был солдатом-связистом; он куда-то полз, тянул провод, когда автоматной очередью ему тяжело повредило обе руки. На левой практически не было ни мышц, ни мяса — только покрытые тонким слоем кожи поврежденные косточки. Вдоль правой тянулись длинные страшные шрамы (не потому ли гуманисты — перевоспитатели поставили его в лагере на тяжелейшую физическую работу, а когда из одной раны стал выходить осколок, обматерили: «Нарочно щепку загнал под кожу, сволочь!»)...

С тяжелым ранением обеих рук Юлий попал в госпиталь. Как-то, проходя по коридору, он увидел нового раненого. Юлика поразило, что человек этот занимал на койке до странности мало места. Юлик не сразу понял, что у раненого нет ног. Подойдя спросить, не нужна ли какая-нибудь помощь, Юлик с ужасом узнал в этом молоденьком безногом солдате своего друга Мишу Бураса. Бурас рассказывал мне, что он не хотел жить, и, наверное, не стал бы, если бы не Юлий. На своих искалеченных перебинтованных руках щуплый Юлий носил безногого крепыша Бураса в туалет и ванную, кормил, утешал...

Много лет спустя именно Бурас приехал на своем инвалидном «Запорожце» забирать Юлика из Владимирской тюрьмы. Когда они отъехали от ворот тюрьмы километров на пять, Юлик попросил остановить машину, вышел, вдохнул полной грудью свежий, не пахнувший парашей воздух и задумчиво сказал:

— Хорошо в Большой Зоне...

Потом я с ужасом прочитала у Синявского: «Герой войны, инвалид, из штрафного батальона, выдавил в глаза «вдо-

ве»\*, после суда: «Жаль, что не расстреляли! И буду вечно жалеть!». Синявский пишет — от страха. Что вы, Андрей Донатович! От какого такого страха?! Бурасу-то чего было бояться?! Да не от страха — от горя за Юлика, которого, как считал Бурас, Синявский втянул во всю эту аферу, и от временного умопомрачения человека, раздавленного колесами советской пропаганды.

Сам Юлик никогда мне об этом не рассказывал, и Бурас бывал частым гостем в их доме — а там не всех принимали. Как-то при мне Юлик не пустил на порог некую даму, рвавшуюся с ним объясниться. Деликатнейший, интеллигентный Юлик решительно закрыл дверь перед ее носом. Я поразилась: «За что вы ее так? Кто это?». — «Друг мой, поговорим о чем-нибудь приятном. Доверьтесь мне — она заслужила то, что получила».

... Близкую подругу Юликовой юности Алену Закс вызвали в КГБ сразу после ареста Юлия, когда никто еще ничего не знал и не понимал. Там ей объяснили, что Даниэль обвиняется в публикации за рубежом клеветнических произведений, порочащих советскую власть.

— Ах, так вот что вы ему инкриминируете, — обрадовалась Алена. — Боже, какое счастье! Это же ошибка! Безусловная ошибка! Юлий так ленив, что никогда не смог бы написать ни одного законченного произведения, а уж о том, чтобы передавать что-то за границу, и речи быть не может. Для этого надо суетиться, выходить из дому, куда-то ехать. Он на это категорически не способен, я ручаюсь!

КГБ потребовало, чтобы Алена дала расписку о неразглашении.

— Ну что вы, — сказала Алена, — как же я могу дать вам такую расписку, если через час пол-Москвы будет знать о нашем разговоре?!

— От кого будет знать?!

— Так от меня же, — объяснила Алена, и с этим ушла. Вот какие все-таки наступили вегетарианские времена: и Алену не загребли, и подсудимых не расстреляли...

---

\*Жене Синявского, Розановой.

## Версии

История ареста Даниэля и Синявского чрезвычайно запутана и таинственна.

Синявский в течение десяти лет печатал свои произведения во Франции под псевдонимом Абрам Терц; к нему присоединился Даниэль, печатавшийся под псевдонимом Николай Аржак. Десять лет, десять долгих лет КГБ стояло на ушах, пытаясь разгадать, кто из ныне живущих писателей скрывается под этими псевдонимами. Была создана специальная комиссия из филологов и литературоведов, призванная проанализировать язык этих «пасквилей» и сравнить его с языком русских писателей, живущих и печатающихся в СССР или за рубежом: «клеветников России» необходимо было найти и обезвредить. Синявский, работавший в Институте мировой литературы и бывший в курсе инспирированной КГБ охоты, десять лет успешно водил КГБ за нос. Потом грянул гром.

Историю эту я расскажу так, как слышала ее от друзей. Сам Юлик говорить на эту тему не любил, но многие события предвосхитил в повести «Искушение», написанной еще до ареста. Одного из главных персонажей этой истории впоследствии описал Синявский в романе «Спокойной ночи».

В литературной компании, куда входили Синявский и Даниэль, был некто С. Х., яркая и одаренная личность. Синявский когда-то учился с ним в одном классе. «В школьной, веснушчатой россыпи он выглядел сердоликом, не нуждающимся в шлифовке и ждавшим лишь с годами подобающей оправы... Смазливый, акмеистического типа мальчик, немного чопорный, конечно, из достаточной еврейской семьи, он был бы, возможно, моим кумиром, если б я осмелился когда-либо полностью ему доверять... Подонок-вундеркинд, он бредил совершенством. Погодок, он был старше меня на три тысячелетия... Талантлив был, гениален, вражина», — писал Синявский. — «Блаженный Павлик Морозов ходил среди нас живцом, подобно бесплотному отроку с юродской картины Нестерова... Я ему прямо сказал, когда запахло скипидаром: — «Если меня посадишь, мы сядем вместе. Учти!».

«Ну что ты, — поспешил он заверить, — какой разговор?! И потом, ты же знаешь, мы на одной веревочке...». И ведь не обиделся, не возмутился, бестия... Шантаж, вы скажете? Согласен. Каюсь. Но чем еще, посоветуйте, оградиться от убийцы?».

В начале шестидесятых годов С. Х. защищал диссертацию. На защиту неожиданно пришли два литератора, два привидения, канувшие в преисподнюю много лет назад. Можно ли было предвидеть, что они когда-либо воскреснут! Они попросили разрешения выступить и рассказали, что отсидели в лагерях по десять лет и что посадил их С. Х.

Вскоре после этого Юлий встретил С. Х. на улице и не подал ему руки, но тут же догнал и извинился:

— Я с тобой не объяснился, я не имел права так поступать. На этом материале Юлий написал свою самую пронзительную прозаическую вещь — повесть «Искупление».

Именно С. Х. подарил когда-то Юлию идею знаменитой повести Даниэля «Говорит Москва». Бери, дескать, — твой сюжет, тут нужен Гоголь, а мне не справиться. Юлик принял подарок и блестяще его обработал. Повесть была опубликована во Франции под уже знакомым нам псевдонимом Николай Аржак. И вот однажды обычная компания собралась праздновать день рождения Алены Закс. В положенный час включили послушать «вражьи голоса». По «Свободе» в литературной программе читали повесть Николая Аржака «Говорит Москва». С. Х. как подбросило!

— Теперь я знаю, кто Аржак!!! — заорал он торжествующе. — Это Юлька Даниэль! Я сам подарил ему этот сюжет!

Вскоре их арестовали, сначала Синявского, потом Даниэля: вычислить цепочку Даниэль — Синявский не составляло труда.

Подозрение, скорее даже уверенность в предательстве легла на С. Х. После скандала на защите он уехал из Москвы в Душанбе и впоследствии эмигрировал в Германию.

Так в 1964 году окончилась одиссея Абрама Терца и Николая Аржака, и начался процесс Синявского-Даниэля. Это был по всем статьям необыкновенный процесс: впервые под



уголовным судом была литература и впервые в истории советского судопроизводства из обвиняемых не удалось выжать признания вины. С великолепным достоинством отстаивали они свое право на свободу творчества, давая пораженной советской интеллигенции урок стойкости и мужества. И интеллигенция усвоила этот урок: именно тогда, как реакция на процесс, зародилось в стране диссидентское движение.

Юлий дал мне как-то «Белую Книгу», в которую Александр Гинзбург собрал все материалы о процессе Даниэля и Синявского, за что и отправился вслед за Юлием в тот же мордовский лагерь. Я читала книгу не отрываясь, всю ночь. Я читала ее и раньше, много лет назад по свежим следам процесса, но тогда это было совершенно иное, отстраненное чтение. Теперь за упомянутыми в книге именами стояли знакомые и родные лица, я слышала их голоса, восхищалась их мужеством. Утром, как всегда, позвонил Юлик: «Приходите пить кофе». — «Вынуждена отказаться, — ответила я. — Не могу себе позволить сесть в вашем присутствии. А пить кофе стоя не люблю...»

Приговор осудил Синявского и Даниэля соответственно на семь и пять лет заключения в трудовом лагере строгого режима. Что тут началось во всем мире! На советское начальство покатила мощная волна протеста со стороны международной и советской интеллигенции. Протестовали международный Пэн-клуб, деятели культуры Италии, Дании, Индии, Чили, Мексики, Филиппин, Франции, Германии, Италии, США и Великобритании. Протестовали Арт Бухвальд и Луи Арагон. Шестьдесят два советских писателя слали телеграммы советскому правительству, съезду партии и Михаилу Шолохову, просили разрешения взять Даниэля и Синявского на поруки. «Процесс над Синявским и Даниэлем причинил больший вред, чем все ошибки Синявского и Даниэля», — писали они.

Шолохов выступал на XXIII съезде КПСС от имени советской литературы. Большую часть своей речи он посвятил Даниэлю и Синявскому. Он сокрушался о том, что приговор слишком мягок, что «этих предателей» судили, опираясь на

Уголовный кодекс, а не на доброй памяти революционное правосознание, когда ставили к стенке за куда меньшие проступки. Выступление Нобелевского лауреата по литературе проходило под бурные аплодисменты аудитории...

Даже ко всему привычная советская интеллигенция была ошеломлена речью Шолохова. «Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической,— писала ему в открытом письме Лидия Чуковская. — За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок... Литература уголовному суду неподсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря... А литература сама отомстит Вам за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы».

Шли годы. Даниэль отсидел свой срок и вернулся, сначала в ссылку в Калугу, потом в Москву. Синявский вышел из лагеря и вскоре уехал в Париж, чтобы стать профессором Сорбонны и безнаказанно писать свои статьи и романы.

Имена Даниэля и Синявского никогда не упоминались в советской прессе. Юлий часто был без работы и очень тяжело переживал ее отсутствие — переводы стихов были делом его жизни, его счастьем и страстью. Сидя в одиночке в страшной Владимирской тюрьме, он переводил Теофиля Готье... Но именно счастья работы его постоянно лишали: редакторы литературных журналов шарахались от него, как от чумы. Работу ему давали только при условии, что он будет печататься под псевдонимом Ю. Петров. Так Николай Аржак стал Ю. Петровым.

Юлик возмущался:

— Почему именно Петров?

— Неблагодарный ты человек, Юлик, — заметила Ирина. — Сколько моих знакомых евреев дорого бы дали, чтобы подписываться фамилией «Петров»!

Помогали Юлику друзья, цеховое братство — Булат Окуджава, Давид Самойлов. Они получали заказы на свое имя и передавали их Юлию: будущим литературоведам еще предстоит расставить все по местам. Еще помог Евгений Евтушенко, и Юлик навсегда остался ему благодарен. Евтушенко потребовал, чтобы ему показали циркуляр, в котором сказано, что Даниэля нельзя печатать под его настоящей фамилией. Циркуляра такого, разумеется, не существовало, и незадолго до смерти Юлия появились в печати переводы, подписанные его настоящим именем. Первым был сборник стихов французских поэтов девятнадцатого века. Мы не могли наглядеться на эту книгу.

— Теперь меня опять посадят, на этот раз за плагиат, — резвился Юлик. — Скажут, что я все содрал у Петрова!

И вдруг, на заре гласности, — сенсация! В «Московских новостях» появляется небольшая заметка Евгения Евтушенко. В ней впервые за прошедшие два десятилетия открыто упоминаются фамилии Синявского и Даниэля. Евтушенко пишет, что в середине шестидесятых годов (кажется, в шестьдесят шестом) он был в Америке и встречался с сенатором Бобби Кэннеди, который пригласил его к себе домой. Сенатор Кэннеди завел его в ванную, открыл душ, чтобы лилась вода, и тихо сказал:

— Передай своим друзьям, что имена ваших писателей, Даниэля и Синявского, открыло вашему КГБ наше ЦРУ.

— Но зачем?! — изумился Евтушенко.

— Потому что не составляло труда просчитать, что за этим последует для ваших писателей и какую волну протеста это поднимет во всем мире! ЦРУ хотело таким образом отвлечь внимание мировой общественности от войны во Вьетнаме...

С этой заметкой прибежал ко мне в лабораторию студент, знавший о моей дружбе с Даниэлями. Я прочитала, изумилась, бросилась к телефону. Было глухо занято — легко догадаться, что сейчас Даниэлям звонила вся Москва. Наконец, и мне повезло.

— Друг мой, ради Бога, только не говорите, что прочитали «Московские новости». Я уже не могу этого слышать. Лучше приезжайте скорей домой, выпьем, поболтаем.

Я не заставила себя долго ждать.

— Что за хрень?! — спросила я, едва переведя дух.

— Возможно, это не такая уж хрень, — задумчиво ответил Юлик. — Для меня все время была загадка — каким образом на столе у моего следователя оказалась фотокопия того единственного, правленного моей рукой экземпляра «Искупления», который я передал на Запад? Понимаете, я ехал в метро отдать рукопись и в последнюю минуту делал какие-то правки на полях. Они были только в этом экземпляре. И именно с этого экземпляра фотокопия лежала на столе у следователя. Но он же достиг Франции и был опубликован — каким же образом его фотокопия вернулась обратно?! Может, Евтушенко и прав. Попрекал же следователь Андрея, что наша поимка обошлась стране в одиннадцать тысяч долларов золотом! Есть версия, что КГБ выменяло у ЦРУ имена Даниэля и Синявского за чертежи новой советской атомной подводной лодки...

— Если это правда, лодку следовало бы назвать «Терц и Аржак», — заметил Санька Даниэль.

## **В «культурном заповеднике»**

Это была волшебная ночь. Мы сидели втроем — Ирина, Юлик и я, пили коньяк. Юлик был в несвойственном ему приподнятом настроении, вспоминал разные лагерные истории, потом прочитал сделанный им в лагере блистательный перевод поэмы «Эвридика» его лагерного собрата Кнута Скуениекса. В лагере у Юлия было отменное общество: советский тоталитаризм создал культурный заповедник за колючей проволокой, стараясь изолировать от мира все самое яркое, талантливое и творческое, что рождала эпоха. Юлик рассказывал, что Кнут Скуениекс отбывал семилетний срок за «особо опасные государственные преступления»: написал одно сомнительное стихотворение, держал дома «Британскую энциклопедию» и не донес на знакомых.

С «Эвридикой» Скуениекса связана замечательная лагерная история. Я уже упоминала, что вслед за Юликом в тот

же лагерь отправился автор «Белой Книги Синявского и Даниэля» Александр Гинзбург. Этот «русский народный умелец» славился тем, что замечательно соображал во всякой домашней электронике. Однажды у начальника лагеря сломался магнитофон. Мордовские лагеря не назовешь центрами цивилизации — мастерских по ремонту магнитофонов не было в окружности километров в пятьсот. Начальник лагеря отдал магнитофон на починку Гинзбургу. Гинзбург взглянул — поломка пустячная, выеденного яйца не стоит. И тут Гинзбургу, Юлику и Кнуту пришла в голову блестящая идея.

— Я не могу чинить магнитофон без пленки, — заявил начальству Гинзбург. — Я не могу без пленки проверить, как он работает и работает ли вообще.

Так они заполучили пленку и записали на нее великолепную, интеллигентную, выдержанную в лучших традициях литературную передачу. Кнут Скуениекс читал свои стихи по-латышски, Юлик читал их переводы и поэму «Эвридика» по-русски, Гинзбург сделал какой-то элегантный литературоведческий доклад... Только одно было отличие от обычной радиопередачи. Эта открывалась словами: «Мы ведем эту литературную передачу из трудового лагеря строгого режима номер такой-то, расположенного...» И заканчивалась так: «Передача была организована по недосмотру лагерного начальства».

Трем шутникам удалось передать эту пленку на волю; одна из ее копий есть в Израиле...

Когда Алика Гинзбурга арестовали, он был официально холост. Это не давало возможности его жене Арине навещать его в лагере, а пожениться им не разрешали. Юлик написал об этом «письмо другу» и исхитрился передать его на волю (через зеков, сидевших за религию,— с ними в лагере было более мягкое обращение).

Письмо попало в Италию, было опубликовано и вызвало на Западе новую волну интереса к проблеме прав человека в СССР.

— Как письмо попало на Запад?! — в испуге орало на Юлия лагерное начальство.

— Понятия не имею. Я написал письмо, положил на тумбочку. Ваши надзиратели, видно, сперли и продали на Запад, — объяснял Юлий.

В наказание он отправился из лагеря во Владимирскую тюрьму, в которой и досиживал свой срок...

А Гинзбургам в результате этого инцидента разрешили пожениться. Арина въехала в лагерь на грузовике в подвенечном платье и белых перчатках. Щуплому Алику для церемонии выдали штаны 52-го размера. Заключение украсили лагерь цветами, и под окном у новобранцев «украинские националисты» всю ночь распевали величальные песни...

Я спросила Юлика, почему он не напишет книгу о лагере.

— Боюсь, никто из моих лагерных коллег тогда не подал бы мне руки: это была бы очень веселая книга! Я нигде столько не смеялся!

Но он написал. Изумительные короткие новеллы — о детстве, о лагере и о фронте.

Мой приятель — оксфордский славист — писал о Юлии диссертацию.

— Что было самым главным в вашей жизни? Что вас сформировало? Лагерь? — спросил он Юлия.

Юлий ответил:

— Война.

## Страшная ночь

Днем позвонила из Перхушкова очень обеспокоенная Ирина, сказала, что с Юликом что-то неладное — какие-то странные, скрючивающие судороги рук, через некоторое время проходящие. Это случилось впервые и оказалось началом той болезни, от которой он так рано и так трагически погиб. Я бросилась искать специалиста-невропатолога, который бы согласился поехать со мной в Перхушково. Друзья назвали мне пару имен, и профессор Штульман, которому я позвонила, узнав, кто пациент, сразу же отозвался на мою просьбу. Мы приехали в Перхушково в середине дня. Осмотрев Юли-

ка, профессор тихо сказал мне и Ирине: его надо немедленно везти в клинику, иначе разовьется обширный инсульт, и мы можем его потерять.

Для Юлия слово «больница» — я это уже знала — было страшнее слова «лагерь». Но доктор настаивал — Юлия могут спасти только в больнице. Договорившись с Ириной, что постараюсь организовать перевозку, я повезла профессора обратно в Москву. От Перхушкова до Москвы путь не близкий, выехали мы в сумерки и в Москву приехали затемно. Пока я искала «Скорую», которая согласилась бы частным образом съездить в Перхушково, пока договаривалась с клиникой, чтобы его туда приняли, наступила ночь. Я страшно нервничала, профессор ведь сказал — нельзя терять времени. Наконец мы со «Скорой» двумя машинами рванули в Перхушково.

Домчались мы часам к трем утра. В совершенно темном доме все, включая Юлию, мирно спали. Я была готова развернуться и ехать обратно, оплатив «Скорой» услугу, но сопровождавший ее врач твердо возразил, что не имеет права уехать, не осмотрев пациента, и принялся стучать в дверь.

Узнав, зачем мы приехали, Юлик пришел в совершенное неистовство.

— Кто дал вам право распоряжаться моей жизнью, — кричал он на меня первый и единственный раз в жизни. — Ни в какую больницу я не поеду, я категорически отказываюсь!

Видно было, что у него резко подскочило давление, дрожат руки, дергается лицо. Я была в ужасе.

— Если он сейчас умрет, виновата будешь ты, — сказала Ирина, совершенно забыв в эту минуту, что сама просила меня как можно скорее привезти перевозку. Я ее не осуждаю: момент был очень страшный.

Врач стал уговаривать Юлию и что-то ему объяснять. Включилась и Ирина, умоляя его поехать в больницу ради ее спокойствия. В конце концов Юлий сдался, но лечиться на предложенные ему носилки отказался категорически и гордо шел к машине сам. Мы тронулись — «Скорая» с Юлием и Ириной впереди, я в своей машине — за ними. Страшный это был путь. Мне же было неизвестно, что там происходит, в

этом головном автомобиле. Он ускорит ход — у меня падает сердце, он замедлит ход — у меня падает сердце. Несколько раз, когда мне казалось, что «Скорая» особенно резко меняет скорость, я была близка к обмороку. В голове все время стучало: пожалуйста, пусть он выживет, пожалуйста, пусть он выживет — наверное, это была молитва. Наконец, приехали в больницу. Ирина вышла из машины, помахала мне рукой — доехали живые, не волнуйся, и я почувствовала, что скорая медицинская помощь мне нужна сейчас не меньше, чем Юлию.

Поднялись в палату, на этот раз Юлик — на носилках. Было часов пять утра. На соседних койках спали больные. Ирина заглянула в Юликову прикроватную тумбочку. Там стройными рядами, чтобы не упали и не вывалились, стояли оставшиеся от предыдущего пациента пустые бутылки: две из-под водки, остальные — из-под пива.

— Вот видишь, Юлик, а ты ехать не хотел,— сказала Ирина.

Дежурный врач, считавший Юликов пульс, оживился:

— Пьете?!

Наличие водочных бутылок в таком стерильном учреждении и живая реакция врача как-то успокоили Юлика. Ему сделали укол, и он уснул. Мы с Ириной поехали домой. Наступало утро. Начинали сказываться сутки чудовищного напряжения.

— Выпить хочешь? — посмотрев на меня, спросила Ирина и принесла бутылку водки.

Остальное я знаю по рассказам. Я пила водку небольшими глотками, стакан за стаканом. Осушила бутылку, немного посидела, потом сказала Ирине с упреком: «Ты, кажется, обещала принести что-нибудь выпить». Ирина удивилась, но принесла еще четвертинку..

Очнулась я во второй половине дня на Юликовой постели. Около меня дежурил Гена, секретарь Давида Самойлова, и стояли две пустых бутылки — поллитровая и четвертинка, оставленные Ириной как вещественные доказательства. Гена смотрел на меня с уважением, я бы даже сказала — восторженно. Когда я пришла в себя, он сказал:



— Ирина Павловна вызвала меня около вас подежурить. Она уехала в больницу к Юлию Марковичу. Она сказала, что вы все это одна выпили! Неужели правда?!

— Что вы, — ответила я с достоинством и совершенно искренне, — я водки вообще не пью...

А Юлика тогда в больнице спасли и подарили ему еще несколько полноценных лет. Потом сосудистые кризы стали учащаться.

Юлик был гордый человек и физическую боль старался заглушить иронической фразой. Никогда не забуду: Юлика забрали в больницу с тяжелым инфарктом. Он в интенсивной терапии (по-нашему — реанимации). Туда, конечно, никого не пускают, но я понимаю, что увидеть Ирину, пусть хоть на минутку, для него важнее всех капельниц и лекарств на свете. И делаю то, чего не делала никогда ни прежде, ни потом: надеваю белый халат, представляюсь дочкой своего папы, вызываю в коридор дежурного врача и не торопясь расспрашиваю его о состоянии и перспективах больного. Врач, похожий на викинга или шкипера большого парусника, клюет на эту удочку. Как-то само собой подразумевается, что я его коллега. Ирина тем временем, тоже в белом халате, прошмыгивает в отделение и приникает к стеклу, которым отгорожена от коридора реанимационная палата. Юлий лежит почти голый, весь усыпанный разнообразными присосками, сигналы с которых подаются на повернутый экраном к коридору монитор.

— Ирка, что он там показывает? — спрашивает Юлик.

— Твой, Юлик, образ мыслей.

— Врешь, Ирка! Эта штука давно бы сгорела!

Так шутит человек, не знающий, доведется ли ему дожить до следующего утра...

...Юлик опять тяжело болен, но лежит дома. У него в спальне колокольчик, чтобы вызывать Ирину. Утро. Я, как всегда, забегая узнать, как прошла ночь. Мы с Ириной пьем кофе. Звенит колокольчик — Юлик проснулся! Ирина быстро ставит на небольшой поднос красиво сервированный завтрак, объявляет торжественно:

— Завтрак Королю Юлику! — и отправляется в спальню. Через мгновение возвращается и вручает поднос мне:

— Иди. По утрам он, видите ли, предпочитает рыжих женщин!

Цвет моих волос, в те годы натуральный, был постоянным объектом насмешек в этом доме, из чего я заключала, что меня там любят. Как-то приезжаю в Перхушково и читаю на единственной входной двери: «Вход Только Для Рыжих и Собак».

...Зима. Даниэли в Перхушкове. Неподалеку снимает дачу Окуджава. Ночью у Юлика был тяжелый сердечный приступ, и Ирина послала Марину Перчихину сообщить обо этом Булату. Талантливая театральная художница, ученица Таты Сельвинской, Перчихина отказалась от театральной карьеры и большую часть жизни проводила у Даниэлей: днем обычно спала, свернувшись миниатюрным калачиком в углу кухни, ночью читала и общалась. Никаких связей с миром вне Даниэлевой кухни она не поддерживала. С наступлением перестройки Перчихина ошеломила всех неожиданно проснувшейся неудержимой активностью: организовала издательство, открыла галерею. «Маринка проспала советскую власть, потому что ей было скучно», — объяснила Ирина.

Узнав о болезни Юлика, Булат предложил его навестить и попеть ему, если Юлик захочет. Юлик очень обрадовался. А теперь попробуйте представить себе праздных перхушковских обитателей, увидевших Окуджаву, идущего куда-то среди бела дня с гитарой в руках! За ним в дом к Даниэлям потянулся бы целый хвост... Поэтому был разработан стратегический план. Перчихина отправилась к Булату с большим одеялом, запеленала в него гитару и с этим невесть откуда взявшимся младенцем, нянькая его и напевая, двинулась обратно. Булат пришел сам по себе и много и щедро пел в этот день Юлику. Это оказалось очень эффективное сердечное средство...

Надо ли объяснять, что дом Даниэлей стал моим вторым домом, а позже и домом для подраставшей Вики. Всего-то и было — спуститься с четвертого этажа на первый — и расправ-

лялись легкие, и даже как будто выростали крылья. Мой остроумный и многотерпеливый муж спросил однажды в субботу:

— Хочешь, я дам тебе задание на весь день и большую часть вечера?

— Что надо сделать?

— Отнеси Ирине ее баночки!

Юлик любил Володины шутки. Я вообще не знаю человека, который бы так же благодарно отзывался на чужую удачную шутку. Однажды, не помню в каком году, так случилось, что русская Пасха пришлась на двадцать второе апреля (день рождения Ленина).

— Редкий случай в христианском календаре, — сказал Володя. — Пасха совпала с Рождеством!

Юлик пришел в совершенный восторг и широко Володю цитировал, обязательно со ссылкой на первоисточник.

Даниэли сыграли огромную роль в моей жизни. Если б не они, не читать бы вам сейчас эти записки — мне бы и в голову не пришло писать их и публиковать. Единственное, что я написала до встречи с Даниэлями, был мой рассказ о детстве, «Катапульта». Написала я его для себя, чтобы освободиться от груза, который много лет носила в душе. Рассказ этот беспощадно критиковали мои родственники: «не умеешь писать — не берись!», и я им верила. Уж не помню, как это случилось и что на меня нашло, но только я однажды захватила его с собой в Перхушково и ночью прочитала Ирине и Юлику. Кончила читать, подняла глаза и поняла: победа!

— Публиковать немедленно! — сказал Юлик. — Отдайте его в «Юность», там есть порядочный человек — Юра Зерчанинов.

«Юность», не без трудностей, опубликовала «Катапульта» под названием «Память — это тоже медицина», с предисловием Евтушенко. Так началась моя «писательская» карьера.

В апреле восемьдесят восьмого года были одновременно опубликованы отрывок из книги моего отца о «деле врачей» и мой рассказ в «Юности». От журналистов не стало отбоя. Моя подруга Лена Платонова, журналистка из «Аргументов и фактов», попросила меня:

— Договорись с папой, я хотела бы сделать с ним интервью.

— Ленка, сейчас с моим папой не делает интервью только ленивый. Зачем тебе быть одной из многих? Я тебе другое скажу: сделай интервью с Юликом Даниэлем. Не сможешь опубликовать теперь — когда-нибудь опубликуешь. Этому материалу цены не будет.

— А как?

— Сейчас позвоню Ирине, спрошу, можно ли тебе приехать (сама я в это время лежала с пневмонией в больнице).

Ирина разрешила, и Ленка с Юликом проговорили целый вечер. Это оказалось последнее интервью в его жизни...

Юлик умер вечером тридцатого декабря, накануне нового, восемьдесят девятого года. Мы хотели дать объявление о его смерти в «Литературной газете» или в «Вечерке»: не некролог — просто лаконичное объявление о смерти литератора Юлия Даниэля, но и это оказалось невозможно. Я поехала с текстом объявления в Центральный Дом Литераторов — там был человек, специально ответственный за объявления о смерти и некрологи, без его подписи ничего не могло быть напечатано. Он объяснил мне, что подписать объявление не может без предварительного согласования в райкоме партии и что я должна была сначала получить подпись райкома. Я послала его ко всем чертям и отправилась домой: я представила себе, какие слова услышала бы от Юлика, если б он узнал, что за разрешением сообщить о его смерти я обратилась в райком партии... Ирина одобрила мои действия. Объявление о смерти Юлия так и не было опубликовано в советской прессе, но второго января на его похороны на Ваганьковском кладбище пришло более двухсот человек...

Незадолго до смерти Юлия Ирина обращалась в советское консульство в Париже с просьбой разрешить Синявскому приехать в Москву повидаться со смертельно больным другом. Синявским постоянно отказывали в советской визе, отказали и тогда. Теперь Ирина совершила новую попытку. Телеграммы с просьбой проявить милосердие и разрешить Синявскому попрощаться с Юлием были посланы в два адреса: советскому

консулу в Париже и Эдуарду Шеварднадзе. И впервые за семнадцать лет Синявские получили въездную визу. Как будет видно из дальнейшего, консул, видимо, взял ответственность на себя. Но это были новогодние дни, оформление виз занимает время, и Синявские прилетели в Москву только третьего января, на следующий день после похорон Юлия.

Я возвращаюсь с работы, смотрю — на тротуаре под окном Даниэлей, почти вросши в стену нашего дома, стоит серая «Волга» с выключенным мотором, а за рулем сидит человек и читает книгу. Я подошла вплотную к машине. Рядом с водителем стояла большая раскрытая сумка с какой-то замысловатой аппаратурой. Мы обменялись долгим взглядом, и я отправилась к Даниэлям. Дверь открыла Марья Васильевна.

— Вы машину сопровождения в Париже заказали или сняли в Шереметьеве? — спросила я вместо приветствия.

— Какую машину?

— Выгляните в кухонное окошко!

Все выглянули. Машина исправно стояла под окном на прежнем месте. Так с первой минуты за Синявскими началась открытая слежка. На ночь машина обычно уезжала, и на ее месте дежурил какой-то сидящий на корточках топтун с торчащей из сумки антенной. Маринка Перчихина даже бегала к нему как-то часа в четыре утра стрельнуть папироску.

На следующий день после приезда Синявских Ирине позволили из канцелярии Шеварднадзе. Я подошла к телефону. Мужской голос сообщил, что в ответ на нашу телеграмму Синявским выдано разрешение на приезд в Москву и они вот-вот прилетят.

— Большое спасибо,— сказала я,— мы вам очень благодарны.

— Перед кем это вы так раскланивались? — спросила Марья.

— У меня для вас хорошая новость. Министерство Иностранных дел СССР разрешило вам приехать в Москву, и вы вот-вот прилетите!

— Ну ничего не изменилось! — восхитилась Марья Васильевна. — Правая рука по-прежнему не ведает, что делает левая!

Для Ирины в эти трагические дни приезд Синявских был спасением. Они прилетели в Москву после семнадцатилетнего перерыва, и в московских литературных, журналистских и кагебешных кругах началось необычайное волнение. Вокруг Синявских все кипело и бурлило, как в многобалльный шторм. Ирина попросила меня отвечать на телефонные звонки и по возможности их фильтровать. Телефон звонил, не умолкая, двадцать четыре часа в сутки. Журналисты ломились толпами, расталкивая друг друга локтями. Называлось все это — интервью с Синявским, но на вопросы журналистов отвечала только Марья Васильевна — Андрей Донатович не имел шансов вставить слово.

— Марья Васильевна, мне бы хотелось узнать, что думает по этому поводу сам Андрей Донатович, — не выдержал один бестактный журналист.

— Откуда он может знать, что он думает, пока не услышит, что я скажу, — отрезала Марья Васильевна, и журналист сдался.

Я тогда обогатила литературоведение тезисом, что Синявский пишет, потому что не имеет возможности говорить...

Та первая поездка прорвала плотину, и Синявские стали регулярно ездить в Москву. В свой второй визит Марья Васильевна прилетела в Москву с кучей журналов (она издавала «Синтаксис») и книг. На таможне произошел следующий диалог.

— Что это за книги? Что за Абрам Терц? Почему у вас так много его книг? Он что, хороший писатель? — спросил таможенник.

— Был бы плохой, я бы не вышла за него замуж!

О смерти Синявского я не знала — была в дороге, летела из Солт-Лэйк-Сити в Москву. В Москве, как всегда, первым делом помчалась к Ирине.

— Только что кончили передавать по телевизору похороны, — сообщила Ирина.

— Чьи похороны?

— Андрея...

Ушли Даниэль и Синявский, оставив нам Аржака и Терца.

## БАЙКИ ДАНИЭЛЕВОЙ КУХНИ

### Вакханалия

У Даниэлей был близкий друг, филолог Анатолий Якобсон (Тошка). Он эмигрировал в Израиль и преподавал там в Университете русскую литературу. Было это в семидесятых годах. В том семестре, о котором идет речь, Якобсон читал курс поэзии Пастернака. Книги стихов Пастернака у него не было, и денег купить дорогую книгу не было, но очень хотелось показать студентам «Вакханалию»:

Город. Зимнее небо.  
Тьма. Пролеты ворот.  
У Бориса и Глеба  
Свет, и служба идет...

А в Москве Пастернак подвергнут остракизму, да вдобавок синий сборник стихов из «Библиотеки поэта» — с предисловием Синявского, не попросишь прислать. И тогда Якобсон пишет письмо своей подруге Юне Вертман. Пишет примерно следующее: «Дорогая Юна! Мне вас всех, моих любимых, очень не хватает. Но больше всех мне не хватает Бориса и Глеба. Ах, если бы они были здесь со мной...». Юна понимает намек и пишет в ответ что-то вроде: «Дорогой Тоша! Мы все тоже очень по тебе скучаем. Но больше всех, как ты, наверное, догадываешься, тоскую по тебе я. Сегодня ночью я не спала, все думала о тебе, и сами собой родились такие строки:

— Город. Зимнее небо...

Дальше шел полный текст «Вакханалии».

Письмо дошло до адресата, и вскоре Юна получила открытку с лаконичной рецензией: «Для начинающего поэта совсем неплохо. Советую продолжать!».

## Ленинград — Явас через Хельсинки

С Юликом в лагере сидел простой русский парень, сбежавший в Финляндию из Ленинграда через леса и болота. Бедняга не знал, что между СССР и Финляндией существует договор о выдаче таких перебежчиков. Парня арестовали финские власти, и полицейский повел его как бы в Советское посольство. По дороге он остановился и сказал на ломаном английском языке:

— Видишь, вон советское посольство, куда я тебя веду. А вон там — шведское посольство. Вон — американское. Там, правее — голландское. А у меня жажда. Я хочу выпить кружечку пива. Я зайду в эту пивную, а ты меня тут подожди.

Выйдя из пивной, полицейский был совершенно ошеломлен, застав парня на том же месте, где оставил. Ему ничего другого не оставалось, как передать его советским властям.

— Он мне так доверял. Не мог же я обмануть его доверие, — под общий хохот оправдывался парень в лагере...

## Пока такой человек — Герой! — спит...

У Алены Закс день рождения. Среди гостей — замечательный грузинский актер К. М., он ведет стол. Грузинское застолье не всякому под силу, Юлик довольно быстро сходит с дистанции и отправляется на диван поспать. Тем временем Ирина беседует в уголке с коллегой по «Декоративному искусству» Леней Невлером. У Невлера грустные еврейские глаза с поволокой и длинные, как у примадонны, ресницы. Все это очень не нравится нашему грузинскому другу. А Ирина ничего не замечает и ведет с Невлером в уголке неторопливую беседу на профессиональные темы. В конце концов у К. М. иссякает терпение.

Он подлетает к Ирине, тычет ей в колено горящей сигаретой и рычит:

— Нет, вы только посмотрите! Пока такой человек — герой! — спит, эта ...

Ирина вскакивает, будит Юлика, и они мгновенно уходят...



На следующий день, утром — звонок в дверь Даниэлей. На пороге, на коленях — К. М., с огромным букетом роз и со слезами на глазах. Рядом — ящик коньяка и шампанского. К. М. прощен — ведь на самом деле он просто вступился за честь Юлия со свойственным ему грузинским темпераментом... И начинается новый тур грузинского застолья — на этот раз на Даниэлевой кухне. Только К. М. все никак не может успокоиться: в каждом тосте он непрерывно просит у Ирины прощения и воспекает ее разнообразные достоинства. По мере того как течет застолье, К. М. все более распалывается... И наступает финал:

— Но в конце-то концов, войдите же и в мое положение! Пока такой человек — Герой! — спит...

### На фоне Пушкина...

Юлик болен. Синявские из Франции присылают необходимые лекарства. На этот раз курьер — эмигрантский писатель Мамлеев. Он звонит Ирине и договаривается о встрече у памятника Пушкину.

— Как мы узнаем друг друга? — спрашивает Ирина.

— Я буду в рубашке, в брюках и с большой сумкой.

— А, ну тогда я, конечно, не ошибусь! Кстати, я тоже.

Ирина ждет у памятника. На площади появляется человек с большой сумкой в руках, удивительно похожий на мамлеевскую прозу. Он уверенно направляется к Ирине:

— Здравствуй! Ну как дела воще?

И заключает ее в объятия. Они не были раньше знакомы, и Ирина слегка обескуражена. А впрочем, объятия — в русской литературной традиции. Слегка высвободившись, Ирина догадывается заглянуть в открытую сумку незнакомца. В сумке лежат пустые бутылки.

Незнакомец:

— Пошли выпьем?

Ирина:

— Я бы с удовольствием, но сегодня я очень занята.

Незнакомец:

— Ладно, тогда я пойду один.

Немного отойдя, он оглядывается:

— Я тебе завтра позвоню.

Ирина:

— Непременно! Не забудь!

В этот момент на площади появляется элегантный, безупречно одетый, холеный, в белоснежной рубашке, с французской сумкой через плечо. Окидывает взглядом площадь, подходит:

— Ирина Павловна?..

## Свадебный подарок

Один из солагерников Юлика, выйдя на свободу, встретил где-то под Минском девушку по имени Фаня Каплан и тут же влюбился в нее без памяти. Свадьбу играли в Ленинграде, недалеко от Большого Дома. На нее съехалась вся освободившаяся к тому времени каторга. Не было ни одного гостя, который бы не привез в подарок невесте небольшой игрушечный пистолет... К вечеру на полу в углу комнаты возвышалась внушительная черная горка...

## Литературная критика

Разговор идет о прозе Некрасова.

Юлик:

— А кто из вас читал его прозу?

Ирина:

— «Мертвое озеро» или что-то в этом духе? Он, кажется, писал его вместе с Панаевой? Тогда еще есть надежда, что он не слишком прикладывал к этому руки.

Юлик:

— Да, он был достаточно умен, чтобы соображать, что лучше прикладывать руки к Панаевой!

## Диалоги

У нас в доме капитальный ремонт. Тот, кто его пережил, поймет меня без слов, и описывать его я не буду, как не взялась бы описывать торнадо, тайфун или атомную бомбардировку. Уже дней десять мы живем без ванной комнаты, зато объединенные в одну дружную семью с соседями сверху и снизу огромными зияющими дырами, пробитыми в полу и потолке нашей уборной. К концу второй недели воля к жизни побеждает мою скромность, и я звоню Даниэлям:

— Юлик! Можно я на полчаса попрошу политического убежища в вашей ванной?

— Разумеется, дружок, но не забудьте про «коспигацию»!

— Не беспокойтесь, Юлик! Я сделаю все так тонко — ни одна живая душа не догадается, что я помылась!

Прихожу к Даниэлям — оказывается, у них в туалете сломан бачок: чтобы спустить воду, надо опускать в него руку по локоть и дергать за какой-то крючок.

— Юлик, — говорю, — кому пришла в голову такая блестящая идея объединить унитаз с рукомойником?!

— Мой друг, вам-то должно быть известно, что все великие открытия случаются спонтанно — просто приходит их время! Но прошу вас, не делитесь ни с кем этим дизайном, пока мы не получили патент!

Ирина и Марина Перчихина встретили на улице Фриду Аврумовну, директора нашей почты. В доброе старое время, в небольшом местечке Фрида была бы успешной сводней — это ее хобби, страсть ее жизни. Тщательно разглядывая маленькую светловолосую Маринку, Фрида спрашивает у Ирины:

— Аидешен девочка?

Ирина молча кивает.

— Замужем?

— Только что развелась.

— И как, удачно?

Ирина видит на улице ханыгу, который вращает на веревочке тюбик клея БФ или что-то в этом роде. Ирина подходит поинтересоваться, что он делает и зачем.

— Не видишь — разделяю, — отвечает ханыга, пораженный нелепостью вопроса и Ирининым невежеством.

— Зачем? — продолжает настаивать Ирина — ей всегда все надо.

— Как это зачем?! Выпью, — с удивительным терпением объясняет ханыга.

— И что, вкусно?! — поражается Ирина.

— Ну, конечно, не зубной эликсир!

## СОБАКА АЛИК И КОТ ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ

Истинными хозяевами в Даниэлевском доме считали себя — да, пожалуй, и были — толстый черный спаниель Алик и кот Лазарь Моисеевич, прозванный так, надо полагать, за разбойничью морду\*. Юлик их обожал и никогда ни в чем им не отказывал.

Собака Алик совершенно не переносил, если кто-то что-то ел без его участия: он подходил, трогал лапой за колено, оглушительно лаял и заглядывал в глаза с искренним изумлением:

— Не понимаю, что происходит?! Кто-то ест печенье?! Без зазрения совести ест печенье, когда рядом стоит голодная собака Алик?! Дайте мне взглянуть в глаза этому человеку!

И Юлик мгновенно сдавался, хотя порядка ради и выговаривал Алику за злостное попрошайничество.

Однажды в гости к Даниэлям пришел Генрих Белль. Сели за стол, и Алик немедленно начал его обрабатывать: трогал лапой за колено, заглядывал в глаза.

— Какая у вас ласковая собака, — восхитился Белль, явно не понимая, чего Алик от него хочет: западному человеку не может же прийти в голову, что собака позволяет себе так беспардонно попрошайничать за столом. Когда Беллю объяснили, чего от него ждут, он был потрясен и ничего Алику не дал, чем и вошел в семейные анналы: за всю историю семьи он единственный устоял перед аликовым попрошайничеством.

Результат «воспитания по Споку» оказался довольно плачевным: Алик стал толстым, неповоротливым и ленивым, а к старости еще приобрел несносную привычку из всех возможных узких мест в крохотной квартире безошибочно выбирать самое узкое и самое ходовое. Он растягивался там

---

\*Собака Алик был назван в честь Александра Гинзбурга, который почему-то совершенно не пришел от этого в восторг. А тезкой кота был Лазарь Моисеевич Каганович.

большой черной глыбой, и его невозможно было сдвинуть с места. Думаю, тем самым он обозначал и подчеркивал важность своего присутствия в мире.

Иногда это создавало серьезные проблемы.

Зимой Даниэли обычно снимали дачу в поселке академиков в Перхушкове. Я часто приезжала к ним дня на два — на три. Личных телефонов тогда почти ни у кого не было, звонить ходили «в сторожку», на въезде в поселок. В сторожке обычно сидели сам сторож и приبلудная дворняга, никому в особенности не принадлежавшая, но подкармливаемая всем поселком. В послеобеденные часы она методично обходила дачу за дачей — из тех, в которых зимой кто-то жил, — и собирала дань. Это надо было видеть: она поднималась по лесенке или на терраску и деликатнейшим образом стучала хвостом в дверь. Никогда не лаяла. Ей выносили остатки обедов. Иногда она съедала их на месте, иногда аккуратно забирала и куда-то уносила — видимо, делала запасы на ужин и завтрак. Короче, вела размеренный образ жизни и разумное хозяйство.

Однажды мне нужно было позвонить, и я собралась в сторожку.

— Захвати Алика прогуляться, — попросила Ирина.

Та зима была очень снежная. Между высоченными сугробами была расчищена узкая полоска дороги — едва-едва проехать одному автомобилю. Как только Алик увидел узкое место, сработал рефлекс. Он сначала сел, потом растянулся посреди проезжей части.

Вы знаете, как это бывает. Машины могут не ездить часами, но если на дороге появилось препятствие и препятствие это создали лично вы, — тут же появляется вереница автомобилей и возникает пробка. Так и сейчас. Не успел Алик растянуться посреди проезжей части, как появилась машина с академиком, торопившимся на заседание Президиума. Он потребовал немедленно убрать собаку с дороги. Я бы и рада была, но Алик не трогался с места, а сдвинуть его у меня не хватало сил. Академик выходил из себя, шофер академика гудел, я, чуть не плача, изо всех сил тянула Алика за ошейник — все это с нулевым результатом. Эту мизансцену с ин-

тересом наблюдала сидевшая у сторожки дворняга. Выдержав паузу, она встала, подошла к нам, куснула Алика за попку — Алик взвизгнул и подскочил, а дворняга взяла у меня из рук аликов поводок и утащила Алика с проезжей части. Академик проехал, на прощанье пригрозив разобраться, по какому праву по поселку шатаются не имеющие к нему отношения собаки и люди. Я все-таки пошла позвонить. Пока я звонила, дворняга, во избежание новых эксцессов, сидела на аликовом поводке. Потом все той же кавалькадой мы двинулись домой; я помчалась вперед, чтобы Ирина с Юликом не упустили диковинного зрелища. Дворняга привела Алика домой и была щедро вознаграждена за услугу. Больше я с Аликом гулять не ходила.

Ленивому и неповоротливому Алику Юлик часто ставил в пример черного спаниеля Синявских Оську. Не поверите, но Оська был сыном золотого ретривера! История, со слов Юлика, была такая. Племянник «советского графа» Алексея Толстого жил в небольшом флигеле бывшего дядюшкиного дома. У него была собака редкой по тем временам породы — золотой ретривер. Годы были — то ли конец сороковых, то ли начало пятидесятых. Однажды племянник увидел из окна, как к воротам подъехала безошибочно узнаваемая машина, из нее вышли безошибочно узнаваемые люди и направились в сторону его двери. «Ну, суши сухари», — сказал племянник своей собаке. И действительно, через мгновение раздался стук в дверь, вошли двое, предъявили именно те документы, которых ожидал племянник, но задали совершенно неожиданный вопрос: «У вас есть собака?». Вопрос был нелепый, потому что собака выходила из себя от лая и злобно скалилась — гости ей явно не понравились. «Какая порода? — продолжали допрос пришедшие. — Документы на собаку есть? Предъявите». Рассмотрев документы, заявили: «Собаку мы у вас забираем». Убедившись, что арестовывают не его, а собаку, племянник осмелел и стал протестовать. «Не беспокойтесь, — смягчились пришедшие, — с собакой все будет в порядке. Мы ее вам вернем». Не без трудностей на сопротивлявшегося пса надели намордник и увезли.

Прошло некоторое время. Племянник горевал, но внутренне уже распрощался с любимым псом. И вдруг — телефонный звонок. «Вы дома? Никуда не уходите, сейчас мы вам привезем вашу собаку». Собака вернулась гладкая и жизнерадостная. «Где была, что видела?» — безуспешно пытался расспросить ее хозяин. Но спустя несколько месяцев, неожиданно — телефонный звонок. Тот же голос, который племянник уже начал узнавать: «Вы чем хотите получить, деньгами или щенком?». «Щенком, конечно, щенком», — обрадовался племянник: для него стало кое-что проясняться. «Может, все-таки деньгами», — настаивал голос. «Нет, щенком», — решительно возразил хозяин собаки. «Тогда ждите». И через несколько часов все в той же машине племяннику привезли... крохотного черного спаниеля! Племянник был, мягко говоря, обескуражен: от золотых ретриверов не каждый день рождаются черные спаниели! Было ясно, что редкостного щеночка-ретривера гебешник забрал себе, а может — продал, и подменил его спаниелем. Хозяин собаки не мог скрыть глубокого разочарования, и тогда «гость» рассказал ему такую историю.

Сталину кто-то подарил сучку золотого ретривера. Сучка вошла в возраст и попросилась замуж. Сталин отдал приказание своим соколам найти в Советском Союзе подходящую партию для его сучки. Ретривер, как уже было сказано, был в СССР породой редкой, и после тщательного сыска сталинские соколы вышли на племянника графа Толстого. Вот, значит, с кем породнилась его собака, в какой семье пожила! Рассказавший эту историю гебешник отчетливо понимал, что теперь уж хозяин пса не станет жаловаться, получив в наследство от золотого ретривера черного спаниеля.

Спаниеля назвали Оськой в честь хозяина сучки. Племянник Толстого подарил его Синявским.

... Лазарь Моисеевич был кот необыкновенной судьбы. Потомок диких камышовых котов, буян со свирепой мордой, которую дополняло разодранное в драке ухо, Лазарь вел странную жизнь.



Сирота, обитатель лестничной клетки, крохотный обглоданный котенок, он как-то попался на глаза режиссеру Фридману, и тот притащил его своим друзьям Даниэлям. Младенческие дни Лазарь провел у Даниэлей в московской квартире, осенью выехал с ними в Перхушково, за зиму подрос, заматерел и изрядно одичал. Когда в начале лета Даниэли вернулись обратно в Москву, стало ясно, что Лазарь в городе жить не может. Зимой он проявил себя выдающимся охотником, и было решено отвезти его обратно в Перхушково.

Летом в Перхушкове он вел жизнь дикого камышового кота. Изредка его видели выходящим из леса, часто с добычей в зубах. «Охотник и разбойник, Робин Гуд», — с восхищением говорил о нем Юлик. «Отнимает у богатых котов и раздает бедным», — уточнял друг Даниэлей Юра Хазанов.

На даче летом жили хозяева, Минцы. Лазаря они не жаловали, и он туда никогда не заглядывал. Но стоило нам осенью переехать... Уже через пятнадцать минут Лазарь сидел на кухонной форточке. Сцена возвращения блудного сына не могла быть более трогательной, чем встреча Лазаря и Юлика. Лазарь бросался ему на шею, обнимал лапами, мурчал, как ручной котенок старой леди. Юлику он позволял все. Возможно, он принимал его за Короля Камышовых Котов. И с этого момента на всю зиму Лазарь становился интеллигентным домашним котом.

Дикарем или интеллигентом, для местных кошек Лазарь был совершенно неотразим. Он был гигантский кот с такой яркой внешностью и такой яростной энергией, что вскоре все молодое поколение перхушковских котов было как две капли воды похоже на Лазаря.

Деревенские коты не хотели сдаваться без боя.

— Представьте себе, — рассказывал мне Юлик, — приехала такая столичная штучка, обольстила всех местных прелестниц. Местные коты решили устроить Лазарю аутодафе. Однажды слышу дикий кошачий вопль. Выбегаю на крыльцо и вижу: несется Лазарь, а за ним огромным клубком мчатся местные коты. Лазарь влетает на дачу, коты, по инерции, за ним. Лазарь ныряет под тахту, и через мгнове-

ние оттуда, недовольно ворча, вылезает Алик и раззевает клыкастую пасть... Коты обезумели, взревели, и, пятась задом, вылетели на улицу. Теперь они рассказывают своим детям, как у них на глазах страшила Лазарь обернулся чудищем Аликом... Вот как рождаются легенды об оборотнях.

Когда Ирине удавалось вытащить Юлика погулять, она, бывало, говорила:

— Алик, остаешься в доме за старшего.

Это была типично советская попытка создать дутый авторитет. Ежу было ясно, кто в доме за старшего.

В Перхушково, бывало, приезжали друзья Даниэлей Новацкие с огромной ирландской колли Басей. В эти дни Лазарь обычно сидел у двери на табуретке, внимательно наблюдая за происходящим. Выходя погулять, Бася вынуждена была проходить мимо Лазаря. В этот момент он не проявлял к ней никакого интереса и спокойно выпускал из дому. Его час наступал, когда Бася возвращалась с прогулки. Лазарь ошетикивался, напряжинивался и с размаху бил ее лапой по морде — просто так, чтобы понимала, кто в доме хозяин. И урок не проходил даром: гигантская Бася смертельно боялась Лазаря.

Однажды, идя по Арбату, Ирина с Юликом увидели старика, который за семьдесят пять рублей продавал говорящего попугая.

— Может, купим? — предложила Ирина.

— Не понимаю, дружок, почему я должен покупать Лазарю завтрак за семьдесят пять рублей! Он прекрасно обходится минтаем за тридцать копеек!

Это был, может быть, единственный случай, когда Юлик в чем-то отказал Лазарю.

Старость и болезнь собаки Алика чуть не стоили Юлику жизни. Юлик был уже тяжело болен, перенес два обширных инфаркта и инсульт.

Однажды осенью Алик ушел со двора и пропал. Двое суток его искали все друзья. Нашла Алена Закс. Алик лежал в канаве, весь ушел в мокрую глину и превратился в огромный глиняный ком. Возможно, он шел в лес умирать, и по

дороге у него отказали ноги. Он был еще жив. Алик был так тяжел, что Алена не смогла вытащить его из канавы. Вместе с Аленой к месту катастрофы помчались Ирина и Юлик. Я не случайно употребила этот сильный глагол: не важно, с какой скоростью передвигался Юлик — все равно он мчался. Втроем они вытащили Алика из канавы, положили на клеенку и понесли на дачу на руках. Невозможно было себе представить, что Юлик способен нести такую тяжесть: на его тяжело раненных на войне руках почти не было мышц, не говоря уж о его изрешеченном инфарктами сердце. Дома Юлик купал парализованного Алика, отмывал его от глины, ухаживал за ним, как сиделка, и спас. А через несколько дней это отозвалось ему тяжелейшим сосудистым кризом, из которого его самого едва вытащили...

Но я люблю вспоминать другие дни, когда все еще здоровы, Юлик смотрит на кухне телевизор, разбойник Лазарь, свернувшись калачиком, спит у него на коленях, а собака Алик бьет меня лапой по коленке и оглушительно лает, глядя, как я уминаю хозяйское печенье...

## Эпилог

Прошло десять лет. Я приехала в отпуск в Москву. Мой давний друг пригласил меня к себе на дачу, заехал за мной на машине. Мы много лет не виделись, было о чем поговорить, и за дорогой я не следила. Приехали, затормозили у ворот, и из-под забора на меня вышел... Лазарь. Нет, конечно, это был не Лазарь, этот молодой крепкий камышовый кот с неразодранным ухом. Но как похож!

— Мы что, в Перхушкове? — спросила я своего друга.

— Конечно, разве я тебе не сказал? Несколько лет назад мы построили здесь дачу.

Вот что я называю генами.

**ЕЩЕ СМОТРЮ НА НЕЖНЫХ ДЕВ...****«Открытым текстом» об Игоре Губермане**

*Я свободен от общества не был,  
И в итоге прожитого века  
Нету места в душе моей, где бы  
Не ступала нога человека.*

*Игорь Губерман*

Мой приятель Губерман не так давно перешагнул за шестьдесят. В это трудно поверить, хотя он и бряцает своей «промежуточной старостью», как драгоценными доспехами. Послушайте хотя бы это:

Увы, всему на свете есть предел.  
Обвис фасад, и высохли стропила.  
В автобусе на девку поглядел —  
Она мне молча место уступила.

Это где же уступила место, в Израиле? Не верю. А впрочем... В стихах не оговорено, какое именно место девка ему уступила. Хоть бы и в автобусе,— это же Губерман!

Мы были тощие повесы,  
ходили в свитерах заношенных,  
и самолучшие принцессы  
валялись с нами на горошинах.

Впрочем, было бы ошибкой путать самого Губермана с его лирическим героем. Хотя кое-что, возможно, почерпнуто им из личного опыта и соответствует истине:

Стало сердце покалывать скверно,  
Стал ходить, словно ноги по пуду.  
Больше пить я не буду, наверно,  
Но и меньше, конечно, не буду!

Дружить с Губерманом — это как выиграть миллион долларов по трамвайному билету: редкостная удача. Мне она не выпала — мы слишком поздно познакомились. Но и простое приятие с Губерманом — тоже замечательная удача, хотя и не такая редкостная.

Познакомилась я с Губерманом через Даниэлей. Я уже писала, что мы с ними жили в одном подъезде, они на первом этаже, я — на четвертом, и очень дружили. Я проводила у Даниэлей столько времени, что мой муж однажды спросил, встретившись со мной в подъезде: «Поднимешься на четвертый или сразу домой пойдешь?».

Однажды, копаясь в даниэлевой библиотеке, я наткнулась на небольшую книжку в твердом бежевом переплете. Книжка называлась «Чудеса и трагедии черного ящика». Фамилия автора — Губерман — мне ничего не говорила. Я начала листать книжку и обомлела. На фронтисписе, на полях, с изнанки — она вся была исписана потрясающими четверостишиями:

Евреи продолжают разъезжаться  
Под свист и улюлюканье народа,  
И скоро вся семья великих наций  
Останется семьей без урода.

Или:

Россия — странный садовод,  
И всю планету поражает,  
Верша свой цикл наоборот:  
Сперва растит, потом сажает.

Или:

Я государство вижу статуей:  
Мужчина в бронзе, полный властности.  
Под фиговым листочком спрятан  
Огромный Орган безопасности.

И наконец бьющее наповал, лаконичное:

Давно пора, еб-на мать,  
Умом Россию понимать!

Я помчалась к Юлику: «Что это?!». Юлик сказал с большим уважением:

— О, дружок, это Губерман. Его скоро должны выпустить. По моим расчетам — где-нибудь через полгода. Как только выйдет, он непременно появится здесь, так что вы с ним познакомитесь.

— Он что, сидит? — задала я идиотский вопрос.

Юлик поразился и даже обиделся:

— Конечно, сидит! Или, по-вашему, человек, который пишет такие стихи, должен разгуливать на свободе? Это матерый уголовник, не то, что я. Скупщик краденого. А стихи свои он называет «дадзибао».

И Юлик рассказал мне губермановскую историю. Не все в ней оказалось исторически достоверно, но я передам ее так, как услышала от Юлия Даниэля.

Губерман был известен как страстный коллекционер примитивной живописи и икон. Вскоре после того, как книжечка его «дадзибао» каким-то непостижимым образом попала во Францию и была там опубликована, к Губерману явились два мужика и предложили купить у них замечательную икону. Губерман не устоял перед соблазном и купил. Вслед за мужиками явилась милиция, конфисковала покупку, арестовала Губермана и обвинила его в скупке краденого. На суде мужики, якобы укравшие икону, выступали свидетелями — их и не думали наказывать, судили одного Губермана. На процессе Губермана о его стишках не было сказано ни слова: просто судили мелкого уголовного, скупщика краденого. Дали ему как уголовному элементу пять лет лагерей. Губерман отбывал наказание в Сибири, вел себя хорошо, целеустремленно перевоспитывался, и его отпустили из лагеря «на химию» («химия» — бесконвойная работа на стройках или химических предприятиях, с обязательной ежедневной явкой в милицию для контроля). Следуя замечательной русской традиции, по проторенной «русскими женщинами» дороге, в Сибирь к Губерману приехала его жена Тата Либединская с шестилетним сыном Милькой. И вот теперь губермановский срок подходил к концу, и вся компания вскоре

ожидалась в Москве, хотя Губерману как уголовному элементу путь в столицу был заказан. «Не сомневаюсь, что вы скоро с ним познакомитесь», — обещал мне Юлик.

Прошло какое-то время. Однажды ночью у Юлика был сердечный приступ, и Ирина отвезла его в больницу. Позвонила мне утром:

— Сегодня должен прилететь из Ставрополя режиссер Толя Тучков, ты его знаешь. Я у Юлика в больнице. Сходи вниз, оставь ему на двери записку, чтобы поднимался к тебе, а на работу не ходи.

Я осталась дома в ожидании Тучкова, коренастого приземистого здоровяка. И вот звонок в дверь. На пороге стоит высокий тощий человек, так плотно закутанный в мохнатый серый шарф, что видны только небольшие пронзительные глаза и длинный, висячий, не поддающийся шарфу нос:

— Я поднялся по вашей записке.

— Не хотите ли сказать, что вы — Тучков?!

— Нет, я не Тучков, я — Губерман.

Помните сцену Дубровского и Маши:

— Я не француз Дефорж, я — Дубровский!

Эффект был примерно такой же. Меня как громом поразило:

— Губерман?! Нет, правда?!

— Вам знакомо это имя?

— Еще бы! Читала вашу блистательную прозу.

— Какую именно? У меня много блистательной прозы.

— Да заходите же, что вы стоите на пороге. Выпьем кофе, я вам все расскажу.

Но Губерман сверлил меня острым взглядом и не спешил заходить. Наконец сказал:

— Давайте играть на равных. Вы знаете, что я пишу блистательную прозу, а я о вас ничего не знаю. Вы тоже пишете блистательную прозу?

— О, да. Блистательную прозу об окислении ориентированных и напряженных полимеров. Заходите, я вам из нее почитаю.

— Кто вы, незнакомка?

— О врачах-вредителях слышали?

Губерман заметно оживился:

— Вы не из них?

— Из их гнезда. Сколько капель яда вы предпочитаете в ваш кофе в это время суток?

И Губерман переступил порог.

— Хочу вас предупредить: я сейчас должен находиться минимум в ста одном километре от вашей кухни.

— Догадываюсь.

Так началось наше знакомство. Я сказала:

— Юлик вас очень ждал. Приходите обязательно, когда его выпишут из больницы. Я вам позвоню.

Мы начали перезваниваться. Бывало, позвонит утром Губерман, скажет, сильно картавя:

— Совершенно секретно, батенька. Доложите, пожалуйста, ста, остальным товагищам:

Я забыл о Петгоггаде,  
 Канул в сочную тгаву.  
 Мне тепегь не надо Нади,  
 Я с Зиновьевым живу.

Казалось бы, ну какое мне дело до Зиновьева и Нади, а я целый день хожу счастливая. А уж когда стишки касались лично меня и моей научной деятельности, восторгу моему вообще не было предела:

От силы знания мир ослаб,  
 И стало тускло в нем:  
 Повсюду тьма ученых баб  
 И нет мужчин с огнем.

Однажды позвонил:

— Написал эпиграф к твоей докторской диссертации. Требую, чтобы ты немедленно напечатала его на титульном листе.

Я насторожилась:

— Эпиграф?



— Слушай и записывай. Или лучше сразу печатай:

Толпа естествоиспытателей  
На тайны жизни пялит взоры.  
А жизнь их шлет к еб-ней матери  
Сквозь их могучие приборы.

— Ну, не буду тебя отвлекать, печатай. На титульном листе, наверху справа.

Минут через пять он позвонил снова:

— Готово? Если нет, я печатаю сам — на анонимке в ВАК!

И вскоре:

— Вот тебе эпитафия: «Спи спокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились!».

«В лагере Губерман написал повесть «Прогулки вокруг барака» (нашёл-таки подходящее время и место!). Как-то мы поехали к Даниэлям в Перхушково, и Губерман захватил с собой рукопись. Я начала её читать и уже не могла оторваться. Они общались, а я читала — всю ночь. Для меня эта повесть оказалась страшнее всего к тому времени прочитанного: Солженицын и Шаламов описывали ужасы тех, далёких лет, а Губерман любезно распахивал перед вами двери в тюрьмы и лагеря восьмидесятих годов — двери, всегда готовые принять лично вас... Написано это было ярко и талантливо, что усугубляло мой ужас. Утром вышла бледная, взлажмоченная, и насмерть перепуганная.

— Вот как выглядит женщина, которая провела ночь с Губерманом, — мельком взглянув на меня, бросила Ирина.

...Недавно я перечитала «Прогулки вокруг барака», уютно устроившись на освещенной закатным солнцем террасе своего дома в Солт Лэйк Сити. Оказалось вовсе не страшно.

Игорь любит рассказывать на своих выступлениях, как однажды отважился дать почитать свои стихи человеку, мнением которого очень дорожил, и шел к нему через неделю в большом волнении. Волновался он, как выяснилось, напрасно: друг его отнесся к стихам очень доброжелательно и долго и обстоятельно их хвалил. Совершенно расчувствовавшийся Губерман потерял бдительность.

— А у меня еще вчера сын родился, — сообщил он.

Друг нежно обнял его и сказал:

— О, вот это настоящее бессмертие, а не то говно, которое вы пишете!

Это действительно оказалось бессмертие. Сын с раннего детства стал оправдывать свои гены. Как-то Милька получил двойку по физике. Игорь тогда, отбыв срок, жил нелегально у тещи в Переделкине. Тата позвонила из Москвы с этим горестным известием и послала Мильку к Игорю. Игорь встретил сына у калитки, протянул для приветствия руку и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, сказал:

— Ну, здравствуй, сын!

Милька живо спрятал свою руку за спину:

— Отцам двоечников руки не подаю!

Вскоре он написал в школьном сочинении о Чацком: «Того, кто искренне болеет душой за общество, общество искренне считает душевнобольным!». Я заподозрила руку Игоря, но он поклялся: «Мне такого не придумать!». Я поразмыслила и решила, что это правда.

Хотя сам Губерман тоже не промах. Только большой философ мог так элегантно повенчать материализм с идеализмом: «Материя есть объективная реальность, данная нам Богом в ощущении»!

Когда семейство Губерманов выкидывали из страны, основательный мужичок восьмиклассник Милька, сибирская косточка, объявил в школе, что уезжает в Израиль. Учительница совершенно искренне спросила:

— И родители с тобой?

Перед отлетом, в аэропорту Шереметьево Губерман выглядел совершенно невменяемым. Я не сомневалась, что Израиль станет ему домом, и, как и следовало ожидать, он прижился мгновенно. Многих эмиграция ломает. Губерман остался Губерманом:

Еврею нужна не простая квартира:

Еврею нужна для житья непорочного

Квартира, в которой два разных сортира:

Один — для мясного, другой — для молочного.

Это — из иерусалимского дневника.  
И еще оттуда же:

Неожиданным открытием убиты,  
Мы разводим в изумлении руками,  
Ибо думали, как все антисемиты,  
Что евреи не бывают дураками!

Я залетела в Израиль месяца через два после того, как туда отбыла моя дочь Вика, примерно через год после отъезда Губермана. Вот что я застала. Вика жила в крохотной комнатухе на первом этаже, небольшой колченогий диванчик занимал девяносто процентов полезной площади, окно не закрывалось, по утрам сверху выливали помои не привыкшие к городской жизни марокканские евреи, помои лились прямо на кровать спящей Вики...

Я была потрясена. Позвонила Губерману.

— Не огорчайся, старуха. Через это надо пройти. Все проходят. Кстати, я только что купил машину марки «Дай Кацу» (это, конечно, «Даяцу»), сейчас за тобой заеду, но имей в виду, что с годами я стал домосексуалистом...

Шестидесятилетие — второй губермановский юбилей, на котором мне посчастливилось побывать. Праздновали его в Иерусалиме, в огромном ресторане над бензоколонкой. Подарок Губерману друзья придумали задолго до юбилея. С детства известно, что лучший подарок — это книга. Но дарить писателю книгу какого-нибудь другого писателя было бы, согласитесь, бестактно. Поэтому решено было подарить Губерману книгу самого Губермана — да не одну, а целый тираж! Тираж избранного Александром Окунем и Диной Рубиной по их собственному вкусу из многотысячного собрания Губермановских строчек. Книга вышла замечательная, как и обещали составители, основываясь на том, что в подборе стихов для этой книги сам автор не будет принимать участия... Называется эта книга «Открытый текст». Очень вам рекомендую.

## В СЕКРЕТНОМ ГОРОДЕ

### Федоровы

— Приезжайте немедленно. У нас в гостях Боря Носик. Такой, знаете ли, французский писатель и большой шалун. Вы читали его «Коктебель». Так вот, вы имеете сегодня шанс стать его девятьсот шестой пассией. Как, вы еще не выехали?! Милочка, вы не одна на свете. Если не поторопитесь, рискуете стать девятьсот седьмой! — так в воскресный день зазывал меня приехать в Климовск Георгий Борисович Федоров.

Это был замечательный дом: безалаберный, теплый, гостеприимный, с мебелью, изодранной многочисленными кошками и просиженной бесчисленными гостями. Ситуацию в доме контролировал огромный лохматый дворовый пес Петька, которому любящие хозяева присудили какую-то редкостную породу. Дом стоял около реки, отгороженный густым лесом от загазованной московской суеты. Формально он принадлежал городу Климовску, который легко сошел бы за большую деревню, если б не мешали этому многоэтажные каменные здания горкома партии и Дворца культуры да гигантский Ленин с вытянутой рукой, указующей на расположенный рядом военный завод. Город, собственно, и вырос вокруг этого завода и потому считался закрытым.

Чета Федоровых — профессор-археолог, писатель Георгий Борисович Федоров и его жена, кинорежиссер Майя Рошаль переехали сюда в семидесятых годах, спасаясь от повторных инфарктов ГЭБэ, как за глаза называли Георгия Борисовича друзья. Кстати, я не встречала другого человека, который бы так по-детски трогательно хвастался своими инфарктами.

— У меня было семь инфарктов и два отека легких, — сообщил мне ГЭБэ при первом же знакомстве. — И два обыска! — добавил он радостно, и я сразу поняла, что этому человеку есть чем гордиться.

ГэБэ был личностью легендарной. Археолог, он много путешествовал, совершал удивительные открытия, а попутно прятал в своих экспедициях диссидентствующих друзей, спасая их от вполне реальных угроз со стороны не любившего шутить грозного «тезки». «Скрывался от ГБ в экспедиции у ГэБэ», — не раз и не два слышала я о разных знакомых и незнакомых мне людях. Формально он диссидентом не считался, но, как всякий русский интеллигент, имел внушительный счет к «Софье Власьевне».

ГэБэ знал множество интереснейших историй, замечательно их рассказывал, его можно было слушать часами, даже когда он повторял уже знакомую историю. Очень любил рассказывать, например, как он делал предложение своей будущей жене. Году, кажется, в сорок пятом, гуляя с красавицей Майей по берегу Волхова, ГэБэ произнес:

— Я вас люблю и сейчас сделаю вам предложение. Но сначала я должен открыть вам страшную тайну: я ненавижу Сталина!

То ли это ее не испугало, то ли любовь оказалась сильнее страха, но только они поженились и счастливо прожили вместе около пятидесяти лет... Примерно тогда же друг ГэБэ привел к ним в компанию на встречу Нового года прелестную девушку, на которой собирался жениться. Когда пробили куранты, девушка встала и предложила выпить первый тост года за товарища Сталина. Наступила гробовая тишина.

— Ничего, ребята, я ее перевоспитаю, — пообещал обескураженный друг. Обещание свое он выполнил: женился и перевоспитал, и недавно отпраздновал золотую свадьбу..

— Во как влюблен был! — восхищенно заключал Георгий Борисович свой рассказ.

Друзья молодости (и я за глаза) звали его не ГэБэ, а Жора.

...Переехав из Москвы в Климовск, Жора Федоров совершенно изменил лицо города. Перед его обаянием спасовали даже работники отдела культуры климовского горкома партии, с которыми он быстро подружился и тем самым совершенно нейтрализовал. И вот в Климовский Дворец куль-

туры стали наезжать друзья Федорова. Чуть ли не первым экраном показывал свои фильмы Рязанов. Жора устраивал в Климовске такие концерты и такие выставки, о которых в Москве и мечтать не приходилось.

Однажды, приехав к Федоровым, я увидела во дворе невысокого раскосого человека, безуспешно боровшегося с пингпонговой сеткой. Он курсировал вокруг стола, пытаясь и так и сяк пристроить стойки, но все как-то не выходило, и я уже открыла было пасть, чтобы дать ему через окно какую-то ядовитую рекомендацию, как незадачливый Жорин гость замурлыкал что-то себе под нос, и меня вдруг осенило: елки-палки, да это ж Юлий Ким! Рекомендацию давать расхотелось.

Лучший в моей жизни концерт Кима я слышала в Климовском Доме Культуры.

А сама-то я как попала в дом к Федоровым? Не помню, наверное, познакомили наши общие друзья Утягины\*. Павел Юрьевич Утягин (Павлик), профессор-химик, был одним из ближайших друзей Жориной юности. Развлекались Жора с Павликом тем, что постоянно друг друга разыгрывали, и не всегда безобидно. Жора написал об этих розыгрышах прелестный рассказ и опубликовал его в какой-то местной газете вроде «Климовской правды». К сожалению, рассказ у меня не сохранился, и я восстанавливаю описанные там события по памяти.

Вот какое безобразие учинил Жора на Павликову докторскую защиту. Тут надо сначала объяснить две вещи. Павлик с женой — большие любители путешествовать. Это раз. Я не знаю, есть ли на свете неревнивые женщины: я, например, ревнива, вот и жена Павлика, Марианна, — тоже. Это два. На этом и сыграл Жора, готовя Павлику к защите подарок от общих друзей.

Когда огласили результаты голосования (разумеется, единоголосного: Павлик — блестящий ученый), в глубине сцены раздвинулся занавес, а за ним оказались прекрасная туристская палатка и надутая резиновая лодка. Восхищенный Пав-

---

\*Я воспроизвожу фамилию Павлика так, как представил ее Жора в упомянутом ниже рассказе.

лик бросился к палатке, и тотчас оттуда, покачивая бедрами, выкатилась ему навстречу красотка-блондинка в очень смелом купальном костюме (ее сыграла одна из лаборанток).

— Чур меня, чур, — закричал Павлик в ужасе... и не зря: прошло какое-то время, прежде чем Павлику удалось восстановить семейный мир и утрясти взаимоотношения Марианны с Жорой.

Павлик отомстил. Жора был в экспедиции в Молдавии, когда туда неожиданно пришла телеграмма, подписанная заместителем директора Института Археологии Академии Наук, где Жора работал. В телеграмме сообщалось, что Институт выдвигает Жору в члены-корреспонденты Академии Наук СССР, и ему надлежит срочно вернуться в Москву для сбора необходимых документов, которых требовалось представить штук двадцать пять. Жора принял все за чистую монету, оставил экспедицию, вылетел в Москву и довольно долго собирал перечисленные в телеграмме документы. Наконец, он принес их ученому секретарю института. Тот несказанно удивился, и только тут обнаружился подвох.

Теперь очередь была за Жорой, и он не остался в долгу. Незадолго до описываемых событий в Москве по приглашению Академии Наук СССР побывал лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг. Его принимали на самом высоком уровне, и, конечно, в торжествах по поводу приезда Полинга активно участвовал Нобелевский лауреат с советской стороны академик Семенов — директор института, в котором Павлик работал. И вот Семенову приходит телеграмма из-за рубежа. Латинскими буквами написан короткий русский текст: «Москва. Академику Семенову. Сердечно поздравляю замечательным открытием — эффектом Утягина Тчк Полинг Тчк».

Семенов рассвирепел. Как — он, директор института, последним узнает о совершенном в институте открытии?! И как посмел Утягин дать информацию об открытии за рубеж прежде, чем работа была доложена на ученом совете института и по достоинству оценена советскими коллегами?! Семенов вызвал Утягина и страшно на него кричал. Тот сначала никак не мог понять, в чем дело, и только когда разъярен-

ный Семенов швырнул ему телеграмму, Павлик сообразил, «откуда дровишки»... Он попытался объяснить Семенову, что это розыгрыш, но тот был настолько разъярен, а невразумительные объяснения Павлика звучали столь нелепо, что потребовалось время и все Марианнино обаяние, чтобы утрясти конфликт Павлика с директором института...

Вот так подшучивали друг над другом Жора и Павлик. Крепка была эта дружба, устоявшая перед такими испытаниями!

У Федоровых я пришлась ко двору и стала бывать, и не только сама бывать, но и привозить к ним своих друзей — как-то раз Таню и Сережу Никитиных, другой раз Даниэлей.

Поездка с Даниэлями имела свою историю.

## Сима

У Федоровых был дом с говорящими стенами. Стены кричали, насвистывали и пели о хозяевах. Портрет Георгия Борисовича был работы Виталия Комара (того самого, из пары Комар-Меламид). Необыкновенные куклы оказались подарком падчерицы Александра Тышлера Тани Шур, великолепной кукольной художницы и керамистки. Окончательно меня добились доски — обыкновенные кухонные доски, расписанные чьей-то талантливой, хулиганской, не знающей удержу рукой. Под ними стояло расписанное той же рукой небольшое деревянное корытце. Это был полудеревенский — полугородской фольклор в стиле Городца, но сюжет!.. Я просто остолбенела. На высоком пригорке — церковь; внизу — площадь с традиционным сельсоветом; неподалеку в кустах валяется парочка в стадии далеко зашедшего флирта, от них откатилась пустая водочная бутылка; а на переднем плане отдает салют пионерский отряд — красные галстуки, вдохновенные лица — всегда готов! Непонятно только, кому он салютует — то ли сельсовету, то ли трахающейся парочке, то ли водочной бутылке...

Удивительная, тонкая живопись, злая сатира.

— Боже мой, Георгий Борисович, что это?! Кто это?!



— А как вы думаете, лицо какого пола это делает? — ответил мне Жора вопросом на вопрос.

— По сюжетам — мужчина, по тонкости исполнения — женщина, — ответила я неуверенно.

— Оба раза ошиблись, — засмеялся Георгий Борисович. — Это молодая особа. Кстати, она из очень талантливой семьи — племянница Даниэля.

— Ну, уж это дудки, — возмутилась я. — Я в семье Даниэля бываю чаще, чем в своей собственной, — во всяком случае, так утверждает мой муж. Ирина с Юликом настоящие знатоки и ценители фольклора, Ирина так и вообще профессионал. Если бы у них была такая племянница — неужели эти доски висели бы у вас, а не у них?!

— О, это весьма печальная история, — начал Жора. — Сима — так зовут эту молодую особу — родом из глубокой провинции. Ее мать — родная сестра Юлия по отцу. Сима приехала в Москву учиться в Университете, поступила на географический. Конечно, позвонила Даниэлям. К телефону подошла какая-то женщина; Сима представилась, но женщина не проявила к ней никакого интереса, не пригласила зайти — и больше Сима звонить не стала. Не хочет навязываться знаменитому дяде. В Университете Сима познакомилась с Геной — он тоже из провинции, откуда-то из Сибири. Они поженились, родили двух прелестных детишек, съездили в Сибирь и вернулись в Москву. Московской прописки у них нет, стало быть, официально работать не могут, мыкают горе. Сима рисует и продает доски. Они пользуются успехом у иностранцев, и при нынешнем курсе доллара и марки это позволяет Симе с семьей держаться на плаву. Гена служит Симиным менеджером и растит детей. Даниэлям Сима больше не звонит, чтобы Юлий не подумал, что она чего-то от него хочет.

— Надо немедленно познакомить Симу с Даниэлями, — разволновалась я. — Сима, наверно, звонила Даниэлям осенью, когда они были уже в Перхушкове, а в их отсутствие в квартире постоянно живет кто-нибудь из Ирининых театральных коллег из провинции, — естественно, они не проявили никакого интереса к невесте откуда взявшейся племяннице

Даниэля. А может, Сима просто попала Ирине под горячую руку: лепетала по телефону что-то невразумительное, и вечно занятой Ирине недосуг было ее слушать. Юлию ведь работы почти не дают, и Ирина буквально разрывается на многих поприщах.

— Голубушка, привезите к нам Юлия и Ирину, — взмолился Жора. — А я позову Симу. Устроим встречу потерявшихся родственников в стиле Сергея Смирнова и Валентины Леонтьевой (была такая программа на телевидении).

С этим я помчалась в Москву.

— Вы что, с ума сошли?! — прямо с порога набросилась я на Ирину и Юлика. — У вас, оказывается, есть племянница, великолепная художница, вот уж где фольклор так фольклор! Замечательная девочка — талантливая, остроумная, хулиганистая, — а вы живете и в ус себе не дуете?!

— Какая племянница? О чем вы говорите? — удивился Юлик.

Я пересказала то, что услышала от Жоры.

— Может, это дочка краматорской Маши? — сказал Юлик неуверенно.

Отец Юлия, Марк Даниэль, еврейский писатель и драматург, был большим жизнелюбом, неоднократно женился, имел нескольких детей от разных жен. «Марк Даниэль» был его псевдоним, и Юлик был Юлий Маркович, а сестра его по отцу Маша — Мария Абрамовна...

Пока Юлик рассказывал мне об отце и его женах, Ирину занимали совсем другие мысли:

— Наташка, ты знакома с Жорой Федоровым?! Почему же ты мне никогда об этом не говорила? Я так давно мечтаю с ним встретиться! Мы ведь оба работаем в Молдавии, Жора там нашу родину «сподниза копает», а я занимаюсь молдавским фольклором. Но знаешь, это какой-то рок! Куда бы я ни приехала, всегда слышу: «Вчера у нас был Федоров». Всегда «вчера»! За столько лет так ни разу и не пересеклись... Но теперь это судьба! Едем немедленно!

Мы поехали в ближайшую субботу. По дороге, недалеко от Климовска, в поисках нужного поворота я проехала на

красный свет. Я ездила в Климовск сто раз и все равно постоянно искала этот зловердный поворот. Моя неспособность ориентироваться была постоянным предметом юликовых надругательств, и я изо всех сил старалась не дать ему нового повода; сосредоточившись на поисках поворота, я вообще не заметила светофора. Молодой милиционер, стоявший прямо под ним, просто ошалел, когда я так нагло проехала на красный свет, и сыграл целую симфонию на своем свистке. Я остановилась.

— Вы проехали на красный свет, — сообщил обалдевший милиционер.

Крыть было нечем, но в этот момент на меня снизошло вдохновение.

— Я к Георгию Борисовичу, — ответила я таинственным шепотом и очень выразительно посмотрела на милиционера.

— Что-что?! — удивился милиционер.

— Я к Георгию Борисовичу, — повторила я так же тихо и таинственно.

Дескать, и речи быть не могло, что милиционер не знает, кто такой Георгий Борисович. Милиционер растерялся. Этот Георгий Борисович был, по-видимому, не простой птицей, совсем не простой. После некоторого замешательства милиционер спросил неуверенно:

— Ну и что? Это дает вам право ехать на красный?

Я окончательно обнаглела.

— А мне Георгий Борисович один раз позволил.

Милиционер вздохнул обреченно и на всякий случай решил со мной не связываться:

— Ладно, проезжайте, но больше не ездите на красный.

— Конечно, нет! Мне Георгий Борисович только один раз и разрешил!

Мы проехали. Пронесло.

— Дружок, что такое вы ему нашептали? Почему он не отобрал у вас права? Или, по крайней мере, не оштрафовал? — изумился Юлик.

— Да пустяки. Я объяснила ему, что везу Даниэля к Федорову!

Дальше, слава Богу, мы ехали без приключений.

У Федоровых уже была Сима. Как я и ожидала, ее работы и она сама очаровали Юлика и Ирину.

Так я воссоединила семью Даниэлей — подарила им Симу, и двух ее детей — Аню и Глеба, и ее мужа Гену Торопова, и ее маму «краматорскую Машу». Они потом сильно помогали Ирине, когда Юлик заболел.

Судьба свела Симу с Федоровыми за несколько лет до этих событий. В поселке писателей на Красной Пахре, на даче у переводчика Россельса сложилось такое литературно-диссидентское гнездо. Там часто бывали Федоровы. Как-то у Россельсов снимала дачу литератор Вика Чаликова. Сима дружила с ее дочкой, Галей. Галя Чаликова расписывала досточки в традиционном русском стиле, делала копии с прялок, через нее Сима и познакомилась с этим искусством. Галя дала ей досточки и краски, и Сима стала ее копировать, но вскоре ей стало тесно в традиционных рамках, и она пошла своим, только ей свойственным путем. Симины доски попались на глаза Федоровым и восхитили их. Так завязалась эта дружба. Для Жоры Федорова в ней был дополнительный азарт — обыграть «Софью Власьевну» с ее нелепыми крепостническими законами, помочь Симе с семьей удержаться в Москве.

Сима с Геной жили где-то на обочине советской власти — вроде бы при ней, а вроде бы и совершенно в стороне. При желании их действия можно было легко квалифицировать как криминальные: жили они без прописки, «тунеядствовали», встречались с иностранцами, дружили с культурными атташе западных держав... Но времена были относительно вегетарианские, и их не трогали. Не стану описывать, через какие муки и авантюры прошла эта семья, пока не завершила благополучно свои скитания в английском городе Лондоне, где их в конце концов «прописали»... Туда же, в Лондон, в девяностых годах переехал и вскоре умер от своего последнего инфаркта Жора Федоров... Даже географически Сима и Федоровы оставались рядом до самой Жориной смерти...

После встречи в Климовске Сима стала часто бывать у Даниэлей, и вскоре состоялась ее первая выставка, в редак-

ции журнала «Декоративное искусство» — где ж еще такой выставке и быть! (Не последнее дело также, что Ирина вела в «Декоративном искусстве» театральный отдел.)

Все Симины друзья явились на вернисаж и оставили свой след в книге отзывов. Не могу удержаться, чтобы не процитировать некоторые из них.

«ВеСима СимаПатичная Симастаятельная Искуства.»  
*СимаСука ТакаСима (Япония).*

Это — писатель Леня Седов.

«Глубоко возмущен насмешкой над нашим российским бытом! С кем вы, мастера культуры?!»

*Член об-ва «Память» Лазарь Солоухер.*

Это, конечно, Губерман.

Теперь мне жить невыносимо,  
Я весь душою искалечен.  
Врисуй меня в корыто, Сима,  
Хочу я быть увековечен!

*Министр культуры  
Коми АССР И. Бурятов.*

Это, конечно, он же.

И еще что-то из того же источника, за подписью В. Губерман-Пинчер, член ССП.

Симины доски — фейерверк юмора и иронии, теплой, человеческой, в чаплинском ключе. Ее персонажи и их ситуации одновременно комичны и трогательны. Сима неистоцима на выдумку.

Историю одной доски хочу рассказать — благодаря ей Симино камерное искусство получило всесоюзный резонанс. Я стояла у истоков этой истории.

В середине восьмидесятых годов в Москве на Кузнецком Мосту проходила семнадцатая выставка молодых художников.

Это была довольно авангардистская выставка — во всяком случае настолько, чтобы принять к экспозиции Викины эскизы к гоголевскому «Носу», подвергнутые остракизму в ее родном художественном училище за пару лет до этого, но еще не настолько, чтобы выставить Симины доски. Я, однако, считала, что имеет смысл попробовать «повесить Симку» партизанским способом, в обход худсовета. Мы поехали на развеску втроем — Вика, Сима и я. Нашли подходящий простенок. Сима повесила доски, среди них — «Баньку», о ней ниже, я осталась их караулить, а Вика занялась своим «Носом». Развеска картин молодых художников — увлекательнейшее зрелище. Суетились они всю ночь, до самого открытия выставки, стараясь по возможности создать самую выгодную атмосферу для своих работ. К утру все изрядно измучились и проголодались.

— Сбегай-ка ко мне домой, попроси папу, чтобы собрал нам что-нибудь поесть. Вот адрес, — сказал Вике Петя Пастернак, внук поэта. Вика была самой молодой участницей выставки, поэтому Петя отвел ей роль «мальчика на побегушках».

— Как зовут твоего папу? — спросила Вика.

— Женя.

— А отчество?

Петя от изумления потерял дар речи. Вокруг раздался гомерический хохот. Виктория мгновение смотрела с недоумением, потом до нее дошло.

— Ой, что это я!

Бедняжка густо покраснела и поспешно умчалась выполнять петино поручение.

Утром Симкины доски несколько раз порывались снять какие-то официальные лица, но я неизменно забирала их и вешала на место, бросая внушительное и лаконичное:

— Согласовано.

Так они и остались висеть до открытия и произвели фурор. О них писали. На следующую выставку Симу уже приняли официально и без проблем, так что я считаю себя в какой-то степени ее крестной матерью.

Симину «Баньку» напечатал на обложке «Огонек» Коротича. Вот тут-то и грянул гром.

«Банька», надо признаться, была довольно смелая. Обнаженные, а лучше сказать — совершенно голые мужики и бабы мылись совместно в русской бане; маленький чертенок, стоя на дверце русской печки, раскалял и печку, и страсти моющихся пар. Голая ведьма на метле вылетала через трубу; пара на верхней полке определенно не теряла времени, но нам показывали только их пятки; голые русалки плавали в озерке перед банькой; бородатый мужик наслаждался зрелищем, глядя из-за кустов; пионеры подсматривали в окошко.

Все это оказалось совершенно непривычным и неприличным для совокупного советского глаза, залитого семидесятилетним ханжеством.

Народ возмутился. Народ негодовал. В «Огонек» посыпались сотни писем со всех концов Союза. Подписчики грозили порвать с журналом, который нельзя оставлять на видном месте дома при детях. У подписчиков разыгрывалась фантазия, они активно додумывали то, что не было Симой изображено, и против этого протестовали. «Порнографическое искусство С. Васильевой (Симин псевдоним. — И. Р.) способствует и ускоряет вовлечение до ста процентов 12—13-летних школьниц в игру «Ромашка» и тем самым к неизбежному открытию уже в неполных средних школах (не говоря о полных) гинекологических кабинетов», — писала взволнованная учительница (здесь и дальше я сохраняю орфографию оригиналов). «То, что раньше называлось порнографией, теперь называется эротикой или даже пликладным искусством. Как просто!». «За такие картинки нужно судить как пошлость! С чем идет у нас борьба, воспитываем поколение в духе, вежливости против всяких недозволенностей».

«Я не ханжа и к вопросам интимной жизни отношусь, как говорится, правильно. Художественное изображения обнаженного человека в вашем журнале приветствую. Просто я не смогу объяснить содержание картинки своему ребенку. Уверен на сто процентов, что вид полового акта в советском журнале немедицинского профиля напечатан впервые за все годы советской власти. С чем Вас и поздравляю».

Пожалуй, единственная положительная рецензия пришла от солдат московского округа: «Дорогая Сима! Спасибо! Вы нам нужны!» — писали солдаты.

На народный гнев необходимо было реагировать. Сима учла критику и расписала новую доску, назвав ее «Альтернативная «Банька».

Та же русская баня, тот же интерьер, те же шайки. На левой лавке чинно сидят торжественно одетые мужики, все в черных костюмах и при галстуках; на правой лавке — нарядно одетые бабы. Все чинно парят ноги. Пару на верхнем полке мы теперь видим. Они заняты совершенно не тем, о чем вы подумали: они читают Маркса и Энгельса. На печке стоит не чертенок, а маленькая статуя Ленина в позе «Ленин на броневике». Из трубы вылетает не голая ведьма, а ракета «Восток». И даже русалки надели бюстгальтеры, так что прячущимся в кустах милиционерам и плавающим в пруду пионерам теперь и смотреть-то не на что... Завершая картину, надо всем этим благообразием парит лозунг: «Нравственная Чистота Общества Выше Личной Гигиены!».

На выставке в Манеже обе «Баньки» висели рядом, снабженные объяснениями художницы и выдержками из писем читателей «Огонька». Посетители выставки хохотали от души.

То время, над которым смеялась Сима, ушло безвозвратно. Новые песни придумала жизнь. В России по-прежнему есть над чем посмеяться, но Сима с семьей теперь живет в Лондоне. Сима больше не расписывает доски. Она по-прежнему работает по дереву, но теперь это дерево причудливых, замысловатых форм, неожиданных и извилистых, как лондонские улицы; изменились Симины тематика и стиль. Это, как всегда, талантливо, но — совершенно другое. Гена работает по специальности. Дети подросли и выходят каждый на свою дорогу: Анна будет психологом; о Глебке вы еще, надеюсь, услышите, когда он победит в Уимблдоне.

У нас с Симой в Лондоне много общих друзей, Сима собирает их, когда я приезжаю. Я люблю у них бывать, но жизнь редко дарит мне такие праздники.



## ЧАСТЬ ПЯТАЯ ПРОФИЛЬ И ФАС



Надежда Вениаминовна Канель (Диночка) незадолго до ареста, конец тридцатых годов. Диночкина мама, Александра Юлиановна Канель, в тридцатые годы была Главным Врачом Кремлевской Больницы. Когда погибла Надежда Аллилуева, Александра Юлиановна отказалась подписать заключение о ее смерти от аппендицита, как того требовал Сталин. Так же поступили два выдающихся врача Кремлевской Больницы, Левин и Плетнев. Левин и Плетнев были позднее ошельмованы, арестованы и погибли в тюрьме, а Александра Юлиановна умерла при странных обстоятельствах. Обе ее дочери были арестованы. Диночкину сестру и ее мужа Северина Вейнберга расстреляли; Диночка чудом уцелела (читайте об этом в рассказе «Семья Канель»).



*Диночка Канель незадолго до смерти.  
1998 год.*



*Юлий Даниэль.*



Юлий Даниэль, художник Борис Биргер и вдова Юлия Ирина Уварова-Даниэль.



Ирина Уварова-Даниэль.



В связи со смертью Юлия Даниэля тридцатого декабря 1988 года, впервые за семнадцать лет, Синявские получили разрешение советских властей прилететь в Москву. Они опоздали на похороны Юлия на один день, так что попрощаться с другом Синявскому не удалось.

Эта первая поездка в Москву прорвала плотину, и Синявские стали регулярно приезжать в Союз.

Провожаем  
Синявских в Париж.  
Шереметьево,  
январь 1989 года.



Игорь Губерман. Портрет работы Бориса Жutowского. Накануне отъезда в Израиль Губерман сделал копии портрета и дарил их друзьям. На моем подарке надписи: «С древнееврейским приветом»; «Жди меня и я вернусь»; «С любовью. И. Губерман». Он думал, он шутит...



*В 1992 году я приехала в Израиль повидаться с Викой и Мишкой. Нас навесит Губерман. У него кот Бабушкин вызвал гораздо меньше отрицательных эмоций, чем у меня, что объяснимо: с ним сволочь Бабушкин в одной постели не спал...*



*«Отдай им деньги назад и пойдём выпьем».*

*Губерман несколько раз приезжал ко мне в Юту. Я организовала его концерт, но у нашей мормоно-баптистской публики Губермановская лексика восторга не вызвала, а юмор не дошёл, и на меня ещё долго показывали пальцами...*



*Георгий Борисович Федоров. Портрет работы его сына, Миши Рошалья (читайте рассказ «В Секретном Городе»).*



*Георгий Борисович и его жена Майя Рошаль очень любили Никитиных и были счастливы, когда я их познакомила. Климовск, начало восьмидесятых годов.*

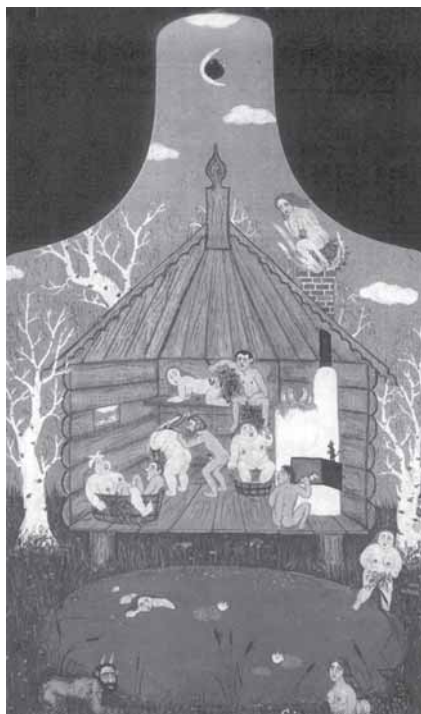


*Жена Георгия Борисовича Федорова, кинорежиссер Майя Рошаль с художницей Симой Тороповой (по псевдониму – Васильевой). Лондон, девяностые годы.*

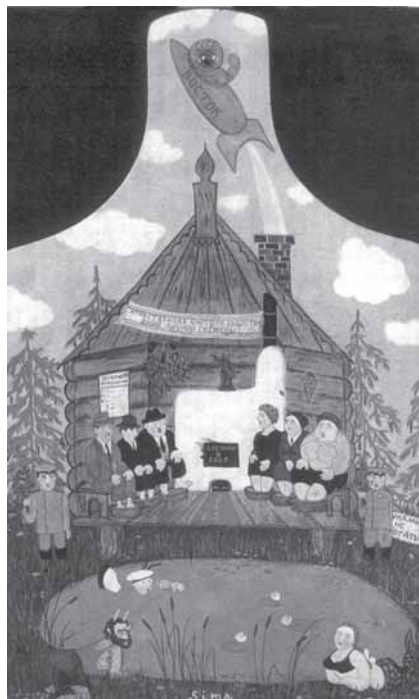


*«Как дела, Глебка?». Сима у нас в Юте. 2003 год*





*Симини «Банька» и альтернативная «Банька».*





## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### ОЧЕНЬ КОРОТКИЕ РАППОРТИЧКИ

#### Выпьем и снова нальём

Эту историю я услышала когда-то от своего Ленинградского друга Алика Блюма. Может, Алик что и присочинил для красного словца — он замечательный рассказчик, но, с другой стороны, человек он очень точный, первопроходчик и певец архивов. Алик получил недавно престижную литературную премию — «Северную Пальмиру» за нашумевшую книгу о советской цензуре. Так что рассказ его, безусловно, имеет документальную основу.

Итак, в когда-то существовавшей Карелофинской республике, как полагалось, был Союз Писателей, и у вышеупомянутого Союза был съезд. Всякий уважающий себя съезд кончается банкетом, и съезд писателей Карелофинской республики в этом отношении от остальных не отличался и другим не уступал. Банкет проходил в ресторане гостиницы, в которой жило большинство делегатов. Почетным гостем съезда был карелофинской министр культуры. Дабы никого не обидеть, он пил, не пропусая, все тосты, в результате чего ему в какой-то момент срочно понадобилось выйти. В гостинице он не жил и с ее географией знаком не был. Он несся по коридору, заглядывая в разные комнаты, и наконец ему показалось, что он нашел искомое, потому что в глубине ком-

наты что-то белело. Он с облегчением справил туда малую нужду, но оказалось, что это белело лицо известного карело-финского писателя, который давно уже крепко спал, будучи мертвецки пьян. От брызнувшей на него невесть откуда струи он проснулся, разом протрезвел и очень обиделся. Он написал заявление на министра культуры в Центральный Комитет и в Союз Писателей СССР. Дело, возможно, как нибудь бы и обошлось, но в Союзе Писателей на это заявление кто-то наложил резолюцию: «Описанному верить!». История в результате получила широкую огласку и писатель был отомщен: министр культуры лишился портфеля.

### **Ветеранам и участникам...**

Мой друг Ян Кондрор — один из самых остроумных людей, которых я встечала в жизни, а жизнь меня в этом отношении не обидела. Ян — химик-элементорганик, до переезда в Германию он трудился в соответствующем институте Академии Наук. Его работы были известны за рубежом, и ими заинтересовался немецкий коллега, работавший в близкой области. Коллега пригласил Яна посетить его лабораторию в Германии и — о чудо! — Яна пустили. В Германии коллега оказывал Яну массу внимания, приглашал в дом, возил по окрестностям, и слегка забывшийся Ян пригласил коллегу в Москву с ответным визитом. А надо сказать, что коллега в России уже бывал и даже слегка знал по-русски, потому что воевал в армии Паулюса, попал в плен и провел довольно много лет в Сибири, пока Хрущёв с Аденауэром не обменялись военнопленными.

Вернувшись в Москву, Ян занялся организацией ответного визита. Коллега прилетел в декабре, незадолго до Нового Года. Ян обратился в соответствующие инстанции с просьбой разрешить ему пригласить коллегу к себе домой на обед, но получил отказ. Ян не хотел нарушать установленных правил, потому что мечтал снова поехать в Германию. И он отправился с коллегой по Москве в поисках ресторана, где бы они могли пообедать. Но можно ли было попасть в

Москве в ресторан в конце семидесятых годов?! Всюду стояли гигантские очереди; без очереди проходили только блатные и заранее заказавшие столик иностранцы. Яна с коллегой, разумеется, никуда не пускали. В лютый декабрьский мороз они сделали несколько безуспешных кругов по центру, и немецкий коллега живо вспомнил и армию Паулюса, и Сибирь, и лагерь, и начал тихо кончаться. Тогда отчаявшийся Ян сунул четвертной швейцару гостиницы «Центральная» (Ян чужак, с этого, конечно, следовало начинать!). На этот раз их пустили и усадили за сервисный столик. Коллега, будучи в коме от голода и холода, момента взятки не заметил. И вот они уже сидят в зале, и заказали еду, и отогрелись, и играет музыка, и коллега спрашивает Яна:

— Почему нас никуда не пускали, а сюда пустили?

Ян молча указывает ему на плакатик, висящий у того за спиной:

«Ветераны и участники Великой Отечественной Войны обслуживаются вне очереди»...

## **Об искусстве правильно задавать вопросы**

Эту историю рассказала наша подруга Тамара Минко. Они с Виталиком приехали в Америку из Киева; Минко — Томкина фамилия по первому мужу, и даже не Минко, а Меняйленко, но середину фамилии пришлось вырезать через суд, потому что ни один американец не мог её произнести.

В Киеве Тамара работала в научно-исследовательском институте Академии Наук. Знакомые попросили её узнать, не нужен ли там кому-нибудь хороший лаборант, сообразительный и рукастый мальчик. Томка узнала, что есть лаборантская вакансия у соседнего профессора и пошла к нему с предложением.

— Не еврей? — спросил подозрительный профессор.

— Нет, нет, не еврей, -заверила Томка.

Мальчика приняли на работу, но тут возникли проблемы. У нового лаборанта был едва уловимый дефект речи, а

профессор и вовсе был шепелявый и косноязычный, и мальчик его совершенно не понимал, хотя с остальными сотрудниками лаборатории у него проблем не возникало. Короче, выяснилось, что мальчик — глухой и читает речь по губам, а у косноязычного профессора настолько нарушена артикуляция, что его речь прочитать по губам невозможно. Профессор набросился на Томку:

— Ты почему мне не сказала, что мальчик — глухой?!

— Так Вы меня не спросили. Вы спросили, не еврей ли он. Он не еврей, — ответила Томка.

## **Быть или не быть**

Если вы эмигрировали из России, предварительно заработав там пенсию, вы имеете право её получать. Правда, для этого нужно каждый год подтверждать через Российское консульство, что вы живы, для чего мало явиться живьём в упомянутое консульство, а надо ещё принести туда специальную бумагу, заверенную нотариусом и скрепленную апостилом. Консульство часто находится чёт знает в какой дали от места, где вы живёте, так что расходы на дорогу, гостиницу, нотариуса и апостиль съедают значительную часть вашей годовой пенсии. Поэтому многие на неё плюют, на что видимо и расчёт.

Мой друг, живущий в Германии, несколько лет был прикован к дому болезнью жены и не имел возможности поехать в Российское консульство в Бонн. В две тысячи втором году, однако, выправил справку о том, что жив, скрепил её необходимыми печатями и поехал.

— А где справки за предыдущие годы? — спросили его в Российском консульстве.

## **Интересное начинание, между прочим...**

Есть в Москве замечательное место — Музей Герцена. Директор Музея, Ирина Желвакова, создала здесь островок куль-

туры для московской интеллигенции, настоящий оазис в океане окружающей мерзости. Непостижимым образом, сквозь все перепетии нашей истории, Ирине удаётся сохранять и Музей и его роль в русской культуре, за что ей низкий поклон.

...Много лет назад на одном из вечеров в Музее Герцена встретились Булат Окуджава и Фазиль Искандер. Окуджава тогда только что вернулся из Сан-Ремо, где получил награду — «Золотую Гитару».

— Булат Шалвович, расскажите о премии, — попросил кто-то из присутствующих.

— Да, Булат, поделись, — добавил Искандер.

...В тот год в Москву привезли из Парижа прах Шалаяпина для перезахоронения на Новодевичьем кладбище. Ирина пожаловалась, что московские потомки Герцена подумывают о переносе и его праха из Англии в Россию, хотя Герцен похоронен именно там, где завещал себя похоронить.

— Интересное начинание, между прочим, — заметил Фазиль Абдулович, — культурный обмен прахами!

## **В один номер с товарищем Герценым**

Кстати, о Герцене. В середине семидесятых годов я читала в Комсомольске на Амуре лекции по линии Общества «Знание». После окончания цикла возвращалась ночным поездом в Хабаровск, чтобы оттуда улетать в Москву. В купе со мной ехали два браконьера; войдя, они поставили в угол длинную узкую холщевую сумку, немедленно раскупорили бутылку портвейна и принялись пить за третьего, чья койка была пуста, потому что в этот момент он сидел в тюрьме, отрубивши руку рыбнадзору. Дело было серьезное, одной бутылкой не разрешишь, и мои попутчики пили до рассвета, заодно рассказывая мне всякие байки из браконьерской жизни (я, по понятной причине, лечь спать побоялась). К рассвету выяснилось, что я заблуждалась относительно содержимого холщевой сумки, стоявшей в углу купе: там оказались не удочки, а самострел, и один из моих новых друзей, выйдя в коридор, непременно хотел мне продемонстрировать,

как он стреляет. Второй повис на нём, отнял ружьё и предотвратил эту демонстрацию; в конце концов они вышли, немного не доезжая Хабаровска, а я, едва живая от напряжения и усталости, поехала в хабаровскую гостиницу, где мне был забронирован номер. Заспанный швейцар, огромной седой бородой похожий на лешего, не смог найти мою бронь.

— Посиди в вестибюле до утра, утренняя дежурная придёт — найдёт, — сказал мне швейцар.

Мне ничего не оставалось, как подчиниться, и я сидела в вестибюле на стуле, всё время куда-то проваливаясь и норовя свалиться на пол.

Вдруг к гостинице подъехало такси, из которого вышел шикарный господин в меховой шубе. Господин сказал швейцару, что его фамилия Герцен и ему должен быть забронирован номер. Швейцар нашел Герцену номер без проблем, но тут выяснилось, что ему забронирован совершенно ему ненужный двухкомнатный люкс.

— Хочешь в один номер с товарищем Герценым? — нехорошо ухмыляясь, спросил меня швейцар.

— Ни в коем случае, — ответила я, — я очень хочу спать, а его непременно разбудят декабристы.

Герцен очень смеялся. Он сказал, что это лучшая шутка о его фамилии, которую он слышал в жизни, и ему очень жаль, что у меня такая уважительная причина...

## **О пользе попугаев**

Володя прочитал в газете сообщение о новом открытии — оказывается, животные имеют абстрактное мышление. Самый умный из них — шимпанзе, потом — попугай. Прежде, чем что-нибудь сказать, он думает.

— Этим он выгодно отличается от меня, — заметила я с грустью.

— Да, — согласился Володя. — Давай купим тебе говорящего попугая, и ты будешь брать у него уроки!

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ МИР – ЛИШЬ ЛУЧ ОТ ЛИКА ДРУГА

*Мир – Лишь Луч от Лика Друга,  
Все иное тень его!*

*Николай Гумилёв*

*...И мы смеемся с новыми друзьями,  
А старых вспоминаем по ночам...*

*Вадим Егоров*



*А.С.  
1/1/04  
копия с  
оригинала 1968г.*





*Мы с Блюмом на ранчо Джима Соренсона на юге Юты.*

Блюм (Лев Александрович Блюменфельд) — дружеский шарж Армена Сарвазяна, копия с оригинала 1968 года. На фотографии — Блюм у нас в Солт Лэйк Сити, 2000 год. Блюм приезжал ко мне в Юту несколько раз, пару раз я организовывала ему курсы лекций на нашем факультете.

Познакомились мы очень давно, в Москве, но тогда между нами была пропасть поколений, с годами постепенно зараставшая. Я знала, что Блюм — великий ученый, хороший поэт, человек блестящего остроумия и необыкновенного мужества. Это создавало во мне внутренний барьер, который по молодости и незрелости мне трудно было преодолеть. Но однажды мы почему-то оказались в одном купе — совершенно не помню, куда и зачем ехали. Блюм спросил:

— Хотите, я прочитаю Вам очень хорошие стихи одного очень хорошего поэта?

Я, конечно, обрадовалась, и он довольно долго читал мне свои стихи — некоторые действительно очень хорошие, а потом сказал:

— Я бы очень хотел прочитать Вам еще одно стихотворение, но оно со словами...

— Обижаете, Лев Александрович! Вы что же, думаете, я слов не знаю?!

— Знаете? — обрадовался Блюм. — Замечательно, тогда прочитаю.

После этого он довольно долго молчал, потом сказал смущенно:

— Видите ли, в чем дело: слова помню, а стихи забыл!

*Но по-настоящему мы подружились уже после моего переезда в Америку.*



Неотразимому обаянию Блюма были одинаково подвластны и высокие русские интеллектуалы и простые англоговорящие мормонские бабы.

Чтобы полностью вникнуть в то, о чём я сейчас вам расскажу, вы должны иметь ввиду, что американский запад, где я живу, недаром называется «Диким Западом». Американский народ вообще свято охраняет свою «прайвэси» (частную жизнь и территорию); к примеру, у нас в Юте хозяин дома имеет право застрелить непрошенного гостя, если тот, пусть просто по ошибке, но без предварительного разрешения пересёк порог его дома. Поэтому даже шериф, навестивший вас по какой-нибудь надобности, позвонив в вашу дверь, быстро отступает на метр от порога и из этой дали на выпянутой руке протягивает своё удостоверение. На воротах частных владений, а иногда и на некоторых дорогах, так и написано чёрным по белому: «Частная собственность. Не пересекайте». И каждый знает: пересечёшь — могут застрелить и не будут в ответе.

Теперь вам легче будет сполна оценить события, о которых я собираюсь рассказать. В два часа того дня Блюм должен был читать на нашем факультете первую лекцию недельного цикла. Это означало, что примерно в час мы должны были выехать из дому. После завтрака, часов в десять утра, Блюм объявил, что отправляется в супермаркет за сигаретами, потому что форменное безобразия, что в доме нет сигарет. В данном конкретном случае сигарет в доме не было не только потому, что никто из нас не курит, а ещё и по моему злому умыслу — я полагала, что Блюму с его измученным сердцем не полезно поддаваться этому пороку, не хотела его поощрять и надеялась, что «на нет и суда нет». Но не тут то было. Блюм взял свою палку, отправился в супермаркет — и пропал. Супермаркет был в двух шагах от нашего дома, даже блюмовским шагом максимум минут пять ходьбы... Когда он не вернулся через полчаса, я начала волноваться, через сорок минут помчалась в супермаркет, но его там не было и никто ничего путного не мог мне сообщить. Через час я уже не находила себе места, мы с Володей прыгнули в машину и начали колесить по району, время от времени заскакивая домой посмотреть, нет ли сообщения на автоответчике. Дело шло уже к часу дня, я была в ужасе и расспрашивала работников ближайших автозаправок и бизнесов, не видел ли кто-нибудь из них поблизости «Скорую Помощь», подбиравшую пожилого господина с палкой. К счастью, никто ничего такого не видел. Я терялась в догадках.

Наконец в один из наших заскоков домой раздался телефонный звонок.

— Приезжай немедленно меня забрать, — сказал Блюм приказным тоном, занимая наступательную позицию и предвзято мои вопли. Впрочем я и вопить-то в этот момент как следует не могла, у меня в мозгу стучало только одно — слава Богу, живой!

— Где Вы?

— Около мормонской церкви.

— Замечательный ориентир, — прорычала я, — у нас в городе пятьсот двадцать девять мормонских церквей.

— Хорошо, сейчас с тобой поговорят.

Милый женский голос сообщил мне по-английски необходимые ориентиры, и минут через десять я уже подбирала на углу улицы слегка смущённого Блюма с палкой, пачкой сигарет и огромной котомкой яблок и груш в руках.

— Это ещё откуда?

— Мне дала та женщина, к которой я зашёл.

— Какая женщина? Зачем зашёл?

— Я вышел из супермаркета через заднюю дверь вместо передней, задумался и пошёл не в ту сторону. Шёл, шёл, смотрю — что-то твоим домом не пахнет. Я пошёл назад, думал скостить дорогу и окончательно заблудился. Потом увидел — в одном дворе женщина возится в саду, но пока я подошёл, она ушла в дом. Дверь она оставила открытой, я и вошёл. Она сначала очень испугалась, но потом мы разговорились, я сказал ей, что заблудился — стати как это по-английски? — она перестала меня бояться и разрешила тебе позвонить. Очень милая женщина, мы замечательно побеседовали, она напоила меня вкусной водой и угостила грушами и яблоками из своего сада. А эти просила передать тебе, так что видишь, я не зря сходил за сигаретами.

— Вы понимаете, что она могла Вас застрелить?! — дуэтом заорали мы с Володей.

— По-моему, она сначала так и хотела, но потом взглянула на меня и угостила грушей. Я ей очень понравился. У неё хороший вкус. А ты что смотришь на меня, как ведьма?

— Я битых два часа носилась по району, расспрашивая встречаемых-поперечных, не видел ли кто неотразимого красавца, этакого Марлона Брандо, с клюжкой, ломаным английским и сонмом поверженных мормонских матрон вокруг. Я уже собиралась ехать в университет, отменять семинар и объяснять, что профессор сегодня лекцию читать не может, потому что в данный момент фотографируется для обложки журнала «Плэйбой».

— Фу, какая злая, — поморщился Блюм. — Перестань ведьмиться. Жаль, что я не познакомил тебя с той милой женщиной, тебе было бы полезно посмотреть, как выглядят добрые и отзывчивые люди.

Я хотела зарычать в ответ, но тут мы подъехали к университету...

— Надо же, яблоки дала! Груши! А ведь могла бы и бритвоочкой, — долго ещё переживал Володя, прилежный читатель отдела происшествий местной газеты, пересфразируя известный анекдот об Ильиче...

Что есть, то есть — обаяние Блюма было неотразимо.

...Блюм присылал мне из Москвы чудные письма и стихи, некоторые грустные, другие забавные, часто смешанные русско-английские:

*Когда возможностей поменьше,  
Смотри придирчивей на сорт...  
Я не люблю ученых женщин,  
Которые не Рапопорт.*

\* \* \*

*Нет на свете ни чужих, ни наших,  
Все преграды на пути круша,  
Борется отчаянно Наташа  
В одиночку против США.*

\* \* \*

*Идя сквозь жизнь по перекресткам сплетен,  
Под грудой тяжкою незавершенных дел,  
Какую женщину в Америке я встретил!  
Какую женщину в России проглядел...*

\* \* \*

*Устав от химфизических морд,  
От бардака и неуютя,  
I came to charming Papoport  
First Science-Lady of the Utah.  
I stay here only one short week  
И раз в два года или реже,  
Но кажется, уже привык  
Быть рядом с нею — what a pleasure!*

Мне нравились не все его стихи и не вся проза, и я откровенно ему об этом говорила. Блюм критики от меня не терпел, спорил и сердился. Чтобы заранее меня обезвредить, на книге стихов сделал мне такую надпись: «Наташке. Эти стихи нравятся людям с сильно развитым художественным вкусом. Помни это, читая. Л.».

Он успел при жизни увидеть напечатанными и роман свой «Две Жизни» (спасибо Сереже Никитину) и книгу стихов. Он был им бесконечно рад, и я счастлива, что он получил от жизни этот подарок.



*С Туровскими на Атлантическом океане.*

С годами всё труднее заводить новых друзей. Со старыми — багаж прожитых лет, пуд съеденной соли. Им можно сказать: «А помнишь?». Новых не спросишь.

С замечательным художником Михаилом Туровским и его женой Софой меня познакомил Губерман. Я впервые переступила их порог, но уже через десять минут ловила себя на совершенно иррациональном импульсе спросить: «А помните?...» — словно мы прожили бок о бок предыдущие пятьдесят лет. Такие родные оказались люди.

Думаю, что Миша — один из лучших, если не лучший художник своего времени. Только не подумайте, что он это время представляет, скорее наоборот. Искусство конца двадцатого века — искусство распада. Михаил Туровский идёт против течения как хранитель, продолжатель, и наследник лучших традиций предшественников. Впрочем, я не искусствовед и эту тему развивать не буду. Просто я погружаюсь в его картины и могла бы проводить среди них долгие счастливые часы, если бы жизнь позволяла. Миша и Софа живут в Нью Йорке и видимся мы, к сожалению, гораздо реже, чем мне бы хотелось...

Судьба настоящего художника, как правило, полна драматических событий, и Миша — не исключение. Потомуки, конечно, разберутся, напишут роман, снимут фильм. А пока на Мишиной родине — в Киеве была огромная выставка в Национальном Музее Украины и вышла трёхтомная монография. «В общей сложности пять томов — восемнадцать килограмм. Видишь, какой я внёс весомый вклад в искусство!», — радовался Миша.

После разнообразных приключений, Миша наконец получил признание и на Западе. Двухязычная (на французском и английском) монография о «великом современном художнике Михаиле Туровском» вышла и в Париже — 220 великолепных репродукций его работ. И совсем уж не слабо — его работам предоставил свои стены Музей Современного Искусства в Нью Йорке (последний раз я была там на выставке Ван Гога).

Кстати, Миша пишет не только кистью: он — автор чудных афоризмов, которые в начале девяностых годов собрал в проиллюстрированную им же книгу «Зуд Мудрости». Часть их включена в недавно изданную в России «Антологию Афоризма», и мы замечательно их «обмыли» во время моего недавнего визита в Нью Йорк. Вот вам для примера несколько моих самых любимых: «Награжден обратной стороной медали» (Губерман потом это зарифмовал в известный гаррик); «выдавливал из себя раба по капле и принимал по десять капель перед едой»; «очередь подобна скорпиону — весь яд у нее в хвосте»; «станция Голгофа-пассажирская»...



Флора с афишей к выставке, посвященной 85-летию Тышлера.

Вдова художника Тышлера Флора Сыркина и Иосиф Бродский на вернисаже Русского Авангарда в Музее Гугенхайма в Нью Йорке. Начало девяностых годов.

### **Флора**

С Флорой Сыркиной я познакомилась когда-то через ее дочку Таню, замечательную художницу-керамистку. Флора была очень красива, за ней когда-то в юности безуспешно ухаживал мой отец. Я знала, что Флора происходит из очень известной научной семьи: она была дочерью академика Якова Кивовича Сыркина, пострадавшего за теорию резонанса. В глухие сороковые-пятидесятые годы, взяв на вооружение искусство, с которым Лысенко истреблял генетику, другие естественные науки тоже считали своим долгом найти и искоренить у себя криминальные направления. В химии таким козлом отпущения была избрана теория резонанса, разработанная Флориным отцом. Он был отовсюду уволен, но, к счастью, уцелел — не посадили.

Искусствовед Флора была женой гениального художника Александра Григорьевича Тышлера. Я с Тышлером не встречалась — мы подружилась с Флорой уже после его смерти. Флора включила меня в свой «внутренний круг»: я бывала у нее не только не только на семейных праздниках, но и в самые что ни на есть будни — в дни маникюра и педикюра, который ей, а теперь и мне, делали у нее дома. Флора жила комфортно — у нее были свои мастера в любой сфере жизни, от изготовителей очков до парикмахеров и портных, и она ими со мной щедро делилась. Я очень любила у нее бывать, в ее гостиной был совершенно особый, теплый мир Тышлеровских картин и деревянных скульптур.

Потом я уехала в Америку. Мы переписывались и перезванивались и, приезжая ненадолго в Москву, я всегда забегала к Флоре.

Однажды Флора позвонила мне в Америку с известием, что в Музее Гугенхайма в Нью Йорке будет Выставка Русского Авангарда, куда она приглашена с картинами Тышлера. Флора спросила, не хочу ли я прилететь на открытие. Вскоре по почте пришел дивной красоты пригласительный билет, извещавший среди прочего, что форма одежды на вернисаже — «черный галстук». Я понятия не имела, что это такое, но на выставку, конечно, полетела.

Мы с Флорой пришли в музей рано утром в день открытия — посмотреть, как развесили Тышлера. Флора была очень недовольна развеской и безуспешно пыталась что-то изменить, а я просто бродила по выставке в пустом музее, наслаждаясь отсутствием сутолоки и суеты.

Что такое «черный галстук», я поняла на вернисаже. Ослепительная толпа — Нью-Йоркский бомонд. Шикарные дамы декольте, в бриллиантовых колье, изумрудах и сапфирах, мужчины в смокингх и белоснежных манишках, похожие на огромных пингвинов с бокалами шампанского в руках. Я была сторонним наблюдателем на этом празднике жизни. Вдруг по фойе прошел какой-то шорох; многие обернулись, стараясь что-то или кого-то разглядеть. В Музей вошел человек, сразу резко выделившийся из черно-белой толпы; на нем был обычный темнозеленый костюм и голубая рубашка, и на него были обращены все взгляды. Человек обернулся, и я увидела его лицо.

— Смотри, Флора, Бродский!

Флора бросилась к нему, прорезая толпу, я, конечно, за ней.

— Здравствуйте, Иосиф, я Флора Сыркина, вдова Тышлера.

Бродский улыбнулся.

— Мы с Тышлером были вместе в в эвакуации. Он рисовал мою маму. Когда я уезжал, этот портрет висел у нас на стене. Но знаете — маме не понравился нос, и она его перерисовала!



Я быстро искоса взглянула на Флору. Она очень трепетно относилась к каждому движению тышлеровского карандаша, фломастера или кисти. Любому другому она бы устроила скандал за такое кощунство, но маме Бродского простила и даже пошутила по этому поводу. Тут я их с Бродским и сфотографировала.





Мой друг Ян Кандрор — один из самых остроумных людей, которых я встречала в жизни (читайте очень короткую рапортничку «ветеранам и участникам...»).

Мне от Яна по разным поводам достаётся, но даже это приносит море радости. Однажды после страшных историй, приключившихся со мной в Греции и приведших меня в захолустный островной госпиталь, во дворе которого бродили овцы приболевших чабанов, а простыни последний раз меняли при Гиппократе — после всех этих ужасов — потерянного паспорта, денег, билета в Америку — я в самом жалком виде, с чудовищными переболями в сердце, добралась до Германии и вползла к нашему с Яном общему другу Эрлену Федину. Мой вид привёл Эрлена в ужас и он бросился звонить Яну.

— Я не могу найти у неё пульса!

— Под кроватью смотрел? — спросил невозмутимый Ян.

— У неё очень высокое давление, — не унимался Эрлен.

— Замечательно. Это значит, что она уменьшается в объёме, потому что пэ на вз есть величина постоянная.

Эрлен транслировал мне содержание разговора, и я не выдержала.

— Передай этому бессердечному чудовищу и невежде, что указанная им формула справедлива только для ИДЕАЛЬНОГО газа! А мой оставляет желать...

...Другой раз я пожаловалась Яну в письме, что муж мой Володя скандалит по поводу моих частых дальних перелётов — считает, что я дурею от постоянной смены часовых поясов.

— Володя, хоть и мудр, но совершенно неправ, — позволил себе не согласиться с Володей Ян. — Если ты дуреешь, перелетая из Штатов в Японию (что вполне вероятно), то ровно на столько же (на то есть законы Ньютона!) умнееешь на обратном пути!

...Я очень люблю длинные немецкие сосиски с помидорами и, живя у Кандроров в Германии, отказываюсь от разносолов, приготовляемых искусницей Наташей, во имя этого редкостного лакомства. Собираясь в очередной раз в Германию, послала за два месяца до срока указание заготовить сосиски. В ответ получила следующее разъяснение:

«Дорогая Наташенька!

Ты ведь знаешь, почему евреи до сих пор — передавая это из поколения в поколение — помнят, кто «коэн» и кто «левит»: когда придет Мессия, мы не должны суетиться и искать, кто же должен вести службу в Храме. Из тех же соображений мы с Натальей постоянно держим наготове свежие сосиски и помидоры — не бойсь!»

Теперь вас, наверное, не удивит, что на карте моих пресловутых дальних маршрутов один из самых любимых — маршрут США — Висбаден.



Наша подруга, московская журналистка Лена Платонова, потеряла дар речи, вдруг осознав, что человек, рядом с которым она провела целый вечер и в присутствии которого пела — знаменитый саксафонист Леша Зубов! Лос-Анжелес, Калифорния, 1999 год. На заднем плане — картина популярной молодой калифорнийской художницы Анны Краснер.



Александр Андреевич Дулов. «Саша Дулов, прославленный бард...». Когда-то Дулов дарил мне свои песни, записанные на чьей-то грудной клетке — так давно мы с ним знакомы. Его «Размытый путь», «Ну пожалуйста», «На краешке лета», «Три сосны» и сегодня сопровождают меня на работу — пятнадцать миль по хайвэю под дуловский диск.

Не у всякого на карте мира обозначена Юта. У Дулова — обозначена. Он бывает у нас регулярно, удивляя непосвящённых слушателей неожиданными прозрениями — оказывается, многие любимые ими песни написал этот высокий лысоватый интеллигент в неизменном пиджаке и при галстучке...

Однажды мы с Дуловым проехали через все Ютские коньоны и Большой Коньон в Лас-Вегас, где впервые в жизни под его чутким руководством я выиграла в рулетку тридцать долларов... Такое не забывается и, к сожалению, не повторяется...



*Веня и Галя Смеховы — люди мира. Они живут так, как всю жизнь мечтала жить я, но при моей профессии это невозможно... Они бросают нехитрый скарб в спортивный джип и кочуют по Америке, или по Европе, или по другой планете, слушая по дороге замечательные диски и обсуждая планы будущих Вениных постановок. Несколько раз на их творческом пути оказывался Солт Лэйк Сити. На этих снимках — Смеховы в нашем Мормонском Центре, что на Площади Мормонского Храма.*

*...Я тоже кочую по миру — в основном в Боингах. Однажды весной, по дороге на открытие выставки нашей дочери Виктории в Музее города Шампэйна, на моём пути оказался колледж Гриннел, где Веня поставил «Ревизора» с американскими студентами. До тех пор я знала только артиста Смехова — в большей степени Воланда, в меньшей — Атоса. В Гриннеле я впервые увидела Венину режиссерскую работу — она доставила мне море удовольствия. А недавно получила редкую возможность сравнить двух Воландов — Вениного Воланда на Таганке и второго — вылепленного Веней в Атланте из студента-слависта Эндрю. Удивительно, но Веня не повторил себя — они с Эндрю сделали совсем другого Воланда, но я приняла и этого.*



*Мои друзья Ирина Азерникова и Арик Гальперин. (читайте о них в рассказе «К вольной воле заповедные пути...»)*



*Мой друг пианист Саша Избицер.  
(читайте о нём в рассказе «К вольной воле заповедные пути...»)*



*Мой дом в Солт Лэйк Сити видел много замечательных гостей. Городницкий сказал, остановившись на пороге своей комнаты: «Приезжай! Затаи свой дух! На этой койке спал Евтух!».*



*Евтушенко даёт урок русской литературы американским славистам в Солт Лэйк Сити.*



В 1987 году я отнесла в журнал «Юность» свой первый рассказ. Гласность и Перестройка тогда только-только набирали силу, и журнал хотел подстраховаться - предисловие к рассказу должен был написать человек влиятельный и популярный, с хорошей нееврейской фамилией («Юность» была тогда под обстрелом общества «Память»). Выбор журнала пал на Евтушенко. Мы с ним знакомы не были, о чем он и сообщил читателям: «...Я лично с ней незнаком, но почему-то мне она представляется

властной, уверенной в своих решениях женщиной, и лишь где-то, в глубине ее глаз, на самом дне зрачков привыкла столько лет прятаться трагедия ее детства...»

Прошло много лет. Как-то, разбирая папин архив, я наткнулась на папину книгу, подписанную для Евтушенко. Почему-то папа ее не послал — скорей всего, не знал адреса. У меня был американский адрес Евтушенко, и я отправила ему папину книгу, а заодно и свою, где в главе о Юлии Даниэле сказано о Евтушенко несколько лестных слов. К этому приложила открытку, в которой предлагала ему прилететь, заглянуть на дно моих зрачков и лично убедиться, что он ошибался относительно моей власти и уверенности в себе... Недели через две раздался телефонный звонок:

- Наташа? Это Евтушенко...

Он прилетел в Юту и провел у нас несколько дней. О его визите писала местная газета. Я организовала ему выступление в Университете и была потрясена размахом его популярности. В мормонской Юте, в лютый мороз и дикий снегопад, когда хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, на выступление Евтушенко приехало четыреста пятьдесят американцев! Он произвел на них очень сильное впечатление, я потом слышала много откликов.

Ошибку свою относительно моего характера он не признал, и к Володе обращался не иначе как «Мой опальный друг»...

Ну и, конечно, мы отпраздновали его приезд в нашей, тогда еще не разбросанной по Америке, теплой русской компании. Евтушенко упоенно пел с Виталиком Пожаровым под его аккомпанимент, в глазах его стояли слезы...



## ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ АМЕРИКАНСКИЕ ЛАНДШАФТЫ



*На северо-востоке от Юты, в Вайоминге, скалы белые.*



*На юге Юты скалы розовые или кроваво-красные. Именно здесь снимают вестерны.*





Национальный парк Брайс-каньон — уникальное место, где на площади в десятки квадратных миль на фоне синего неба возвышаются ярко-красные, розовые, белесоватые столбы самых причудливых форм — прародители романской, готической, православной архитектуры. Когда-то в поисках пропавшей коровы сюда случайно забрел фермер по фамилии Брайс. Вернувшись домой после безрезультатных поисков, с горечью сообщил близким: “Чертовски неподходящее место потерять корову”. И увековечил свое имя.



Убедитесь сами, как далеко я ушла от того первого спуска с горы, с которого началась моя семейная жизнь (подробности читайте в рассказе о менингите).



*Мой первый день рождения в Америке.  
26 августа 1991 года.*



*У меня за спиной – Великое Солёное Озеро  
(Грэйт Солт Лэйк).*



*Живем мы в пустыне.  
В городе – розы,  
за городом – кактусы.*



*Перед докладом. Есть поговорка: французы работают, чтобы жить, американцы живут, чтобы работать. В справедливости этого наблюдения убеждаюсь ежедневно на собственной шкуре...*

# ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

## ТЕ СЧИТАННЫЕ ДНИ, КОТОРЫХ НЕХВАТИЛО..

### АВГУСТ НА ГАУЕ

*Не в силах внешние умы  
Вообразить живьем  
Ту смесь курорта и тюрьмы,  
В которой мы живем.*

*И. Губерман*

### Тане Гердт

Родители сделали мне в жизни два огромных подарка. Во-первых, они меня родили, хотя этого легко могло не случиться: папе было сорок, маме тридцать восемь, беременность протекала тяжело, а сразу после родов мама заболела тифом и попала в инфекционную больницу. Пришлось подкинуть меня маминной подруге тете Рае Губер, которая в это время кормила грудью свою Маришку. Моя «молочная сестра» отсутствием аппетита не страдала, доставалось мне немного, я

была вечно голодная и постоянно орала. Ополоумевший от моего крика годовалый Шурик покушался на мою жизнь: положил под батарею и накрыл сверху тазом. Спас меня «молочный папа» Андрей Александрович Губер, главный научный хранитель Музея Изобразительных Искусств имени Пушкина. Меня забрали домой, но вскоре маме потребовалась срочная хирургическая операция, во время которой она перенесла клиническую смерть, так что я едва не осиротела в младенчестве. Клиническую смерть заметил понимавший толк в таких делах папа, поднял тревогу, и маму спасли. Словом, мой путь в этот мир не был усыпан розами, но состоялся.

Вторым замечательным подарком (если не считать красный немецкий двухколесный велосипед, подаренный мне к десятилетию и приведший меня в неопикуемый экстаз) было мое вступление в члены Московского Дома ученых. Меня приняли туда по благу, задолго до того, как я защитила докторскую диссертацию. Стать членом Дома ученых было очень нелегко: необходимо было быть как минимум доктором наук, хорошо — академиком, а еще лучше — Гердтом, Окуджавой или Сергеем и Татьяной Никитиными. Я не была ни тем, ни другим, ни третьим, но папа с мамой были старейшими членами Дома ученых. Их приняли в этот элитарный клуб еще в тридцатых годах, когда там директорствовала жена Горького, Мария Федоровна Андреева. По папиным рассказам, в те довоенные годы это был настоящий оазис культуры в пустыне всеобщей мерзости. В значительной степени это сохранилось и в мое время, хотя, конечно, невозможно задрать все щели, и ароматы эпохи проникали и в этот красивый старинный московский особняк.

В Доме ученых, как полагается, работали научные секции, проходили конференции и семинары, чествовали лауреатов и юбиляров. Помню, родители взяли меня с собой на юбилей Ландау, с которым папа очень дружил. Меня, выросшую в ханжеской атмосфере одной из самых чопорных московских школ, поразили и очаровали веселые и раскованные физики, друзья Дау. Обыгрывая его легендарное дон-жуанство, они подарили ему плавки. Спереди к плавкам была прикреплена

металлическая пластинка, какие обычно приклепывают на подарочные портфели. Красивой вязью вилась надпись: «Действительному Члену Академии Наук СССР».

С другой стороны, в Доме ученых короновали Ольгу Борисовну Лепешинскую на царство в биологической науке — она тогда делила этот трон с другим «корифеем» биологической науки, Трофимом Лысенко.

Когда в семьдесят первом году умерла моя мама, по папиной просьбе мамин членский билет передали мне. Так я стала полноправным членом Дома. Я могла посещать лекции и научные дискуссии, концерты, кино, прекрасный ресторан и ностальгические танцы. И все-таки не этим был уникален и славен наш Дом, а был он уникален и славен своими летними базами.

Это были палаточные туристские лагеря с прекрасной кухней. Их было довольно много, на все вкусы: «Черноморка» на кавказском побережье, «Архыз» в Кавказских горах, «Саулкрасты» на Балтийском море, «Свента» на литовских озерах, «Гауя» в лесу на речке в Латвии. О «Гауе» и пойдет речь дальше. Там, на Гауе, я встретила и подружилась с замечательными людьми — счастье, за которое я не перестаю благодарить родителей и судьбу.

Занятная публика съезжалась на речку Гаую в августе месяце. Ученые самых разных специальностей и направлений, оставив на время в Москве учеников, проблемы, заботы и неприятности, набив туристским скарбом свои «Жигули», приезжали сюда мокнуть под прибалтийским дождем, собирать грибы и ягоды и, затаив дыхание, слушать, как поет свои новые песни Булат Окуджава, как читает стихи Пастернака Зиновий Гердт, как поют Татьяна и Сергей Никитины. О своей работе нет-нет да поведаает главный режиссер Ермоловского театра Валерий Фокин, о жизни Марины Цветаевой расскажет Лева Шилов...

Жизнь на базах была устроена так. Законодательную власть представляли назначенные Домом ученых официальные лица. На Гауе ее осуществляли две серьезные дамы. Одна из них, высокая, осанистая, с тонким аристократическим



лицом, была внешне похожа на Анну Ахматову. На этом сходство безнадежно кончалось, и это было до слез обидно. Дама совсем не аристократично раздувалась от собственной значимости, и я как-то заметила, что у нее такой вид, будто она упала с очень высокого генеалогического дерева.

Исполнительную власть — старостат — мы избирали сами: на своих летних базах ученые играли в демократию. В начале сезона делили портфели: за автомобильный парк отвечал министр транспорта, за байдарочный флот — адмирал, за волейбол — министр спорта. Волейбол на базе был настоящей азартной игрой, подстать рулетке или очку. По вечерам вокруг волейбольной площадки, где собиралась практически вся база, кипели воистину шекспировские страсти. Хорошо играли Сергей Никитин и мой муж Володя. Капитаном одной из команд-фаворитов был заведующий туристической секцией Дома ученых Георгий Георгиевич Конради, по прозвищу «генерал» (а он и был генерал). Мы пели про него такие куплеты:

Как хорошо быть генералом,  
Как хорошо быть генералом,  
Лучше работы я вам, синьоры, не назову!  
Здесь среди вас я генералом,  
А в волейболе чином малым:  
Лишь капитаном, лишь капитаном я слыву.

Утром мы купались в прохладной душистой реке, над которой маленькими вертолетиками вились прозрачные зеленые стрекозы, завтракали и разъезжались — кто за грибами, кто за ягодами. На грибной ниве отличались Никитины: в самый негрибной год, на зависть базе, они появлялись из лесу с корзинкой отборных белых грибов — знали места. За ними пытались шпионить, но они растворялись в прибалтийском лесу, и, насколько мне известно, никому за десять лет не удалось раскрыть их тайну. В тайну, видимо, был посвящен Гердт, взявший меня как-то с собой за грибами. Это было совершенно безопасно: при моем легендарном неумении ориенти-



роваться, я под страхом расстрела не смогла бы объяснить, куда мы ездили. А там, куда мы ездили, небольшие поляны были сплошь усыпаны роскошными белыми грибами, и, собирая их, мы встретили Никитиных — стало быть, бродили по их угольям. Жена Зиновия Ефимовича Татьяна Александровна тогда с нами не ездила: в тот год, почти не отрываясь, она редактировала перевод «Поднятой целины» на арабский язык. Татьяна Александровна сокрушалась:

— Почему другие собирают грибы, а я должна целый день сидеть, как привязанная, и думать, как перевести на арабский язык «слаба на передок»!

Когда мы вернулись со своей ослепительной добычей, Татьяна Александровна ахнула:

— Где вы были?

Зиновий Ефимович начал рассказывать, как умел только он один: он мычал, не произнося ни единого слова, но ясно было, что он подробно объясняет наш маршрут, и неожиданно совершенно членораздельно закончил:

— И потом сразу налево.

Нравы на базе были язычески простые. Помню, однажды к нам на пару дней откуда-то, наверное, из Риги заскочили Алла и Леонид Латынины. Алла — известный литературный критик, Леонид — поэт и писатель. Может, они и не были в смокингах, может, это мне только так почудилось по контрасту с нашей расхристанностью, но, право же, выглядели они, словно собрались на прием к английской королеве. Леня был в темном костюме, белой рубашке и бабочке, Алла в каком-то платье, показавшемся мне бальным. Они произвели настоящий фурор. Алла спросила у кого-то шепотом, где туалет. Отличавшийся острым слухом Зяма широко распахнул руки, обвел приглашающим жестом лес, поляну, речку и коротко ответил:

— Вот...

Раз в сезон мы дежурили. Дежурили все, невзирая на возраст и титулы, — демократия! Это было скучное и утомительное занятие, на базе ведь отдыхало больше ста человек! Но я дежурила с Гердтами, и это было настоящее счастье.

Зяма гениально играл полового. С полотенцем через руку, слегка согнувшись, прихрамывая, он порхал между столами с подобострастной улыбкой:

— Вам супчику не подлить? Картошечки, хлебца не желаете? Сию минутку, я мигом!

Надо сказать, что кормили на базах Дома ученых необычайно вкусно и обильно — такова была традиция.

После ужина, завершив дневные труды, мы должны были расписаться в Книге дежурных. Расписывался обычно Гердт, оставляя таким образом для администрации базы свой автограф.

Однажды за день до нас дежурил доктор Лосев. Стас Лосев был хирургом, работал в Институте Склифосовского и принадлежал к базовской элите. Зиновий Ефимович подозвал меня:

— Посмотри, что написал этот гений русской поэзии!

За подписью Стаса было написано: «Накормить не накормили, червячка лишь заморили!».

Герд секунду задумчиво смотрел на меня, потом начал быстро писать:»

Лосеву снятся химеры —  
Спит, вероятно, ничком.  
Он своего солитера  
Нежно зовет червячком!

И еще раз мне выпало счастье наблюдать этот стремительный творческий процесс. Гердт взял меня с собой в гости к Давиду Самойлову. В Пярну от нашей базы было часа четыре езды на машине, и всю дорогу Зяма читал мне стихи Самойлова. Когда подъезжали, он вдруг спохватился: «Я же должен что-то сочинить Дээзику в тетрадку!».

На минуту задумался, потом прочитал:

Тебя приветствую я снова,  
Как червь — орла, и просто как  
Хромой приветствует кривого!

Дээзик сочинил Зяме ответ:

Не люблю я «Старый Замок» —  
Кисловатое винцо,  
А люблю я старых Зямок,  
Их походку и лицо.

У Самойловых гостил Козаков, он читал нам вслух из Дэзиковой тетрадки. Такой мне выпал день.

Мое повествование о Гае было бы неполным, если бы я не упомянула о наших детях. Они представляли особое сословие, отчаянно боровшееся за свою независимость. Это была самостоятельная республика внутри нашей федерации. Даже в столовой они занимали отдельный, так называемый «детский» стол. Дети держались стайкой, сохраняя между собой очень трогательные, совершенно не зависящие от возраста отношения. Очаровательные малыши Сашка Никитин, Гердтовский Орик, красавец Сашка Вишневский по прозвищу «полосатый», Валечка Кокорин и Юлечка Коган были так же уважаемы, полноправны и включены в общую жизнь, как «великовозрастные» Буля Окуджава, Левка Ринг и моя Вика. В этой компании постоянно бурлил скрытый от постороннего взгляда творческий процесс: что-то сочиняли, играли на флейте, рисовали и весьма изобретательно безобразничали.

Наша юная художница Вика как-то нарисовала серию гауянских портретов, одной тонкой линией, иногда очень искусно и похоже: Гердт, Сергей Никитин, Конради, Окуджава, Ипполит Коган... Разбросав листочки на траве, Вика критически их разглядывала. Подошел Никитин:

— Что это у тебя?

— Не видишь, что ли, — ответил за Вику проходивший мимо Валерий Фокин, — портретная галерея Русь Уходящая...

Другой раз Вика налепила из муки и соли разных фигурок, обожгла их в духовке и расписала — получились нэцкэ. Она их щедро раздаривала. Маленькая внучка Конради была в восторге от Викиного подарка:

— О, Вика, спасибо, большое спасибо! Я сделаю в нем дырочку, продену нитку, и буду всегда носить на шее, как псевдоним!

Я верю, что Гауянские «псевдонимы» помогают от «дурного глаза». Наши дети росли и выросли в августе на Гауе, и кем бы они ни стали впоследствии, на каких бы меридианах ни жили, я убеждена, что в них и сегодня прорастают зерна, посеянные в те дождливые августовские дни.

Теперь настала пора рассказать о развлечениях взрослых. Ими занималось наше гауянское министерство культуры. Портфель министра культуры был самым тяжелым, трудоемким и ответственным. Этот жребий обычно доставался мне. В обязанности министра входило развлекать публику в длинные августовские вечера. Почти все средства были для этого хороши: околонучные лекции, рассказы о путешествиях, концерты. Академик Осико, например, рассказывал, как под его руководством в ФИАНе разрабатывали получение искусственных бриллиантов, а профессор радиотехники Ипполит Коган делился своими соображениями о материальных носителях телепатии. Ипполит коллекционировал всевозможных телепатов и ясновидящих, мой муж Володя прозвал его ведьмо-ведом. Эта тематика захватывала всех.

Сотрудник Литературного Музея Лева Шилов подготовил и исполнял замечательные программы о жизни и трагических судьбах Ахматовой, Цветаевой, Пастернака. В начале восьмидесятых он приготовил большую программу о Булате Окуджаве. Премьера этого моноспектакля была на Гауе.

— Первый раз мне предстоит говорить о живом поэте в его присутствии, — волновался Шилов.

— Ничего, это легко исправить, — меланхолично утешил его Гердт...

Особый жанр составляли рассказы со слайдами о путешествиях ученых во всевозможные экзотические страны — Сейшельские острова, Заир, Остров Пасхи... Для меня, невыездной, любая страна дальше Малаховки была вполне экзотической, и я очень любила эти рассказы-показы, этакий «клуб фотопутешествий», хотя и завидовала отчаянно. Рассказчики соревновались в фотографическом искусстве и эрудиции. Некоторые не могли остановиться, пока не продемонстрируют всю коллекцию слайдов, включая испорченные.

Наконец, концерты. Это было особое счастье. Живьем, в двух шагах от вас, в иллюзорной доступности пел свои песни и доверительно разговаривал с вами Бог Гауи — Булат Окуджава. Читал стихи и рассказывал свои волшебные байки Гердт. Совсем другие, не экранные, не утвержденные Главлитом песни распевали Никитины. И все это на дистанции в три недели!

Но кульминацией развлекательной программы, в конце смены, должен был стать капустник. Он изрядно отравлял мое существование. Судите сами: его надо было сделать так, чтобы расхохотался Гердт (его неподражаемый смех был моей высшей наградой), чтобы улыбнулся Окуджава, чтобы развеялась публика и чтобы после этого на тебя не написали донос. А доносы писали: как и повсюду в стране, «сообщающие сосуды» соединяли нашу лесную базу с другими Органами. После первого организованного мною на Гауе капустника нас (всю семью) на следующий год не пустили на базу. Кто-то «стукнул» в Правление Дома ученых (и не только туда), что я организовала на базе аполитичное действо. Впрочем, через год нас простили и дали путевки. И, конечно, я снова была «министром культуры» и делала новый капустник. После него, чувствуя режиссера в узком застолье, Гердт произнес следующий тост:

— Хочу сказать, как мы рады, что в этом году с нами опять Наташа и Володя, и как нам жаль, что в будущем году их опять с нами не будет!

Моего мужа Володю Гердт называл страстотерпцем.

По молчаливому соглашению, профессионалы в капустниках участия не принимали — им отводилась роль благодарных зрителей. Из этого правила было несколько исключений. Во-первых, капустник всегда спасали безотказные Никитины — правда, в ту пору они официально еще не считались профессионалами и работали в академических научно-исследовательских институтах обыкновенными кандидатами физических наук. О втором исключении я сейчас расскажу.

Это был год Олимпиады. Никитины опоздали на базу — выступали в культурной программе. Остальные гауянские

завсегдатаи, пожертвовав зрелищем, были на месте и мокли под гауянскими дождями. И вот я решила компенсировать им потери и провести свою маленькую гауянскую Олимпиаду. Страны-участницы были налицо: Зямбия, Никитский Сад, Лосино-Берковское, Булатниково и т. п. Транспаранты с названиями стран должны были нести «девушки в вуалеточках», как это было на настоящей Олимпиаде. Согласно замыслу, роли этих девушек в вуалеточках должны были исполнять наименее подходящие для этого актеры: долговязый Осико, крохотный Орик, огромная дама со сломанной загипсованной ногой — нехитрый, но беспроегрышный трюк. С дамой у меня вышла накладка. Она сначала согласилась на предложенную роль, но к вечеру вызвала меня на конфиденциальный разговор, и я увидела, что она пышет гневом:

— Наташа! Я никогда не думала, что вы можете быть такой бестактной!

Я огорчилась — вот, обидела даму...

Но дама продолжала:

— У меня же сломана нога, я хромаю. Гердт может обидеться!

Я не сразу поняла, о чем это она. Потом меня разобрал неудержимый смех: я попыталась представить себе Гердта, обидевшегося на то, что кто-то другой тоже хромает...

Конечно, я тут же ему повинилась. Гердт предложил:

— Слушай, давай я сам пройду девушкой в вуалеточке! А для убедительности я буду чуть-чуть хромать!

И прошел! Нацепив настоящие никитинские удостоверения личности, выданные им на Олимпиаде, Татьяна — спереди, Сергея — сзади, Гердт гордо нес плакатик страны Зямбии, в то время как я комментировала события в небольшой мегафон.

«Первопроходцами идут наши друзья из страны Зямбии. Власть в этой стране до сих пор принадлежит генералам (вспомните Конради). Климат теплый. Туристов привлекает Никитский сад, гордостью которого является расположенный рядом Гердарий. В архитектурном отношении внимания заслуживает Стасская башня, венец творения одного

известного зодчего (аллюзия на Стаса Лосева). Северные провинции страны по традиции носят название Кулыма. Здесь в начале сезона идет активный лесоповал». (Друзья Гердтов Зенковы и Кулымановы обычно помогали ставить палатки, рубили мешавшие ветки.)

Ну, и так далее. Пока я читала свой текст, «делегации» циркулировали по небольшому просцениуму.

Неожиданно Гердт подошел ко мне, отобрал мегафон, какое-то время мычал в него по-английски, потом членораздельно закончил:

— Янки — ноу, Зямки — йес!

Потом Сергей Никитин и Зяма пели дуэтом джаз. Акомпанировало трио: Буля Окуджава на кларнете, Саша Никитин на Булиной пианоле и сам Сергей на гитаре. Это был праздник!

Присутствие Гердта определяло для меня стиль капустников. В лучших модернистских традициях в нем играли люди и куклы, Петрушка и персонажи из гауянской жизни.

Петрушка приезжал на базу, оглядывался, произносил с завистью:

Живется здесь, наверно, сладко:

У каждого ума палатка!

В капустнике участвовала кукла-Гердт, она и сейчас живет у меня в Америке. Кукла-Гердт, прихрамывая, ходила по ширме. Помните конференсье из «Необыкновенного Концерта»?

— Стуло мне, стуло, — требовал конференсье и обращался к публике с риторическим вопросом:

— Да, я давно собираюсь вас спросить, не слишком ли я культурен для вас?

Моя кукла-Гердт получала на это ответ:

— Да нет, ничего особенного, — говорила «публика», и настоящий Гердт заходилса от смеха...

Еще в связи с Олимпиадой на базу приезжал Высокий Гость из неразвивающейся страны.

Высокого Гостя играл мой муж Володя. Он три дня не брился, имел на голове обвязанный бусами белый платок и был до отвращения похож на Арафата. На голой голени он носил четыре пары часов, на которые время от времени рассеянно поглядывал, и непрерывно чесался. Высокий Гость был окружен вооруженными до зубов детьми в юбочках из папоротников. Непритязательный текст его выступления я, к сожалению, не помню — помню только, что номер имел грандиозный успех, за который меня и наградили доносом.

Успеху капустников во многом способствовало их изысканное художественно-музыкальное оформление. С замечательной фантазией и юмором музыкальные аранжировки делал Буля Окуджава (вы его, может быть, знаете под сценическим именем Антон). Неохотно, под давлением превосходящих сил противника, в художественном оформлении помогала Вика Рапопорт. Им было тогда по четырнадцать — пятнадцать лет. Интересно, что для обоих впоследствии это стало профессией.

Социологи делят публику по разным характерным признакам. На Гауе публика четко делилась на лиц обладающих чувством юмора, и... как бы это сказать... остальных.

К одному из капустников (действие происходило в Одесском увеселительном заведении) архитектор Радий Матюшин нарисовал четыре огромные игральные карты. Четыре Главные Гауянские Дамы разных мастей смотрели на нас с этих карт: две официальные дамы, которых я уже упоминала, плюс Председатель Старостата (тоже весьма официальная дама), плюс исполнительный директор базы — милая седовласая старушка. Три первые Дамы, особенно пиковая, смертельно обиделись, и я, как автор безобразия, имела неприятности.

В связи с этим капустником состоялся импровизированный «худсовет». Одесса так Одесса, решила я, и сочинила выходную песню на мотив «Дерибасовской», но на сугубо местные темы. Песенка была, конечно, не бог весть что, но я очень старалась и вложила в нее много души. Вот вам несколько куплетов:



На речке Гауе открылася турбаза,  
Там бродит публика, приятная для глаза,  
Там игры, лекции, и споры, и проказы,  
И во главе наш славный старостат.

Все полудевочки и тот фартовый мальчик  
Теперь не ездят развлекаться в город Нальчик:  
Они садятся в свои «Волги» и «Фиатки»  
И прут на Гаюю в туристские палатки.  
Живем на Гауе, и все мы гауяне —  
Те, кто на «выселках», и те, кто на поляне,  
И даже те, кто в дефицитной финской бане,—  
Все тоже носят званье гауян!

Сюда я прибыла, представьте, только ради  
Того, чтоб встретиться с Георгием Конради,  
Но благосклонности его мне не добиться —  
Его хранит и бережет его Милица\*.

Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму:  
Я б для него надела белую панаму,  
Я б для него забыла папу бы и маму,  
Да смотрят Таня, Катя, Орик и Фокин\*\*.

Про биополе весть пришла от Ипполита.  
Врачей Кокориных теперь уж карта бита.  
Лишь биотоки — да, я это точно знаю —  
Нам лечат девушек —Марусю, Розу, Раю.

Нам пела песенки Никитина Татьяна.  
Ее послушаешь — забудешь текст Корана...

---

\*Милица — жена Конради.

\*\*Таня — Татьяна Александровна, жена Зиновия Ефимовича, Катя — дочка, Орик — внук, Фокин — Валерий Фокин, главный режиссер Ермоловского театра, в те годы — зять Гердта.

Ну, и так далее. И конец:

Мы провели здесь три недели с интересом,  
И нам не хочется ни в Сочи, ни в Одессу,  
Теперь выходим на работу мы из лесу,  
До встречи здесь же в будущем году.

Согласно замыслу, исполнять эту песню должен был хор, разодетый в костюмы биндюжников и моряков. Хор на базе был, им руководил доктор юридических наук, главный юрист Октябрьского райкома партии. И вот я читаю хору на лесной полянке рожденный мною в муках текст. Гробовое и грозное молчание, ни тени улыбки. Наконец юрист мрачно произносит:

— Не нравится мне ваш текст. Давайте разбирать его по куплетам.

Первую пару куплетов, с грехом пополам, проскочили. Кое-как урегулировали дело с финской баней, в которой ведь на самом деле никто не живет. Дошла очередь до Конради. Юрист говорит:

— Неужели вы сами не слышите, что последняя строчка, «Его хранит и бережет его Милица», не ложится в размер? Давайте будем петь: «Его хранит и бережет жена».

В этот момент я подумала, что он шутит, и вся эта ситуация — отменный розыгрыш. Но юрист продолжал:

— Теперь о Гердте. «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зяму..». Это для кого же он Зяма? Это он для Татьяны Александровны Зяма. А для вас и для меня — он Зиновий Ефимович. И Фокин, кстати, не Фокин, а Фокин (здесь игра ударений: на первом или втором слогѐ).

Тут уж я не выдержала.

— Хорошо, — сказала я с чувством, — давайте петь: «Исподтишка бросаю взгляд на Гердта Зиновия Ефимовича», а еще лучше — давайте споем: «Исподтишка бросаю взгляд на Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Зиновия Ефимовича Гердта».

На этом я, что называется, хлопнула дверью и бесславно покинула поле сражения.

Иду расстроенная, чуть не плачу. Навстречу — Фокин.

— Что такая унылая?

Я со слезой в голосе излагаю, что произошло. Ни один мускул не дрогнул на этом неподвижном восточном лице, выслушал молча и безучастно. Я кончила, он произнес свой приговор:

— А что ж, действительно, не Фокин, а Фокин, — повернулся и ушел.

Это было последней каплей. В глубокой печали плелась я в свою палатку, а путь лежал мимо палатки Гердта. Слышу смех: это Фокин в красках излагает Гердтам, Никитиным и Окуджавам ход моего «худсовета». Сердобольный Зяма подозвал меня, расспросил о подробностях, все так хохотали, что даже я постепенно оттаяла. Никитин сказал:

— Не огорчайся! Ей-богу, текст хороший, спой сама, я тебе саккомпанирую.

— Сереж, я не умею петь. Совсем.

— Глупости! Все умеют петь. Я тебе подыграю, ты споешь, получится хорошо. Пошли попробуем.

И уже у него в руках гитара, и мы уходим в леса. Сергей настраивает гитару, проигрыш — и он велит мне начинать. Я начинаю петь и... надо было видеть глаза Никитина! Он просто раньше не знал, что такое бывает!

На этом моя исполнительская карьера была навеки закончена, зато Сергей проникся ко мне нежностью, как к больному ребенку.

Конечно, в конце концов мы набрали новый хор, и все обошлось.

Капустником оканчивалось Гауянское лето, начинался разезд. Ездили домой обычно тандемами. Мы пару раз возвращались в паре с Никитиными. Ни Сергей, ни Володя тогда машины не водили, так что командорами пробега бывали мы с Татьяной. Артистическая натура совершенно не мешает Татьяне быть замечательным водителем, угнаться за ней не просто. Я сильно недотягивала. К моменту, когда мы, наконец, подъезжали к Москве, я так уставала, что буквально искала тормоз глазами.

Однажды обратный путь чуть не кончился для нас трагически. В тот год мы собрались ехать домой в паре с Окуджавами. В их машине — Ольга и Буля, в моей — Вика и Ира Желвакова (директор музея Герцена в Москве). Маршрут мы разработали феерический: сначала едем в Каунас, отмечаем там мой день рождения, потом — в Вильнюс, и уже из Вильнюса — в Москву. Но все не заладилось с самого начала. Вечером накануне отъезда Буля с Викой поехали на булиной машине прыгать по дюнам, застряли в песке и, пытаясь выбраться, посадили аккумулятор. В поисках пропавших, спасательной экспедиции и зарядке аккумулятора прошла большая часть ночи, поэтому выехали мы значительно позже, чем намечали. Моросил нудный прибалтийский дождь. Мы мчались, пытаясь наверстать упущенное время. Окуджавы неслись впереди, я за ними. Нагруженная доверху Ольгина машина загоразживала мне перспективу. Въехали на эстакаду. Внезапно Ольгина машина круто берет влево и вылетает на полосу встречного движения. У меня сердце упало. К счастью, навстречу никто не ехал, и Ольга благополучно вернулась на свою полосу. Что вызвало этот неожиданный маневр? Перевозку взгляд на дорогу — прямо передо мной на проезжей части стоит автомобиль, «Москвич» с латышским номером. Как позже выяснилось, водитель пропустил свой поворот и остановился в растерянности посреди проезжей части. Я пыталась затормозить, вывернуть — поздно... Удар был такой, что «Москвич» отлетел на тридцать девять метров. К счастью, никто в нем не пострадал. У нас же, как потом выяснилось, Вика получила сотрясение мозга, а Ира Желвакова — травму.

Когда приехала латышская полиция, мы все еще были в шоке. То, что пострадавший от меня автомобиль стоял на середине проезжей части, дела не меняло: я была сзади, и авария — всецело моя вина (что, конечно, правильно). Кроме того, бить латышей на их законной территории неэтично. В довершение всего обнаружилось, что страховка моей машины кончилась два дня тому назад. Недоброжелательная латышская полиция составила протокол, помогла «Москвичу» вправить вывалившийся бензобак и отбыла вместе с ним.

Мы остались один на один со своими проблемами. В этой ситуации наибольшее присутствие духа и неожиданную для нас инженерную смекалку проявил Буля. Ему удалось извлечь переднее крыло моей машины из колеса, в котором оно глубоко увязло, и даже слегка вытянуть мотор машины из салона. Когда колеса и руль стали крутиться, решено было возвращаться на базу и там уже решать, что делать дальше. Окуджавы взяли нас на буксир, и мы двинулись в путь. Печальное это было зрелище... Домой добрались к вечеру. Вся база сбежалась на нас смотреть.

Помните ли вы, чего стоило простому советскому человеку устроить машину на ремонт при советской власти? Ждать надо было минимум полгода, метаться в поисках запчастей, давать взятки налево и направо, и при хорошем исходе дела к концу года вы получали обратно свой автомобиль «на ходу». Прибавьте к этому, что в данном конкретном случае это был московский автомобиль на латышской территории. И денег у меня не было практически ни копейки, и машина моя оказалась незастрахована.

— Что ты так убиваешься, — утешал меня Гердт, — брось эту машину здесь, в Москве новую купишь.

Не хочется вспоминать, какие еще рекомендации и комплименты я выслушала от нелицеприятных друзей... Состоялся «совет старейшин».

Деньги на ремонт машины предложила Ольга и очень сердилась, что я не хочу их брать. В конце концов она меня уломала, и я стала на сто рублей богаче. На первый случай это было огромное подспорье, хотя и при наличии денег ситуация представлялась вполне безнадежной.

Спас нас Гердт. Сам ангел-хранитель не мог бы сделать большего. Да ведь это он, мой ангел-хранитель, наверное, и послал мне дружбу с Гердтами, бесконечно украсившую мою жизнь.

— Поеду торговать лицом, — вздохнул Зяма, посадил в свою машину Вику, и они отправились в соседний крохотный городок, где была авторемонтная мастерская. Городок назывался Стренчи. Гердта узнавали везде, в глухой латышской деревне ничуть не меньше, чем в Москве около Дома

Кино. Узнали его и на богом забытой латышской автостанции, и согласились взять мою машину в ремонт, если из Москвы пришлют необходимые запчасти. Зяма уже праздновал победу, но тут вдруг у Вики началось сильное носовое кровотечение. Зяма повез ее в расположенную неподалеку деревенскую больничку, где установили сотрясение мозга и приказали лежать. С этими новостями они и вернулись.

Той порой база стремительно пустела. Снимали палатки, и на наших глазах оживленный, кипевший жизнью туристский лагерь, как в сказке, превращался в обыкновенную лесную поляну, ничем не отличающуюся от соседних полей. Собрались уезжать и Гердты с Никитиными, с ними — Окуджавы и Ира Желвакова. У Иры была иссиня-черная лента через всю грудь от впечатавшегося в нее ремня безопасности. Нас с Викой Гердт перевез в городок при автомастерской и устроил в маленькую гостиницу, где Вика могла лежать, и к ней даже приходила из больнички медсестра делать уколы.

Вот что сделал для нас Зяма.

А зимой я виделась с Гердтами редко, иногда приезжала с ночевкой к ним в Пахру. Какой это был праздник! Вечером заходили художник Орест Верейский и его жена Люся, и я замирала, боясь пропустить хоть слово из волшебных баек гердтовского застолья.

— Дело было в Англии вскоре после войны, в 1948 году, — рассказывал Зяма. — В тот год исполнилось десять лет безупречной службы в королевском флоте боевого английского полковника, назовем его полковник Смит. Этому знаменательному событию была посвящена статья в лондонском «Таймсе». Но наборщик перевернул одну цифру, и, согласно статье, выходило, что полковник Смит служит в королевском флоте не с 1938, а с 1638 года... Полковник откликнулся статьей в «Воскресном Таймсе». Всем известно, — писал полковник, — что английская пресса безупречна, и поэтому не вызывает сомнений, что он служит в королевском флоте с 1638 года, но вот проблема: зарплату он получает только с 1938 года! В связи с этим обстоятельством он

просит английскую корону компенсировать ему недоплату за минувшие триста лет, которую он оценивает в один миллион фунтов стерлингов.

Ошеломленная «Таймс» несколько дней молчала, и только в среду или в четверг в ней появился ответ полковнику. «Как справедливо заметил полковник Смит, — писала «Таймс», — английская пресса безупречна, и, действительно, не вызывает сомнений, что полковник служит в королевском флоте с 1638 года, и, действительно, английская корона должна полковнику за трехсотлетнюю службу один миллион фунтов стерлингов. Однако полковник, видимо, забыл о королевском билле от 1263 года, согласно которому каждый офицер королевского флота несет личную материальную ответственность за любое поражение флота в любой битве». Дальше скрупулезно перечислялись все поражения английского флота за минувшие триста лет. Каждому была приписана определенная сумма штрафа, и в результате выходило, что полковник должен английской короне один миллион и один фунт стерлингов. В следующем «Воскресном Таймсе» полковник сообщал, что он полностью согласен с материальными претензиями английской короны и уже внес в банк фунт на имя королевы.

Однажды Гердты приехали к нам в гости — хотели познакомиться с папой. Папа очень радовался предстоящей встрече, волновался, достаточно ли вина, хорошо ли угощение. Словом, был настроен весьма торжественно. Наконец звонок в дверь.

— Здравствуй, Яша, ты сегодня замечательно выглядишь! Это грандиозно, что мы наконец встретились, — прямо с порога стал разливаться соловьем Зяма. Он был младше папы на семнадцать лет, и они никогда раньше не встречались.

Папа мгновенно включился в игру:

— И ты сегодня неплохо выглядишь, а жена у тебя просто красавица!

За столом Зяма расспрашивал папу о тюрьме, о следствии, о дне освобождения — папина рукопись тогда была еще в подполье, о ее публикации и мечтать не приходилось. Зяма ее не читал.

— Господин, который вел мое дело, мой куратор... — рассказывал папа.

— Прокуратор,— поправил Зяма.

Больше я об этой встрече ничего не помню — наверное, опьянела от вина и счастья.

... Через год после отъезда в Америку я приехала в Москву повидать папу и друзей. Позвонила Никитиным. Татьяна тогда еще работала замминистра культуры.

— Приезжай к нам завтра, будет сюрприз, — пообещал Сергей. — Но учти, что плов — дело деликатное, не опаздывай, как это тебе свойственно.

Сергей замечательно готовит плов — не терял времени, учился у таджикских родственников. Гердт называл Сергея «мастером художественного плова».

Я, конечно, опоздала, пытаюсь в лабиринте московских лавок отыскать такую, что продавала бы достойную предстоящего ужина водку. В американских эмигрантских кругах тогда упорно циркулировали слухи, что в московских лавках продают смертельное зелье, покупка которого может стоить жизни.

Когда я наконец появилась, Сергей с Татьяной были одни. По квартире плыл восхитительный аромат настоящего, дышащего, веселящего душу, профессионально исполненного восточного плова.

— Ты первая, — сказал Сергей.

— А кого мы ждем?

Сергей с Татьяной оставили мой вопрос без внимания — как не слышали. Но минут через пять — звонок в дверь. На пороге — Гердты. Вот какой сюрприз приготовили мне Никитины!

Гердты тоже очень обрадовались:

— Сергей сказал, что будет сюрприз, но я же думал, что это новый сорт плова, — веселился Зяма.

На этой радостной ноте, пока все любимые еще живы и все мы еще вместе, мне хочется оборвать мои гауянские записки.



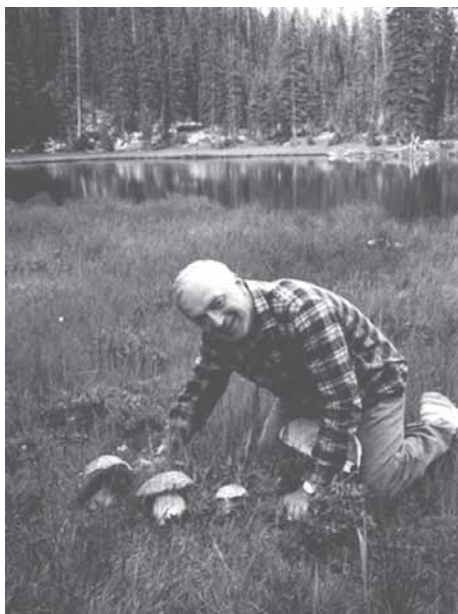


*Зиновий Ефимович Гердт. Эту замечательную фотографию подарила мне Татьяна Александровна после Зяминой смерти.*



*Однажды я летела в Америку в одном самолете с Булатом Шалвовичем, Ольгой Владимировной и Булей. Молодой пограничник долго изучал паспорт Булата Шалвовича, смотрел раз десять то в паспорт, то ему в лицо — исполнял службу, потом протемпелевал паспорт, протянул какую-то бумажку и попросил жалобно: «Автограф дадите?».*

*Шереметьево, девяносто второй или девяносто третий год.*



*Это могло бы быть на Гае — но нет, это в Америке, в горах над Солт Лэйк Сити. От Сергея Никитина не ускользнет ни один гриб, русский или американский, как бы замысловато он ни маскировался. Дело тут не в зрении — дело в интуиции.*



*Так мы праздновали мой день рождения в девяносто седьмом году. Это не Гауя, это провинция Виктория в Канаде. Володя с Сережей готовят шикарный рыбный стол: Сергей поймал в озере форель, Володя поймал в сумермаркете лосося.*

## КАК МНОГО СВЕРХУ НЕБА...

(Ещё о Татьяне и Сергее)

*Жизнь певца тебе светила,  
Чуть мерцающая из угла...*

*Г. Букалова*

В молодости я была к ним глубоко равнодушна. В Университете мы были разных поколений — я окончила, они только начинали. Они были физики, я — химик. По неписанной студенческой этике, переведенной на воровской жаргон, физикам с химиками дружить запахло.

К тому же с телевизионных экранов семидесятых годов на меня смотрели такие комсомольские энтузиасты, борцы за мир во всем мире. Они были мне неинтересны. Жизнь наша текла разными руслами. Никитины ездили укреплять дружбу с народами ближнего и дальнего зарубежья, я в это время моталась внутри страны, больно ударяясь о ее железные границы: несла свет популярных знаний работникам химчисток, строителям электростанций, чабанам вместе с их баранами, а случалось и зэкам. Путь за границу был мне заказан. Зато уж по Советскому Союзу я наездилась всласть, с южных гор до северных морей, залетая в самые невероятные медвежьи углы...

Дороги наши пересеклись в палаточном лагере Московского Дома ученых на латышской речке Гауе.

Помню, мы с полчаса как приехали, ставили палатки. Мимо нас по узенькой тропинке, лихо перескакивая через выступающие корни, неслась на велосипеде шестилетняя Юлька Коган и самозабвенно орала:

— Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить!

— Трогательно, что дети поют наши песни, — сказала откуда-то взявшаяся Татьяна.

Я была смущена. Я не знала, что это песня Никитиных. Более того, я вообще не догадалась, что это была песня. После ужина я подозвала Юльку:

— Что это ты пела на велосипеде?

— «Диалог у новогодней елки», Никитиных.

Юлька была откровенно поражена моим невежеством.

— А еще что-нибудь никитинское знаешь?

— Конечно!

— Споешь?

Юлька не заставила себя дважды просить.

Так, в исполнении шестилетней Юльки, началось мое знакомство с никитинским репертуаром.

А вскоре состоялся вечер Никитиных на Гауе. И тут, неожиданно для меня, под телевизионными масками открылись интеллигентные, красивые и обаятельные лица. А репертуар! Я ахнула! Сергей пел:

Три вещи в дрожь приводят нас,

Четвертой не снести.

В великой книге сам Агур

Их список поместил.

Все четверо проклятье нам,

Но все же в списке том

Агур поставил раньше всех

**РАБА, ЧТО СТАЛ ЦАРЕМ!**

Пусть шлюха выйдет замуж — что ж,

Родит, и грех забыт.

Дурак напьется и заснет,

Пока он спит — молчит.

Служанка стала госпожой —

Так не ходи к ней в дом.

**НО НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ РАБА,**

**КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ!**

Он в созиданьи бестолков,

А в разрушении скор...

Он глух к рассудку —  
Криком он выигрывает спор.

Когда ж он глупостью теперь  
В ад превратил страну,  
Он снова ищет, на кого  
Свалить свою вину.

Когда не надо, он упрям,  
Когда не надо — слаб.  
О РАБ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЦАРЕМ, —  
ВСЕ РАБ, ВСЕ ТОТ ЖЕ РАБ!

Сергей пел, а у меня мурашки бежали по коже — да и сегодня бегут, когда я слушаю в записи эту песню. Речитатив Сергея был наполнен необычайным внутренним драматизмом. Конечно, это слова Киплинга. Конечно, написал эти слова по-русски не сам Сергей, а его учитель и друг — Лев Блюменфельд. Но чтобы петь такое в начале восьмидесятых годов в присутствии сотни малознакомых людей — а среди них есть разные, — нужно немалое мужество.

Еще они пели тогда Шпаликова, Левитанского, Самойлова, Юнну Мориц, Коротича. «Друзей теряют только раз...», «Каждый выбирает для себя / Женщину, религию, дорогу...», «Давай поедem в город, / Где мы с тобой бывали...», «Переведи меня через майдан...».

Я слушала, затаив дыхание. Они меня пронзили. Они ворвались в мою жизнь без предупреждения, со взломом. Оказалось, что музыка, которую пишет Сергей, — это моя внутренняя музыка. Я писала бы, наверное, точно такую же, если б умела. Барды ведь есть всякие. Иной раз мне нестерпимо хочется извлечь стихи обратно из их песен. А у Сергея абсолютный слух в поэзии, помноженный на замечательное музыкальное дарование. Его музыка органична замечательным стихам, которые он выбирает; мелодия и поэзия в его песнях настолько сращены воедино, что для их разделения потребовалась бы кровавая хирургическая операция. Бывает, хочется просто почи-

тать эти стихи глазами — ан нет, внутреннее ухо уже слышит их мелодию, и внутренний голос их поет...

Думаю, для песенного искусства и для нас с вами большая удача, что Никитин стал заниматься музыкой профессионально. Для физики, наверное, потеря. Недавно Сергей совершенно поразил меня острым физическим умом, интуицией и научной эрудицией. Профессии ведь ревнивы, как женщины, и обычно не прощают, когда их бросают. Физика явно осталась с Сергеем в нежной дружбе. Это было для меня тем более неожиданно, что я наблюдала, как много лет назад Сергей писал на Гауе кандидатскую диссертацию. Татьяна давно уже защитила свою, а Сергей все тянул и вынужден был работать летом. Вся база разъезжалась за грибами и ягодами, а бедняга Никитин оставался сидеть за столом на поляне, обложенный бумагами и графиками. Он терпеливо ждал, когда автомобиль, увозивший двух Татьян — Никитину и Гердт, — скроется из виду. Тотчас из своей палатки появлялся Зяма, в руках у Сергея вместо авторучки оказывалась гитара, и вдвоем с Гердтом они с упоением пели джаз, не забывая зорко поглядывать на лесную дорогу. К моменту возвращения дам из лесу Сергей прилежно работал за столом, и, наверное жаловался сокрушенно, что день был не особенно продуктивным. Наш общий друг, выдающийся физик, говорил мне, что в конце концов Сергей защитил очень хорошую диссертацию.

Но хватит о Сергее. В творческом союзе Никитиных он играет первую гитару, но не первую скрипку. Каждая семья — это ведь миниатюрное государство. В государстве Никитиных роль премьер-министра явно принадлежит Татьяне, как и другие ключевые портфели. Яркая, красивая, общительная, острая, быстрая в реакциях, очень собранная, Татьяна — прирожденный организатор и лидер. Не удивительно, что именно ей в эпоху «перестройки» выпало представлять советскую культуру в должности замминистра. Со временем Татьяна сошла с административной стези; остался у неё, однако, богатый опыт организационной работы и широкие связи в мире международной культуры. И меня осенила блестящая идея — познакомить Татьяну с моим другом, гениальным художником Михаилом

Туровским. Как раз в это время произошли драматические события в жизни представлявшего Туровского французского художественного агента, и Миша остался без европейского представителя. Татьяна взялась за дело и справилась блестяще. По свидетельству самого Туровского, на открытии организованной ею в Мадриде выставки не было, пожалуй, только короля Хуана Карлоса... Выставка имела и художественный, и материальный успех. Сергей Татьяной откровенно гордится и в творчестве во многом полагается на ее вкус и интуицию.

Со временем творческий дуэт Никитиных превратился в трио: подросток сын Саша. Быть сыном Никитиных, расти в тени — или в свете — их славы, наверное, очень нелегко. Но Татьяна — незаурядная мать. Саша вырос, умудрившись сохранить удивительную чистоту и трогательную детскость, совершенно непопулярные в наш циничный век. Есть расхожее мнение, что природа отдыхает на детях. Когда появлялся на свет этот ребенок, природа была по-видимому, в отличной форме и отдых ей не требовался. Саша многообразно одарен литературно и музыкально, артистичен и голосист. Но главное даже не в этом, а в исключительной доброжелательности, открытости и обаянии.

Я очень люблю историю о том, как Саша поступал в музыкальную школу. Учительница выставила взволнованных родителей за дверь, и за происходящим им пришлось наблюдать в щелку. Сашка угадал все предложенные ему ноты, взял все аккорды и спел все песенки. Растроганная учительница спросила: «Ты, мальчик, я вижу, очень любишь музыку?». Торжественно одетый в бархатный костюмчик Сашка вытер бархатным рукавом нос, шумно втянул размазанные под носом остатки и сообщил учительнице: «Вообще-то не очень!». Таким трогательно открытым и вырос.

Сергей — человек молчаливый, задумчивый, интровертный, страстный любитель рыбной ловли и других тихих занятий, не требующих интенсивного общения. А впрочем, может, я и ошибаюсь, что Сергей молчалив от природы. Может, ему просто интереснее слушать других, чем говорить самому. Татьяна ведь блестящая рассказчица. Начнет Сергей что-нибудь рассказывать — и максимум через тридцать секунд нетерпеливая Татьяна перехва-

тит инициативу, и вот уже вся аудитория, включая самого Сергея, принадлежит ей. Ему остается самовыражаться в музыке...

То, чем они занимаются, — настоящее миссионерство от поэзии. Уверена, что ко многим замечательные поэты пришли через никитинские песни. Мне Никитины открыли Шпаликова, Левитанского и Юнну Мориц.

Гердт недаром писал о Никитиных: «...Потом, например, меня возвышает их культурность. Да. Да. Культурность во всем — в облике, в манере держаться...».

И тут же со свойственным ему юмором сознавался: «Я глубоко пристрастен к Сергею и Татьяне Никитиным. Мы давно близки не только по стремлению к художественному, но и по человеческому существованию. Так что верить мне не очень-то надо...».

Никитиных, как и Гердта, узнают на каждом перекрестке, но я не знаю случая, когда бы они этим злоупотребили.

Я тоже глубоко пристрастна к Татьяне и Сергею — наверное, это просвечивает и сквозь мои записки. Но вы все-таки мне верьте. Так много пережито вместе и прекрасных минут, и длинных тяжелых дней. Смерть Сахарова, смерть Гердта, смерть Окуджавы — как-то так случилось, что через эти несчастья мы проходили вместе.

Смерть Зямы... Сообщила мне о ней Татьяна — Никитины в это время были в Америке, у Саши. Таня и Сережа потеряли одного из ближайших своих друзей, и я понимала, как рвутся сейчас их души за океан, в Москву... В моей жизни Гердты тоже играли очень важную роль, возможно, и не подозревая об этом. Смерть Зямы была и для меня огромным личным горем. Я полетела к Никитиным в Калифорнию, чтобы в эти дни быть с ними рядом...

И совсем уж по невероятному стечению обстоятельств мы с Татьяной оказались вместе, когда умер Окуджава. Я была на конференции в Швейцарии; воспользовавшись случаем, навестила своих итальянских коллег и на несколько дней заехала к Татьяне. Накануне отлета обратно в Америку я позвонила Володе, чтобы встречал. Мы долго договаривались и почти уже распрощались, когда он вдруг сказал:



— Знаешь, только что звонил Гришка из Сан-Франциско, у них там говорят, что умер Окуджава...

Очень хотелось думать, что это всего лишь нелепый слух. Звонить кому-нибудь в Европе было уже поздно, и до утра мы жили надеждой. Утром все подтвердилось...

Булат пережил Зяму меньше, чем на год. Не будет больше «божественных суббот». Ушла эпоха — та эпоха, в которой жили мой папа и Сахаров, Даниэль и Канели, Окуджава и Гердт. Моя эпоха.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Жизнь проходит..... | 6 |
| Предисловие .....   | 8 |

## Часть первая

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Улыбки и гримасы гиппократа .....     | 10  |
| Глобус .....                          | 10  |
| Катапульта .....                      | 13  |
| Встреча.....                          | 36  |
| Такая профессия .....                 | 39  |
| Встреча с «императрицей смерти» ..... | 59  |
| Юбилей .....                          | 73  |
| Глория мунди .....                    | 81  |
| Байки нашей кухни.....                | 87  |
| Визит джима.....                      | 94  |
| Азохен вей цу де коммунне! .....      | 109 |

## Часть вторая

|   |     |
|---|-----|
| Раппортички (из цикла «рассказы ни о чем») .....  | 111 |
| Осторожно! Это же Бах! .....                      | 119 |
| По объявлению .....                               | 123 |
| Старая квартира .....                             | 131 |
| Еще не газель<br>(хроника одного менингита) ..... | 136 |
| Афанасий: страницы жизни .....                    | 150 |
| Необходимость и случайность .....                 | 157 |
| К вольной воле заповедные пути... ..              | 172 |

## Часть третья

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Семейный альбом ..... | 188 |
|-----------------------|-----|

## Часть четвертая

|  |     |
|--|-----|
| Государственные преступники .....                      | 220 |
| Мишка. Повесть<br>(основано на реальной истории) ..... | 220 |
| Семья Канель .....                                     | 250 |

|  |     |
|--|-----|
| Вспоминайте меня, я вам всем<br>по строке подарю... .. | 267 |
| Байки даниэлевой кухни .....                           | 293 |
| Собака Алик и кот Лазарь Моисеевич .....               | 299 |
| Еще смотрю на нежных дев... ..                         | 306 |
| В секретном городе .....                               | 314 |

### **Часть пятая**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Профиль и фас ..... | 327 |
|---------------------|-----|

### **Часть шестая**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Очень короткие раппортички ..... | 335 |
|----------------------------------|-----|

### **Часть седьмая**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Мир – Лишь Луч от Лика друга ..... | 341 |
|------------------------------------|-----|

### **Часть восьмая**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Американские ландшафты ..... | 358 |
|------------------------------|-----|

### **Часть девятая**

|  |     |
|--|-----|
| Те считанные дни, которых нехватило..... | 363 |
| Август на Гауе .....                     | 363 |
| Как много сверху неба... ..              | 385 |

*Серия «Времена не выбирают»*

**Наталья Рапопорт**

**ТО ЛИ БЫЛЬ,  
ТО ЛИ НЕБЫЛЬ**

Ответственный редактор:

*Оксана Кох-Коханенко*

Технический редактор:

*Геннадий Крамской*

Художественный редактор:

*Анна Семенова*

Корректор:

*Валентина Боровцева*

Компьютерная верстка:

*Светлана Мещерякова*

Сдано в набор 19.07.2004 г.

Подписано в печать 23.07.2004 г.

Формат 60x90/16. Бумага типографская.

Печать высокая. Тираж экз.

Заказ №

Издательство «Феникс»,

344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 80.

Тел.: (8612) 74-32-49, тел./факс (8632) 61-89-50,

e-mail: [academpres@tsrv.ru](mailto:academpres@tsrv.ru)

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУИПП «Курск».

305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов

# ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕНИКС»

## ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:

Наш адрес:  
344082, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Халтуринский, 80

Контактные телефоны:  
(8632) 618953, 618954, 618955, 618956, 618957,  
факс 618958

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА:**  
Костенко Людмила Константиновна  
тел.: 8 (8632) 61-89-52;  
e-mail: [torg@phoenixrostov.ru](mailto:torg@phoenixrostov.ru)

## КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ФЕНИКС»

*в московских региональных представительствах*

ул. Космонавта Волкова, д. 25/2,  
1-й этаж, метро «Войковское»  
Директор — Моисеенко Сергей Николаевич  
тел.: 156-05-68, 450-08-35  
[fenix-m@ultranet.ru](mailto:fenix-m@ultranet.ru)

ул. Мартеновская, 9/13, район метро «Новогиреево»  
Директор — Мячин Виталий Васильевич  
тел.: 305-67-67, 517-32-95  
[mosfen@bk.ru](mailto:mosfen@bk.ru)

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «КНОРУС»

ул. Б. Переяславская, 46  
Метро «Рижская», «Проспект Мира»  
тел.: +7095-2800207, 2807254, 2809106  
e-mail: [phoenix@korus.ru](mailto:phoenix@korus.ru)

# ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕНИКС»

## В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

*книги издательства «Феникс»  
можно купить:*

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
198096, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кронштадтская, 11  
тел.: 183-24-56  
E-mail: [anjeln@yandex.ru](mailto:anjeln@yandex.ru),

## В УКРАИНЕ

*книги издательства «Феникс»  
можно купить:*

ООО «КРЕДО»  
г. Донецк, пр. Ватутина, 2 (офис 401)  
тел.: +38062-3456308, 3396085  
e-mail: [moiseenko@skif.net](mailto:moiseenko@skif.net)

г. Запорожье, ул. Глиссерная, 22,  
комната 19  
тел.: +380612-134951, 145819  
e-mail: [vega@comint.net](mailto:vega@comint.net)

г. Киев, ул. Вербовая, 17  
(СПД Шкаран)  
тел.: +38044-4644946, 9084576  
e-mail: [kredok@i.com.ua](mailto:kredok@i.com.ua)

# ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕНИКС»

## В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

*в фирменных магазинах:*

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. пер. Согласия, 3             | тел.: 8 (8632) 999339 |
| 2. пер. Соборный, 17            | тел.: 8 (8632) 624707 |
| 3. ул. Большая Садовая, 70      | тел.: 8 (8632) 620673 |
| 4. ул. Немировича-Данченко, 78, | тел.: 8 (8632) 446934 |
| 5. ул. Пушкинская, 245/61       | тел.: 8 (8632) 665832 |
- e-mail: [fenix21@inbox.ru](mailto:fenix21@inbox.ru)

## РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЫ:

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

*Баранчикова Елена Валентиновна*

*тел.: 8 (8632) 61-89-78;*

*e-mail: [baranchikova@phoenixrostov.ru](mailto:baranchikova@phoenixrostov.ru)*

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

*Бузаева Елена Викторовна*

*тел.: 8 (8632) 61-89-97;*

*e-mail: [buzaeva@phoenixrostov.ru](mailto:buzaeva@phoenixrostov.ru)*

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

*Морозова Оксана Вячеславовна*

*тел.: 8 (8632) 61-89-76;*

*e-mail: [morozova@phoenixrostov.ru](mailto:morozova@phoenixrostov.ru)*

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

*Осташов Сергей Александрович*

*тел.: 8 (8632) 61-89-75;*

*e-mail: [ostashov@phoenixrostov.ru](mailto:ostashov@phoenixrostov.ru)*

### РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА

*Глебов Евгений Иванович*

*тел.: 8 (8612) 743139;*

*e-mail: [academpres@tsrv.ru](mailto:academpres@tsrv.ru)*

Сайт издательства «Феникс»

<http://www.phoenixrostov.ru>